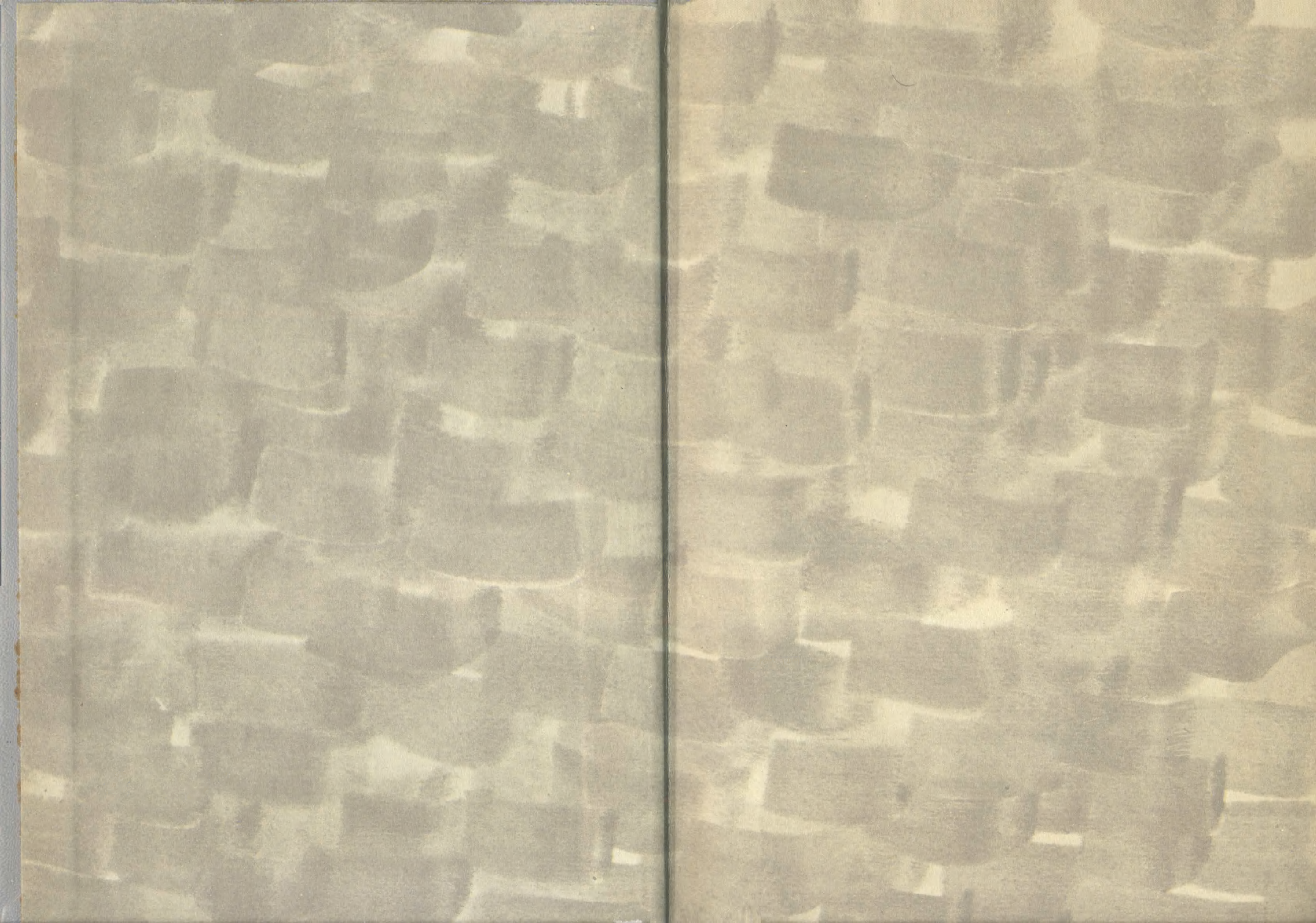
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ 5

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

5



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

✽

ТОМ ПЯТЫЙ

СКУТАРЕВСКИЙ

Роман



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р 2
Л47

Примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Леонов Л. М.

Л47 Собрание сочинений: В 10-ти т. — М.: Худож. лит., 1981.—
Т. 5. Скутаревский: Роман. Примеч. Олега Михайлова. 1983. — 320 с.

Роман посвящен духовной и политической эволюции русской интеллигенции 20—30-х годов, как научно-технической, так и художественной, приобщению ее к творческим задачам молодого Советского государства. Повествование насыщено драматизмом классовой борьбы, сложных психологических и идейных конфликтов.

Л $\frac{4702010200\text{-}102}{028(01)\text{-}83}$ подписное Р2

СКУТАРЕВСКИЙ

Роман

ГЛАВА 1

Воспоминание начиналось так. — Тусклый фаянс тарелки и горка обсосанных костей на ее щербатом борту. Минутой позже он различал вкруг стола своих покойных братьев и сестер. Дети пристально глядели на ржавую селедочную голову — лакомство и остаток еды. Потом издалека возникала длинная, вся в кислотных пятнах рука отца, вооруженная почти трезубцем. Орудие лениво вонзалось в рыбий позвонок и уносило его с собою, в гулкую дыру отцовского рта. Здесь и начиналось сознательное детство Скутаревского.

Всякий раз, вступая в эти нежилые сумерки, он волновался и робел. Затхлость ударяла в лицо, и оно становилось суровым; пугая и грохоча, продолжал действовать проржавевший механизм воспоминанья... Веснушчатый мальчик целует на ночь портрет Эдисона и прячет под подушку, которая пахнет мездрой и необъяснимо поскрипывает; юноша, феноменально рыжий, ночует в товарном вагоне, идущем в столицу; студент бьет по щеке реакционного профессора, и сухой звук пощечины свирепо раздирает тишину; молодой адъюнкт, краснея за люстриновый пиджак, который сидит на нем как на усопшем, везет дорогого учителя в Италию, где тот умрет; знаменитый профессор делает шестичасовой доклад на международном энергетическом конгрессе... Так, с усмешкой разглядывая себя, все искал он чего-то главного, за что стоило бы и погибнуть, но главного не было. Все тревожней звенели в памяти благоговейные клятвы юности о свободе, человечности и культуре... И теперь, виновато вспоминая их, он испытывал тягучее старческое недоумение, какое бывает, наверное, при умирании.

Ему казалось тогда: вот, электрохимический процесс замедляется в этой прославленной человеческой реторте. Из тела пропадала та злая моторная неукротимость, за которую в самом начале карьеры приятели прозвали его кометой. То была старость ее, отускнение, коррозия ее плывучего и непрочного металла. Свершив параболу, комета возвращалась к двери, через которую однажды ворвалась в мир. Эта воображаемая дверь в небытие представлялась близкой, круглой и темной, как рот отца. И вот уже его самого, несомого на трезубце, провожали неживые глаза покойных братьев... — Кстати, их всех было шестеро вначале, оборванных и одичалых от нужды. Четверо, вырастая на улице и без призора, погибли разно, а шестой, уцелевший от колес, прорубей и детских эпидемий, отражался теперь в мутном зеркале провинциальной гостиницы.

Зеркало висело под большим наклоном к полу, и оттого человек в нем сидел как бы без головы, в полутьме, свесив с кровати жилистые ноги. Может быть, он созерцал тоненький пыльный лучик из-за оконной занавески, неторопливо переползавший комнату, пробуждая вещи. И вот, едва пятнышко света коснулось пальца на ноге, Скутаревский пришел в движение. Кровать скрипнула и подалась назад. Он вскочил, он метнулся, он почти разодрал надвое оконную шторку и зажмурился от солнечной щекотки. Желтенький, проникнутый осенним тленьем, лежал сентябрь по ту сторону окна. В ржавой пустоте огромного пустыря корявое, все в пламенах облетающих листьев, стояло дерево. На его простертом пальце покачивалась ворона, взъерошенная, как дворняга.

...Его ноздри вздулись; ярила их нечистая влажность гостиницы. Он двигался, переходя в наступление, и вещи вокруг него шумно летели на пол, точно срываясь с центрифуги; кажется, это называлось гимнастикой. В передышках он внезапно оборачивался к зеркалу, чтобы застать себя взглядом врасплох. Тогда он топорщил линялый хохолок бородки, щупал лиловатый, еще твердый бицепс, раскачивался, смеялся и пел. Он пел про могущество осеннего, неопровергнутого утра; он пел про смешную поспешность, с которой отступила ночь и ее призраки; пел он, разумеется, беззвучно,— с его голосом разумнее было посвятить себя научной работе целиком.

Его ладонь уперлась во все четыре звонковых кнопки, и тотчас же гостиницу наполнил глухой электрический звон. Так длилось, пока в дверную щель не просунулась лысая голова; на ней подозрительно ерзали рачьи глаза.

— Входи полностью! — с разбегу и ликуя, крикнул Скутаревский. — Кто?.. Фамилия?

— Подушкин, коридорный.

— Член профсоюза?

— Ноне все мы члены,— пятился тот.

Он робел говорить с голыми, не ведая чина их, власти или состояния.

— Активист поди?

— Да нет...

— Что ж так? — пело вздыбленное скутаревское вещество. — В такие дни... нехорошо, Подушкин!

— Да все некогда. — Он подмигнул. — Да и не по пище-с!

Вся его плотная фигура, однако, вызывала какое-то раздражающее воспоминание; туловище его, как у большинства бывших городовых, начиналось где-то возле колен; щеки в богатейших подусниках — и никаким профсоюзным билетом не прикрыть было этой полицейской приметы.

— Так вот... снегу сюда... Целый сугроб снега. Пошел! — и брезгливо махнул рукой.

Для наступления, которое он задумал, требовалось втереть в себя снежную колкую бодрость, но снегу не было: плод приходился не по сезону... Плечом и ладонью снова и снова вдавливал он звонковые пуговки, посылая по проводам оглушительные прерывистые сигналы. Снегу не было. Весь постоялый дом гудел, как раковина, и вся живая слизь из его многочисленных витков сползалась за дверью Скутаревского. Это становилось происшествием, так возникают катастрофы! Снегу не требовали даже капризные иностранцы, которых время от времени доставляли на постройку соседней электростанции. И хотя постоялец занимал самый роскошный номер — с исправной форточкой, со стеганым атласным одеялом, с летающими озирисами на потолке — венцом творения местного живописца, гостиница противилась, пока постоялец сам и в голом виде не высунулся в коридор.

Снег принесли в деревянной плошке и через полчаса; то ли он задохся в подвале, то ли умер в невоздержных руках Подушкина, но, сизый и мятый, он уже припахивал навозцем. Тогда Скутаревский открыл форточку и стоял так, в потоке ледяного осеннего пара; но в десять его ждали на экспертизу новой электростанции. Старик одевался неторопливо и тщательно в это утро, как на торжество. Выходя на улицу, он был

строг и сосредоточен, и проводить его в этот очень далекий путь вышел на подъезд один только Подушкин.

— Усы сбрей, сбрей усы... — покосился на него Скутаревский, проходя мимо. — Заметно очень!

— Не цапайтесь, гражданин,— угрожающе откликнулся тот, расковыривая булку и по частям отправляя ее в рот. — Эвон, в хлебе-то опять окурочки попадаться стали...

...Он вышел из дому во вторник утром, а вернулся в среду к ночи — неузнаваемый, в черном воротничке, взволнованный и больше чем усталый. С полдороги вдобавок, по необъяснимой прихоти, он отпустил машину и последние километры до городка вышагивал пешком по разъезженной пустынной дороге; крутой, как из бадьи, сибирский ливень всю ночь хлестал эту безответную тишину. И как будто не профессор шел, а бродяга торопился на ночлег,— старик шел и молча пел, выделывая свои обычные злые штучки над самим собою; влажный встречный ветерок лизал ему лицо и руки. Он шел привычной своей, не по годам стремительной походкой и все присматривался: вдруг захотелось остаться наедине и залпом продумать накопленное за десятилетья. Но и думанье не удавалось, и взгляд его бездельно тащился по полям, зализанным до прелой рыжей щетинки. Скоро парному от ходьбы веществу его стало жарко и тесно в узком английском пальто. Остановясь на бугре, он стоял так, посреди безмерного вечереющего пространства, лицом к городку, без шляпы и в распахнутом пальто.

Это был крохотный, с изобилием церквей, северный городок. Новый подымался рядом, весь в проводах и молниях электросварки, и старый томился, как нищий в рваном сером балахоне. Понуро сутулились когда-то знаменитые купеческие хоромы, а ранняя зима рвала и трепала на уже безглавом, отовсюду видном соборе голые кустики какой-то поросли. Угольная копоть и слепящая цементная пыль неслись на эти деревянные отрепья; самый ветер над головой напоен был металлическим скрежетом: казалось, в буре и грохоте новое племя шло заселять наново перепаханную землю... Чумазые облака над этим печальным виденьем поминутно менялись, по-разному отражаясь в памяти; Скутаревский увидел рыбу на взметенной облачной волне, потом какое-то взрывающееся облачко хлопчатника, а третьим... Третьим плыло нечто пухлое, до холодка в спине напоминавшее ненавистный профиль Петра Евграфовича.

Всю дорогу сопровождало его то приподнятое настроение, когда и самое незначительное явленье становится знаменьем.

И оттого, едва вспомнил о Петрыгине, разом померкло удовольствие прогулки и воротилась ночь. Он почувствовал, что промок и переутомился; он испугался возможности опоздать на поезд, хотя вовсе не торопился домой; он отчетливо и с завистью представил себе, как Черимов, ученик его и заместитель по институту, давно сидит в буфете и с остервенением молодости пожирает жесткие станционные шницеля. Скутаревский чихнул, поскользнулся и с чертыханьем нырнул с бугра своего в низинку, где, тощий и далекий, дразнился огонек из просвирнина, наверно, оконца.

Ветер усилился, ночная бесотня завыла в телеграфных проводах, и какой-то, прилипчивый, над самым ухом называл как будто по имени... То урчали и захлебывались скутаревские башмаки, одолевая осеннюю дорогу.

ГЛАВА 2

Пока не остыл от ходьбы, не чувствовал и озноба. И вдруг, едва ввалился в купе, разом закрутило, путаные обрывки мыслей потекли в голову, а по телу проступила знойная сухая ломота: начиналось. Уже в полубреду он расслышал черимовское: «Эх, обожаемый, на четвереньках, что ли, добирались?» Но даже и поморщиться дружеской фамильярности не хватало сил. Он свалился на койку, и на долю Черимова выпало счастье раздевать обожаемого учителя, который ребячливо сопротивлялся; он же добывал чай у проводника. Скутаревский брезгливо пил теплое безвкусное пойло и закусывал консервами из какой-то пресной розовой водоросли.

— Спать, спать... — отечески говорил Черимов и стоя доедал морскую траву, которая, к удивлению его, оказалась с костями. Видевший смерть у самых своих ресниц, он не особенно верил во всякие простуды. — Пока — спать, а приедем — и в баньку. Дядька пропарит... Черт, никак не удается заставить его профессию переменить. Банщик — эко поганое ремесло! — Он вынул часы. — А ну, проверим расписание!

Он удовлетворенно кивнул своему отраженью в ночном оконном стекле. Едва стрелки совпали на одиннадцати, вагон качнуло, потом луч с платформы прочертил полосатый плед, под которым ежился Скутаревский, и тогда лишь накатило вязкое дорожное оцепенение. То был сибирский экспресс, он бежал почти без остановок, и все веселее становился дробный

речитатив колес. Временами он переходил в пляс, в вихревое неистовство, и тогда Скутаревский усерднее прижимал колени к подбородку, точно прячась от ветра. А ветер был длинный и красный. Он оставлял позади себя длительную рябь, и в ней мучительно колыхались какие-то пучеглазые, недодуманные идеи, обноски мечтаний, звуки, вещи, люди и, наконец, то, самое сокровенное, что люди прячут и шифруют от самих себя. Потом все расплывалось, точно недостаточно было молекулярное сцепление между образами, а ветер с маху налетал на гремучее жестяное дерево.

До боли знакомыми голосами звенели эти жестяные листья. «Умирать — это правильно...», «бессмертье — бунт индивида!», «...ерунда, образуем новые вихри», «сквозь наши груди пробиваются сочные дерзкие ростки будущего...», «слышишь, шумит листва?», «чепуха, истлеем, гнусно пропадем: мы умираем прочно!», «они впервые имеют за что умирать!», «храните жизнь!..». Этот последний дребезг принадлежал ему; он вскочил и красными глазами уставился в мир. Там спокойно и ровно горела лампочка под латунным абажуром. С откидного столика свешивался ворох бумаг; Черимов листал их и делал на полях отметки. Он казался лохматее обычного и озабоченней, но в расплеснутом сознании Скутаревского отразился только острый блик чайной ложки в недопитом стакане.

Подвижное лицо Скутаревского выражало теперь полное расслабление. Температура поднималась, и знойным бредом пенилось расплавляемое вещество. Учитель и ученик вглядывались друг в друга с противоположных берегов рассудка, дивились и не узнавали. Тогда Черимов привставал ему навстречу и почему-то косился на свой чемодан, где перед отъездом обнаружил пузырек с йодом. В этом случае йод означал лишь крайнее его бессилие помочь учителю, и опять они расставались на долгие бесплодные часы.

Снова наклоняясь над чертежами, отпивая глотками остылый черный чай, Черимов боролся с дремотой и перебирал в памяти подробности последних суток. Усталость давила ему на плечи: две ночи он провел в каком-то диком, бумазейном кресле, спиной к турбогенератору, слабо гудевшему под нагрузкой в сорок тысяч киловатт. И оттого, что впечатленья последней недели спутались в нем в неразборчивый клубок, перед ним также проходили вереницы людей, и почему-то выпуклей, честнее, заметнее других был облик Фомы Купаева. Они познакомились давно, в научно-техническом секторе

ВСНХ, куда Фома заезжал по вопросу об изысканиях фрезерной разработки торфа. В те сроки звезда Фомы лишь всходила над советским горизонтом, никто не предугадывал, что через два года этот молчаливый турбинный мастер станет начальником большого строительства. Но причудлива судьба советского человека, и вот Черимов повез к нему, на крупнейшую районную станцию, самого Скутаревского ревизовать кунаевские дела и достиженья.

Все обошлось гладко; играла военная музыка, и маком цвел могучий Фома; застенчиво толпились у агрегатов бородатые ударники и герои строительства; нагловато, с видом арбитра, улыбался приезжий американец, жуя свою резинку и в упор разглядывая степенную, немногословную породу тамошних людей. Была выставлена на осмотр длинная цепь чудес; в ее первом звене тугая, в двадцать четыре атмосферы, водяная струя разбивала слежавшиеся слои торфа, а в ее конце таинственно и трепетно помигивала контрольная лампочка на удивленье окрестных мужиков. Их понабилось много и везде — у пирамидальных бункеров, взнесенных над печами, у аккумуляторных ям — везде напряженно блестели голубоватые глаза, точно напуганные приходящей новизной. И в самом деле, было достойно удивления, что то самое торфяное болото, где от века бесполезно цвел гравилат да топла тощая мужицкая скотинка, теперь движется, шумит и светит... светит, черт возьми, на потребу социалистического человека! В станции — ни в размерах ее, ни в общей схеме — не было ничего чрезвычайного, достаточного для потрясения иностранца, но революция строила их десятки одновременно, и в этом штурмовом напоре заключалось их высокое поэматическое значение.

Торжество грозило затянуться. Экспертиза разбилась на группы, и американец, с пристрастием облазив все, бродил теперь по цехам вместе со Скутаревским, который, один из всех, мог изъясняться на его языке; беседа велась по-английски, так что шедшие рядом Кунаев с Черимовым могли следить за разговором лишь по выражениям их лиц. Сперва гость все пошучивал, преимущественно на алкогольные темы, и, кажется, из желания польстить Скутаревскому, показал ему в темном переходе — они направлялись в турбинный зал — плоскую фляжку с советским коньяком, которую по привычке таскал в заднем кармане. Скутаревский дал понять, что не слишком осведомлен в этой области, и тогда тот не очень логично перескочил

на проблемы мирового кризиса, уже потрясавшего заокеанскую республику.

— Простите,— недобро покосился Скутаревский,— видимо, у меня не хватает чувства юмора на вашу остроту. Не улавливаю, в какую именно связь вы ставите вашу очередную экономическую катастрофу и винную торговлю вообще?

— О, русские всегда плохо понимают шутку,— комически взмолился тот. — Вино доставляет забвение несчастий, а небогатому человеку в Америке сейчас недоступно это лекарство. Я хотел сказать, что сухой закон доведет нас до революции.

Скутаревский жестко посмеялся, не разжимая губ.

— Ну, для этого, в свое время, у вас найдутся более существенные основания,— едко прибавил он, и, хотя слова эти не были выношены где-то в сердце, его радовала честь произнести эту заслуженную колкость.

Злость делала совсем раскосыми и без того нерусские глаза Скутаревского. Гость был журналистом, объезжавшим очаги молодой советской индустрии «для пополнения капиталистического образования» — как иронически объявил он сам с доверительной улыбкой. По слухам, до того как сделаться корреспондентом промышленной американской печати, гость был крупным инженером, хотя и не оставившим следа ни в технике, ни в науке. Скутаревского раздражало, что этот сведущий специалист, на лице которого не отпечатлелось особого пристрастия к алкоголю, избегает говорить с ним на тему, ради которой, в сущности, оба они пришли сюда. Не нравились ему, равным образом, ни снисходительная ирония, ни самоуверенная скромность этого заокеанского соглядатая, и даже возмущала потертая фуфаечная жилетка под поношенным пиджаком, рядом с которым костюм Скутаревского выглядел почти щегольским. Но он примечал и сам уйму всевозможных упущений и промахов как в проектировке, так, одинаково, и в оформлении станции; и то последнее, решающее обстоятельство, что работу эту проектировал его сын, Арсений Сергеевич Скутаревский, заставляло его в этом разговоре конфузиться, раздваиваться и молчать.

Не мудрено, что американец стал догадываться об истинных чувствах провожатого своего:

— ...не удивляйтесь, что я не критикую качеств этой станции,— вкрадчиво сказал он, касаясь руки Скутаревского. — Я только гость, которого терпят; я ем то, что мне дают. Кроме того, я достаточно уважаю вас, мистер Скутаревский. Я знаю

ваши книги. Мне приходилось освещать ваши работы в нашей печати. Я имел удовольствие, правда — случайное, присутствовать... — Они поднимались в котельную. — Позвольте, я отдышусь,— сказал гость, останавливаясь на минуту,— ...присутствовать на вашей лекции в Вудстонском университете. Вы не помните меня, я сидел в левом ближнем углу. Это было в двадцать третьем году, но с тех пор...

— Это было в двадцать четвертом,— резко поправил Скутаревский, прочеркивая воздух рукой. — Но, если можно, давайте ближе к делу. Я не люблю воспоминаний.

— Хорошо,— сказал тот и ногтем поцарапал новехонькие поручни винтовой лестницы, где они стояли. — Плохая краска — это непрочная краска, мистер Скутаревский. У вас плохо понимают экономию. Я не смею говорить о мелочах, которые вы видите и сами и которые вряд ли существенны для молодого общества, каким является ваше. Оно еще не успело выработать американского, делового отношения к миру. Оно еще склонно обожествлять энергию и машины, ее производящие. Ему хочется строить дворцы над каждым агрегатом... Я имею в виду габариты этого здания. Оно не задумывается даже над разумным использованием поверхностей нагрева... даже!

— Прошу прощенья... — прервал Скутаревский. — Эту станцию строили молодые наши инженеры по указаниям приезжих американских звезд, получавших за это хорошие, честные советские деньги... мои деньги в том числе! Хотите вы сказать, что звезды светили вполнакала и указания их были не вполне добросовестны?

Американец помолчал, губы его стали жестки.

— Словом, я не советую брать эту нарядную ошибку за стандарт. Конечно, это ошибка юности, за нее все мы дорого платим. Мне пятьдесят, пылкая юность моя, пожалуй, кончилась, а я только теперь начинаю умнеть. Юность всегда расточительна, но и при этом условии вы идете гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон... Что вы хотели сказать?

— Да,— в бешенстве откликнулся Скутаревский; в конце концов, речь шла о его цеховом инженерском достоинстве. — Насколько я понял, вы тоже были инженером?

— О, и я любил это дело... но, под давлением некоторых обстоятельств, был вынужден изменить свою профессию.

— Можно уточнить, за что вас удалили из любимого дела? Вы были плохим инженером... или... что-нибудь посложнее?

— Это безработица, мистер Скутаревский.

— Это и вынудило вас заняться журналистикой?

Тот сделал вид, что не расслышал вопроса.

— И все-таки Россия сейчас самая любопытная часть вселенной. — Он вежливо протянул своему спутнику мятую пачку сигарет. — Курите!.. кстати, почему у вас так много говорят по любому поводу?

Скутаревский дрожащими пальцами перематывал рулоны самопишущих приборов, которые подоспевший техник сунул ему в руки. Они волочились по полу, ленты ябедной, разграфленной бумаги, а он не видел ничего, кроме нечеткой, волнистой линии, фосфоресцирующей на темноте. Гость вынул часы и вдруг заторопился; он снисходительно объяснил, что имеет только полгода на беглый осмотр всех чудес этой неслыханной страны. Черимов вовремя отошел в сторону. Кунаев сказал гуд-бай, все, что он знал по-английски, неуклюже, зато от души. Скутаревский молча поклонился гостю и повернулся спиной. Вещество его чадило и клокотало; ему было стыдно за сына, и сжимались кулаки на Петрыгина, через которого проходил проект и которого уже давно он разглядывал с враждебным вниманьем. Он испытывал жажду, зуд в руках, потребность в ругани и стал спускаться вниз.

— Ну, что он сказал? — догнал его Кунаев.

— Он не сказал ничего. Он из тех, которые терпят нас, пока мы самые западные из азиатов, и возмущаются, когда мы заявляем себя самыми восточными из европейцев... — ответил Скутаревский, не понимая, ради чего он лгал сейчас этому горячему, непоседливому человеку.

В суматохе Кунаев так и не уразумел ничего. Да тут еще в окно со двора, заваленного щебнем, стружкой и разбитой цементной тарой, ворвалось медное, воинственное воркотанье оркестра. Торжество еще продолжалось, когда распространился слух, что суждения экспертизы крайне благоприятны. Тем более угрюмое молчание Скутаревского и поспешный отъезд американца селили смущенье в неискушенных участниках торжества. Им хотелось, чтобы вместе с ними радовались все — и этот любознательный гость, если только доступно ему при его европейски здравом смысле бескорыстное ликование молодости, и этот генштабист индустриализации, как обозвал Скутаревского впопыхах энтузиастический председатель исполкома; вечером к тому же замышлялась дружеская вечеринка с пельменями и приезжими знаменитостями. И вот тут-то, при

осмотре котлов, шести стирлингов по семьсот двадцать метров нагрева, Скутаревский и спросил у Кунаева во утоление какой-то непостижимой потребности: «...вы радуетесь обилию воды или количеству котлов, товарищ?» И сразу это мимолетное словесное облачко раздулось в целую тучу над курчавой черимовской головой. Просматривая графики котлов, шурша синеватой калькой чертежей, которые захватил в дорогу, все доискивался он правды, о которой не смел догадываться, и, кажется, впервые клял свою дерзкую, безопытную молодость; пожалуй, стоило бросить академическую работу, чтоб только разгадать этот чертов ребус. Графики отличались отменным благополучием, и даже содержание CO_2 было точно такое, какое предписывалось в учебниках. В чертежах также все обстояло исправно, каждой гайке, каждому метру провода имелось свое точное занумерованное место; притом тщательность исполнения была такова, что, в глазах Черимова, никакой картине не сравняться было с ними по красоте. Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался.

Тот спал на той сокровенной глубине, куда лишь длинными, кружными путями просачивается биенье действительности. Все теперь стало ему ненужным — ни мир, ни плоско нарисованные на нем понятья, ни мненье людское, ни честь его инженерской корпорации.

Мысль, которая за последние месяцы туго и неуверенно вызревала в нем, теперь воплощалась в окончательные, почти фантастические виденья. — Туманная, голубоватая долина представала ему среди хребтов недвижимых и снежных. Она была обширна и пуста, ее реки текли напрасно, ее богатств не раскопал никто,— ей не хватало лишь людского творчества.

Он видел ее как бы с высокой горы, откуда проще и понятней путаная география мира. Лавины людей приходили сюда из дымных и мрачных предгорий; они пугливо жались у скалистого прохода, ослепляемые едким, как бы ртутным светом долины. Старые дома их развалились, а новые еще не построены; ночи их были темней, а одиночества страшнее, чем в те первобытные дни, когда еще не писались, а только пелись первые земные книги. Они и тут пытались петь,— неуклюжие их голоса повторяли сиплый лай ветров, под которыми были

зачаты. Не сразу, не дружно они уходили в свою голубую неизвестность, а он оставался один на своей горькой высоте...

На протяжении двух суток, пока длилось возвращенье, образ этот повторялся многократно, все острее и могущественней, убедительнее смерти и все менее уловимый в непрочные, неемкие слова. Периоды такого изнуряющего ясновидения чередовались с кратковременными вспышками полной ясности, но до последней облегчающей испарины было еще далеко. В перерывах Скутаревский открывал глаза и лишь по освещенности окна угадывал — утро, сумерки или вечер застает его, больного, в дороге. Гора его шла за ним неотступно, как судьба, возвращение в семью пугало, о сыне он старался пока не думать, друзья... их он заводил ровно столько, чтобы не совсем разочароваться в людях. Оставалась работа да еще вот Черимов, который, присев рядом, с неумелой нежностью держит его влажную, обессилевшую руку. Учитель сидит молча, с голыми волосатыми ногами, и опять в зеркале против себя видит свое отражение — бескрасочное, точно в болотной воде. Волосы смокли на нем и слиплись, как на гончей. Ему кажется, что его преследуют зеркала: не зеркало — так осколок стекла, лужа на дороге, всякий другой глянец, мимо которого проходит. Мир полон его отражений, и каждое твердит, что комета идет на убыль...

Он внимательно рассматривает побелевшие свои ногти.

— Да, это сотерн. Вы пили сотерн, молодой человек? Должно быть, подшипники мои сносились. Да, поступь ума моего стала тяжка; он уже не парит, он ползает, его брюхо в пыли. Он уже боится той самой логики, которую раньше делал сам. Посадите на моей могилке желтые цветы. Яростно люблю кадмий.

Реплика означает выздоровление; Черимов терпеливо прислушивается к стариковской воркотне. Выздоравливающие болтливы, как дети.

— Вы еще порядком побузите на этом свете, Сергей Андреич. Я никогда не чувствую разницы наших возрастов. Что?.. мне?.. вчера стало тридцать. Мне и сейчас хочется похлопать вас по плечу...

— Похлопайте, ничего. Со временем вы напишите хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка вопроса о направленных антеннах принадлежит мне. Не отрекайтесь, у вас есть литературные способности... Да, кстати, что вы думаете об Арсении?

Ему хочется говорить; его томит жгучая потребность объяснить, сколько ему еще нужно сделать и как это ему трагически не удается. Сумерки делаются гуще. Простоволосые призраки ночи вприпрыжку скачут за окном: пар. Он тает и внезапно рождается вновь. Гремят стрелки, проскакивают огни, паровозные искры чертят на мраке тысячи осциллограмм.

— Я не видал его десять лет, Сергей Андреич. Я не знаю. Он был славный парень, но всегда с какой-то поправкой на интеллигентский истеризм... — И вдруг: — Сергей Андреич, вы обмолвились третьего дня Кунаеву про котлы, помните? Что означал ваш намек?

Напрасно он расчленяет слова зевотой, чтоб обмануть бдительность учителя. Тот знает, о чем думает этот скромный и требовательный ученик. Он молчит, и каждая протекающая минута притупляет остроту вопроса, поставленного врасплох.

— Мне скучно стало от речей, молодой человек. Я и в прежние годы их не терпел... Я даже как-то плешивею от молебнов. Будьте добры теперь, задерните шторку. Мерси...

Ночь входит в купе. Ноги тяжелеют, тело теряет ориентацию на вещи и внезапно утрачивает вес. Снова у входа в утопическую долину теснится человечество. Но все окутывается дымкой и мельчает, точно Скутаревский смотрит в обратную сторону бинокля. Потом пространство между сознанием и явью единым махом заполняет сон, огромный и мохнатый, как гора.

ГЛАВА 3

Открыв дверь своим ключом, он тихо вошел в квартиру и стоял там, как чужой, которого не приглашают войти. Он стоял долго, прислушиваясь к затухающему фырканью машины, на которой Черимов завез его домой. Все обстояло по-прежнему. Прямо перед ним, в просторной прихожей с лакированными обоями, возвышался шкаф, дубовый, замысловатой работы честного и бездарного мастера. Поистине это была вещь: она обладала собственным характером и запахом, она вселяла в посетителей подобающую месту серьезность, по веснам оттуда изобильно выпархивала моль, но какой священный семейный инвентарь хранится там, Скутаревский так и не узнал никогда.

Высоко на шкафу стояли в тесноте серые от пыли гипсы — грек с вытекшим глазом, поэт со знаменитыми бакен-

бардами, лысая французская старуха, как зло изобразил его Гудон, музыкант со стихийным лбом, распахнутым, как мишень, чудесный флорентиец, воспевший ад, окрестности любви, рядом с тем мантуанцем, которого избрал себе в путеводители,— и еще казалось, будто одному из них, умершему в самый год его рожденья, творцу богов, пророков и сивилл, все шепчет на ухо проницательный бородач из Пизы, что вот он обшарил космос и, отыскав закон, нигде не нашел бога. Позади, в тени и забвенье, теснились еще и другие, и тот же серый пепел судьбы одевал их непокрытые головы. Обращенные лицом к двери, они, казалось, приставлены были охранять драгоценный скарб Скутаревского, и лишь один стоял затылком, драматург в елизаветинском жабо, с зелеными кудрями; когда подрастал Сеник, любимец матери, ребенку давали играть с ним, и тот раскрасил этот бледный, величественный мел своею детской, неумелой акварелью. Весь этот пантеон недружелюбно взирал теперь на Скутаревского, который со сжатыми, в сущности, кулаками вторгался в собственный свой угол.

Сергей Андреич снял пальто и тихо повесил его на место.

Кто-то сидел у жены. Он прислушался, досадливо обернув ухо к коридору, откуда раскидывалась путаная анфилада профессорских комнат. Сиповато и в приподнятом стиле гость расхваливал высокое качество неизвестного товара. Речь шла о необыкновенной легкости формы, о насыщенной динамике и четкости фигур, о благородстве композиции, о сохранности — как будто не было впоследствии ни варваров, ни гуннов, ни христиан. И оттого, что расточительный поток этих мудреных слов поминутно прерывался раскатистым кашлем, а на полу, рядом с калошами, валялась мятая, гнусная шляпа, а на вешалке торчало знакомое пальто с проплатанным карманом, Сергей Андреич догадался, что это пресловутый Осип Штруф приволок на продажу какой-то неописуемый шедевр.

— ...это разновидность чернофигурной амфоры,— так и свистели из Штруфа словесные брызги. — Вы видите эти пурпуровые искры на одеждах Артемиды и коплита? Ясно, это круг мастера прекрасного Дианокла! Эта безумная вещь стояла в подвале, спрятанная от большевиков. Я пришел, я влюбился, я ходил к ней на свиданье каждую ночь, я забывал спать, я потерял на ней здоровье... Я продаю, потому что ее могут разбить мои собаки.

— Но по раскраске,— слабо сопротивлялась мадам,— это напоминает одну пепельницу... я видела у Петрыгиных.

— ...и у ней была такая же, характерная для Коринфа, рубчатая розетка? И эти покатые плечи, эта ножка, чтоб прикоснуться к грешной земле?.. — Он опять раскашлялся, точно раздираемый пополам, а Скутаревский тем временем подивился — какую мошенническую фантазию следовало иметь, чтоб у дурацкого сосуда из-под оливкового масла отыскать плечи и ноги. — Я пришел в первый раз — вещь эта лежала во мраке подвала. В углу проходила канализационная труба, и в ней всегда журчало что-то и храпело: дом был огромен. Я зажег спичку... — Холодом веяло от Штруфовых слов. — Из амфоры выбежала крыса, которая жила в ней. Она была старая, с облезлой спиной... Вы знаете, что некоторые породы крыс живут по двести семьдесят лет?.. Я помню ее чуть красноватые вопросительные глаза. Спичка потухла, и в страхе я бежал, но только затем, чтобы вернуться через неделю.

Стиснув зубы, Сергей Андреич прошел к себе, но скрипнуло под ним в рассохшемся паркете, и тотчас же жена догнала его у кабинета. Словно Сергей Андреич и не уезжал никуда, она заговорила быстрым привычным шепотом, каким разговаривают накрепко сжившиеся супруги; муж не имел времени вставить и слово, если бы даже и захотел. Она объяснила: Осип Бениславич просит за вазу такие пустяки, что Петрыгины, с которыми она давно соревновалась, в случае отказа немедленно ее перекупят. Притом ваза явно старая, из подвала, чудом уцелевшая от большевиков, редкой тематики, и, что самое главное, подлинность ее удостоверялась сертификатом брата Скутаревского, Федора Андреича, музееведа и художника по ремеслу. Жена торопилась выпалить свои доводы, потому что в столовой, где одиноко выкашливался Штруф, имелись незапертые ящики, а плачевная репутация Осипа Бениславича требовала особого присмотра и осторожности.

— Может быть, ты взглянешь сам? — Она предложила это лишь из дипломатии: муж никогда не вмешивался в ее приобретательскую деятельность. — И, кроме того, если это перевести по нынешним ценам на масло, то окажется совсем даром...

Брови Скутаревского дрогнули.

— Приготовь мне белье, Анна. Я иду в баню.

Она вскинула на него близорукие, в пенсне, глаза и испугалась его надтреснутого голоса: так звучит беда. Вокруг рушились инженерские благополучия, ломались карьеры, гибли репутации, распадались семьи, — она боялась всего. Она заку-

сила губы, чтоб не выдать тревоги. Рядом с ней стоял, зябко потирая руки, совсем чужой человек, ничем не похожий на Сеника, и даже волосы на нем, глубоко янтарного отлива, стояли как-то дико. А всего страшнее было то, что никого ближе у нее не было в мире, с кем она могла бы посоветоваться о вазе. Тогда ей захотелось, чтоб он закричал, затопал на нее — вещь небывалая в их семейной практике, но тот не раскрывался и молчал. Она даже не порешилась прикоснуться щекой к его лбу, как делала всегда, чтоб узнать — есть ли жар; кстати, за последние четыре года Сергей Андреич как-то и не болел ни разу.

— Что с тобой?.. ты болен?.. ты потерял чемодан? — И вдруг ей стало не по себе на этой нелюдимой половине мужа.

Квартира негласно делилась на две неравные части; во второй, значительно большей, жили обособленно жена и сын,— даже и гости у них бывали разные, и это существенное различие начиналось именно со Штруфа. Бакалавр неопределенных наук — по его собственному признанию, а на деле акционер предприятия, в котором когда-то работал и Петрыгин, он аккуратно, не реже двух раз в неделю, забегал сюда со сверточками с заднего хода. Его товар зачастую определял политическую ситуацию страны. Сперва он таскал крупу и масло, потом накрепко проперцованные анекдотцы, запретные новости, остренький слушок и, наконец, какую-то поблеклую бронзу из разбитых дворянских особнячков. Коллекция шедевров пополнялась; Анна Евграфовна утверждала, что кое-чем она не уступит и Люксембургскому музею, а фамилия Скутаревского, вырезанная на медной дощечке, надежно охраняла квартиру от всяких непрошеных вторжений.

Все здесь было заставлено, завешано вещами, а иное золоченой гроздью или хрустальной арабеской даже свисало с потолка. Кунаев, придя сюда впервые, испытал великое томление духа; его удушал затхлый аромат этих сомнительных сокровищ. Века и расы сварливо, подобно торговкам, состязались здесь, и было поучительно видеть, насколько по-разному гонялись прославленные художники за красотой, чтобы усадить ее в неуклюжую клетку своего искусства. Было чему дивиться Кунаеву: во что только не трансформировалась, пускай чужою волею, неукротимая гениальность этого примечательного человека. Глубочайших окрасок нефриты, овальные и прямоугольные холсты, старое резное дерево, стекло, из которого привередливый мастер изгнал его материальную тяжесть,

цветистый и распутный фарфор, средневековая бронза, японские лаки, серебро — до крайности похожее на аугсбургское: мадам интересовалась всем. Отсутствие смысла замещалось формой; недостаток формы оправдывался ценностью материала; малая ценность прикрывалась стариной, и тогда самая ветхость обманывала порочной и расслабленной прелестью, готовою распасться на куски. Все это проигрывало на дневном свету, но вечером сверкало и слепило стихийным напором чужого и бесполезного вдохновенья.

— Осторожней... весь этот утиль имеет тенденцию падать на голову,— шутливо оправдывался хозяин и спешил увести гостя к себе. — Идемте отсюда, идемте. Мой ящик там...

То был действительно ящик, и состоял он из одной полутемной, окнами во двор, комнаты, которая не переклеивалась никогда. На сосновых незастекленных полках покоились труды инженерных ферейнов, технические словари, научная периодика и дремали классики электрофизики. Для работы имелся тут длинный, как койка, стол, да еще жесткая, как стол, койка, чтобы спать; кроме того, здесь же десятый год сохла араукария в кадке и еще притулился старомодный термоэлектрический прибор, стоявший без заметного употребления. Когда очередная работа не нуждалась в лабораторном опыте, Сергей Андреич энергично ходил по комнате, рассеянным взором блуждая по пятнистым стенам. Единственная и то как-то боком висела тут фотография Милликена, присутствующего на конгрессе энергетиков, да еще фагот — давнее и ставшее знаменитым увлечение Скутаревского; среди знакомых почему-то предмет этот числился под названием д р а н д у л е т а.

Часто в сумерки запахивались вплотную стеганные на вате портьеры, наглухо замыкались двери,— и в полупустой этой коробке, где на протяжении четверти века зарождались движущие идеи прикладной электротехники, начиналась странная звуковая возня, почти драка и порою даже как бы сражение Скутаревского с никому не ведомыми фантомами.

Должно быть, это и была мелодия его судьбы; несложная, как в курантах, она велась вся в среднем регистре, настойчиво и гнусаво повышаясь к концу...

Мадам терпеливо сносила это бедствие: сам Эйнштейн в пятнадцатом году играл вторую скрипку в оркестре,— первую вел один грек из Госплана, которого ей однажды показали в театре.

В такие часы Арсений Сергеич шутил сквозь зубы, что отец перекладывает на музыку свой очередной доклад в ВСНХ.

...И вот лицо Сергея Андреича отобразило гнев: драндулета не было на обычном месте. Там на могучем бронзовом крюке висел портрет длинноносого начальственного человека в берете и с выпяченной губой; из-за плеча выглядывала скверная его длинномордая собака. И хотя человек был одет в гофрированный атласный камзол, с буфами и красной оторочкой, а на руке имел перстень, было ясно, что это сам Штруф и есть, лишь в ненатуральном своем виде.

— Я просил не трогать моих стен,— сдержанно сказал Сергей Андреич и сделал решительный шаг к обезображенной стене; вдруг он заинтересованно, даже с подобием свиста, втянул в себя воздух: — Позволь, но ведь это сам твой Осип и есть, я узнаю его унылый сизый нос. Анна, да ведь это же глумленье!..

Жена торопилась оправдаться:

— Это портрет Франциска Первого... очень редкий. В Клюни висит только копия этого... Я хотела сделать какой-нибудь интимный подарок.

В действительности все обстояло проще: в ее комнатах просто не хватило стен на французского короля. Еще вчера вместе со Штруфом она поражалась мастерству и чуткости безыменного портретиста. Да, это был тот блистательный неудачник, но позади уже оставались грустная Павия и алькасарское пленение; душевная болезнь уже притушила его глаза, смяла симметрию лица, и даже новеллы его веселой сестры, лежавшие на острых коленях, не могли рассеять смертной меланхолии.

— Да, да, это, конечно, Штруф. Теперь я сама вижу. Именно нос совсем как у Штруфа...

И, точно учуяв, что честность его подвергалась сомнениям в глазах постоянной клиентки, тот явился немедленно сам и уже расшаркивался в дверях. Нос его одевали роговые очки, и за их топазовой дымчатостью пряталось то главное, для чего он жил, а жил он, говоря по секрету, надеждой на возвращение утраченных акций. Центр его тяжести обретался где-то в коленях, вздутых пузырями и всегда подломленных вперед. И еще — всегда, где бы он ни стоял — у окна или даже на улице, в майский ли полдень или в ноябрьские потемки, лицо его было освещено неровно, смутно: такое освещение будет, если чело-

века запихать под бильярд, что, по его словам, и проделала с ним судьба.

Явно, человек этот гибнул, и сперва не сознавал, а потом даже понравилось, и то, что вначале было ударом судьбы, теперь стало его профессией.

— Не правда ли, похож? — разом уловил он нить разговора, но подойти ближе ему, видимо, не позволяло благоразумие. — Федор Андреич допытывался, не потомок ли. Я отрекся, потому что бумаги утеряны, а карточки хлебной за такое родство лишат. Но я всецело согласен с вами, Сергей Андреич! Что общего имеет ваше имя с битым французским королем? Это даже компрометирует в такой обостренный момент, когда, знаете, интеллигенцию... Э, да что мне вам говорить! Вы слышали, Вараввин и Брюхе арестованы!.. Этому портрету место где-нибудь над лестницей, на хорах, исторические сюжеты следует содержать в темноте: обольстительно и благородно. Но повесьте лампочку в шестнадцать свечей, и очарование исчезает, а остаются рыла какие-то и кровь, кровь!.. Нет, лучше я вам приведу безобидную собаку. Редчайшей породы, хотя и маленькая... но ведь собаки растут быстро, как бамбук! Кстати, простите, что я без воротничка... — заключил он, прикрывая горло с жилистым кадыком.

Он говорил так длинно потому, что опасался — как только перестанет, тут его и выгонят.

Сергей Андреич кивнул на стену:

— Где мой инструмент?

— Он упал,— ответила жена с внезапно состарившимся лицом.

— Так,— очень твердо произнес Скутаревский и вдруг прорвался: — А короля выкинуть!.. такое... такое надо резать в ямах и заливать хлорной известью. А вам уголь грузить. Грузить не́кому, а вы лодырь... стыдно!.. — Он задохнулся и провел ладонью по лбу: — Выдай мне белье, Анна, я схожу все-таки в баню.

Все устраивалось, таким образом, ко всеобщему благополучию.

Когда Сергей Андреич вышел, мадам переждала минуту и обернулась к Штруфу с язвительной улыбкой:

— Я разделяю вполне гнев мужа. У меня самой идиосинкразия на такие лица. Кстати, Сергей Андреич против покупки вашей вазы. Он вообще не терпит греков...

— Это невероятно!.. — отшатнулся Штруф.

— Да, но он может себе позволить это, милый Осип Бениславич! — играя пенсне, молвила мадам.

— Имя Сергея Андреича котируется очень высоко. Я бы даже сказал: Скутаревский — это готика! — И он покашлял, почтительно склоняясь. — Я слышал также, что он вступает в партию?

Мадам загадочно улыбнулась:

— Нет, это сплетня. Есть люди, которым выгодно бросить тень на него. Вы наследили, надо вытирать ноги. Итак, до свиданья, Осип Бениславич.

Штруф опустил голову и грустно глядел на левый свой башмак. Он был бескаблучный, со шнуровкой от самого носка, такие употребляют для коньков. Осип Бениславич думал о том, что недалек день, когда все откроется и старинные клиенты, тыча всякими словами, погонят его взашей. Вдруг он поджал отвалившуюся челюсть и вскинул голову:

— Прекрасно... Итак, собачку я вам затащу на днях!

ГЛАВА 4

Дело начинается со старой баньки, что стояла в низинке у реки, в стороне от уличных протоков,— ветхое одноэтажное зданьице, притаившееся среди безглазых фабричных корпусов. Они зычно ревели по утрам, они дышали в небо грузною летучей чернотою, они владычили на всю округу,— банька же ничем не заявляла о своих древних неоспоримых правах. Простой и синий, синей синего моря, опоясывал ее кушачок веселой вывески, и четыре ухватистые буквы плыли по ней, как из простонародной сказки парусатые корабли. В людные торговые дни, когда останавливалась гремучая жизнь корпусов, во весь спуск, до дощатого банного заборчика, выстраивались бабы с яблоками и пыряющими в нос квасами, носатые молодцы с жесткими мочалками и карамелистыми мылами, выползали подпольные старцы с вениками, и тогда пахучий, в меру перебродивший товар их песенно шумел на речном, низовом ветерке. Сквозь замазанные известью оконца сочился смешной звук — помесь голоса, растворенного в гулком банном духу, и еще воды... великолепной воды, которая льется! Приходил сюда главным образом рабочий люд да еще угрюмая солдатская братва из соседней казармы, ибо на окраине стояло место. Так что, когда воспылало октябрьское пожарище, заведение пустовало, и Матвей Никеич Чернмов, пожизненный банщик

и сторож чужой раскладенной одежи, всю субботу высидел бездельно, изредка вздрагивая и просыпаясь от громов дальней пальбы.

Парился тогда в горячем отделенье один только отставной, на деревянной ноге, полковник, столь великий любитель, что, когда действовал он, никто другой не смел взобраться к нему на полок из-за жары. Парился он обычно сам, в мокром картузе, парился до того крайнего градуса, пока не грозило ему обратиться сразу в невесомое, газообразное состояние. Отпарившись же, пристегивал ногу, выползал в раздевальню и отлеживался часами, накрытый простынею; из-под нее ужасно, подобно указательному персту, торчала в пространстве его незатейная, на кожаном ходу, култышка. Был он молчалив, безвреден, кроме войны, не умел ничего, век доживал на пенсии и, будучи одиноким, на баню тратил все свои досуги... А тут, случилось, смешанный отряд рабочих и солдат отыскивал пристава, местного душителя и грозу; бежал тот от расправы и близ самой бани растаял как бы в ничто. Они вошли, шестеро, со штыками наперевес, прямо с перестрелки, за один тот день пропахшие въедливым военным запахом. Они увидели на лавке цветной, начальственный околыш, и хотя не было на нем ненавистной кокарды, засмеялись, всякий по-своему, но все об одном и том же. Они посмотрели на Матвея Никеича и подмигнули ему на мокрую дверь, из-под которой доносилось плесканье. Они втиснулись туда все шестеро разом, одинакие, как братья, молча и деловито; задний заметно шатался от усталости. Вышли они оттуда через минуту, слегка смущенные и потные от банной духоты. Они ушли, не оглянувшись на Черимова, который продолжал сидеть на лавке со строгим неподвижным лицом.

Розовую мыльную пену, расплеснутую по скользким ступеням, скатили водой, и потом очень скоро все забылось. Матвей Никеич был банщик и, чтоб не волноваться, удивления до себя не допускал. Самое снятие царя нисколько его не поразило; оно походило на снятие одного устаревшего монумента, которое ему удалось наблюдать и которое ему в высшей степени понравилось: генерала тащили, а тот покачивался и упирался, но вдруг упал, и вот раскололись на части бронзовые его шаровары. Видел он также, как вскрывали угодника в соседнем с его деревней монастырьке, и один приезжий из города для пущей наглядности скоблил мощи перочинным ножичком, но и это на него не подействовало. Одна только пол-

ковничья кончина произвела на него решительное действие. Он стал прислушиваться к разговорам людей, по-прежнему переполнявших баню в субботние дни. Голые, они бывали в особенности откровенны и не стеснялись выражать своими словами то, что волновало их в те поры. Раз Матвей Никеич спросил о знакомом слесаре, ранее не пропускавшем ни одной субботы. Ему ответили, что убит на деникинском, и тут же прибавили, что пора бы и ему, Матвею, повоевать маленько за рабочую власть.

— Куды мне, я банщик. Барабаны, что ли, таскать! — И отвернулся, покраснев.

До того случая был он этакая бородатая амеба, дикарь; из деревни выписали его мальчишкой; не видя ничего, кроме голых спин, он и сам с течением времени становился банным инвентарем. Если банька пустовала, он сидя спал, и кошмарные сны сказочного Анепсия-царя были детскими выдумками в сравнении с его видениями. Даже в молодости снились ему не бабы, не сражения, не обновы, а нечто лукавое и множественное: например, рыбы в пиджаках, либо сто тысяч архиереев единовременно, либо поле, а по нему ползают рогатые улитки, либо просто щека, но громадная и выбритая до такого лютого непотребства, что Матвейка отражался в ней весь, в натуральную величину. Тяжелей свинца была его подушка от застрявших в ней несуразиц... да и мало ли какие чудища бродят в дремучих лесах сновидений! С возрастом стали ему сниться бороды всевозможных покроев, как в парикмахерской, на парижском листе, различных мастей и вывертов, орда, целое нашествие бород, этакое шерстистое ликование. Тут он и сам от безделья стал отращивать себе бороду, и довольно успешно, и некому его было остановить.

Родни у него не было, брат умер еще до возникновения этой шалой прихоти, а племянник, прожив у дяди полгода, сбежал на тот же самый крошечный стеклянный заводишко, где работал и его отец; не терпел племянник ремесла, к которому начал приспосабливать его дядька. Матвей тогда не огорчился: «Молодели не жалей; щипаная-то она кустистей растет!» Позже, еще совсем малолеток, племянник дрался на фронте, после чего неимоверными усилиями выбирался вверх по ступеням науки, а дядька все спал, выжидая своего часа. И поистине, нужно было выстрелить в него из мортиры, чтоб пробудить. Изредка, заезжая в столицу, Колька Черимов забегал навестить дядьку на его дырявом чердаке. Он присаживался

на узкой койке и долго, пристально, прищуриваясь сквозь кулак, разглядывал своего несговорчивого родича. Тот сидел перед ним, большеротый, с огромными ноздрями, к людям прохладный, насмешливый, наблюдатель жизни, кошель неистребимой звериной силы.

— Никак, бороду мою смотришь? — выговаривал он наконец.

— Хороша, ты из ней ровно из багетовой рамы выглядываешь!

— Полезная вещь,— с тем же ядком соглашался дядя и поглаживал ее бережно. — Надысь в кино звали сыматься. Трешницу давали и пищу.

— Просто шелк... — все покачивался, стиснув зубы, племянник. — С такою и горла не простудишь: ровно в валенке. Не кури только, а то спалишь ненароком!

— Ничего, я ее храню.

В сущности, он нарочно рядился перед племянником в дикарскую свою наготу. Уже с год он обучился грамоте, и хоть с опозданием, но узнал, за что — не умерщвленный во многих знаменитых кампаниях — погиб безвинный полковник. Нарочно, чтоб пуще раззудить Кольку, он рассказывал в подробностях, как в свободные дни играет на дворе с ребятами в орлянку стертыми николаевскими пятаками; тот дрожащей рукой поглаживал растерзанный краешек одеяла, на котором сидел. Порою хотелось ему тряхнуть дядьку за плечи и кричать, кричать ему в ухо, как на митинге,— о, какою, дескать, лопатою мешать ленивые твои мозги! Но чердак был гулок и просторен, крик человека терялся тут, под глухою тесовою обшивкой. Тогда он молча снимал со стены и, в который раз, принимался разглядывать выцветшую от времени фотокарточку, где изображен был какой-то военный в полной форме и при усах. И еще там висело — но не девушка в венчике, не ангелок с пасхальным яйцом, а сам писатель Короленко, которого полюбил Матвей Никеич из-за его чудо-бороды.

— Выпиваешь? — улыбался Черимов и кивал на полку, где, подобно матери с младенцем, стояли винная бутыль и крохотный стакашек.

— На ночь растираюсь. От воды хрящики мои ноют.

— Это оттого, что спины чужие трешь, нагибаешься.

— Ты не кричи, а то прачкину девочку разбудишь. Тут у нас за перегородкой прачка живет.

— Почем берешь со спины? — вдумчиво осведомлялся племянник.

— Рупь. Приходи, с тебя половину по родству... — И вот грозился разбухлым пальцем: — Чего, чего мурчишь? Я дурю, да вон башка-то, как смоль. А ты и учен, а эвон вкруг ушей-то ровно паутинкой оплело. — Так пренебрежительным спокойствием мстил он этому мальчишке за попытки сманить его на фабричку, откуда самого его уже увела судьба. — Ну, ты посиди тут, я тебя не гоню... — И начинал при госте шумно укладываться на ночь, а однажды, к пущей его досаде, даже и молитовку вслух почитал.

— Все озорничаешь, все путляешь... ось, гадюка! — оборонялся племянник, нехотя берясь за шапку. — Погоди, дохлестнет и до тебя.

А жизнь менялась; расплавленная, она текла, застывая в причудливые, неожиданные формы. Банька хирела, потому что соседние заводы, расширяясь за счет чужих владений, выдавливали ее из низинки могучими кирпичными плечьми. Матвей Никеич видел больше, чем мог понять, но явственно чуял за этим затишьем расхлестнувшуюся, почти бездонную пучину. Одного ему хотелось, чтоб уж скорей. Бывало, ночной и близкий, колотился в крышу дождь, чердак наполнялся вздохами и шорохами, и тогда, лежа на твердом своем одре, он раздумывал, как все это случится — в землетрясении, в потопе или же под видом пожара. Возраст его как бы остановился, он не старел, даже не лечился ни разу, а просто старался не заболевать; всякий зазевавшийся микроб погибал в нем немедленно, как в печке. Но раз, выбежав в стужу за веником, он подхватил детскую какую-то простуду и неделю провалялся у себя на чердаке. Прачкина девочка раз в день приносила ему воды. Отощавший и страшный, он лежал один, и вдруг ему пришло в разум, что эдак легко и умереть. Кстати, мучила еще боязнь, что молодой банщик Кеша, новое его начальство, не поверит в его болезнь. Поднявшись до срока, он оделся и, как прежде, отправился на работу. Достигнув спуска, где улочка ломалась, он остановился, не узнавая места.

Пыль, летучая известковая дымка парила над низинкой. В ней уже не маячило привычное синее пятно с буквами, огромными, как в букваре. Баню разбирали, а заодно срывали церквуху, с которой она соперничала по субботним дням, кто в себя народу больше приманит. Соперницы погибали вместе, пыль их мешалась и зыбко поднималась на ветер. Артель ка-

менщиков хозяйственно копошилась на оголенных стенах, и один с остервенением и с намаху вклинивал железный лом в окаменелую от времени кладку. Матвей Никеич простоял здесь долго, мешая проходу людей и прицеливаясь вниз потерянными, впервые раскрывшимися глазами. Желанная гроза пришла; она опаляла его веки; пророчества племянника сбывались. Он вспомнил каменную плесень на стене баньки; она то рыжими письменами, то дерущимися гарпиями распространялась по кирпичу. Еще он вспомнил чахлую сиреньку, что торчала в окне раздевальни, и вдруг прислонился к стене: у него задрожали колени. Когда же спустился, там выворачивали котел — круглую, оборжавевшую посудину, у которой он кормился долгие годы. И он помог людям выкатить ее на катки, потому что всегда надо помогать живым побеждать мертвое.

За выслугу лет его перевели в баню высшего разряда, ближе к центру, с огромными окнами, мозаичными полами и всякими водяными ухищрениями. Но то была уже не прежняя языческая мыльня, капище тела и веника, а просто санитарное учреждение комхоза. Народ сюда ходил почище, но Матвею Никеичу понравился лишь один — стремительный, с рыжеватиной человек. Повествуя племяннику о новом знакомце, Матвей Никеич сказал: «Публика чистая и все с пузьями. В иного руку всодишь — еле вытащишь; скоро жиреют, скоро и колеют. А этот тощеват и, судя по масти, горящий человек. И на чем в жизни догорит, про то не хватат моей мысли...» Посетитель, видимо, тоже не прочь был поговорить с людьми на римский манер, в голом виде, когда ни различие одежд, ни житейская чиновность не мешают простой человеческой искренности. Первая их беседа, недолгая, состоялась о табаке и мухах, а вторая о покойниках; Матвей Никеич полагал, что разумнее производить похороны ночью, чтоб не осквернять дня. Третья заключалась в рассуждении и истолковании разных мечтаний. И тут выяснилось, что втайне от начальства мечтал Матвей купить себе подходящую гору, со всем лесом, каменными зубьями и зверьми, и чтоб сесть на ее макушке и смотреть, и чтоб дикие грозы округ, и чтоб толстые молнии, ломаясь и щепясь, беспрестанно жгли и клочили эту землю. Уединение на горе свойственно было, таким образом, им обоим; должно быть, именно поэтому, придя с противоположной стороны, и встретился Матвей со Скутаревским.

...Было близ полдня, когда Сергей Андреич вошел в баню; в раздевальне висело всего с дюжину пальто, и одна, между

прочим, кожаная тужурочка. Банщики скучали; один сидел и от безделья щупал себе нос, хотя нос был вполне обыкновенный; другой читал статью в газете. Делал он это с великой тщательностью, и, когда Сергей Андреич уходил, тот смотрел все в ту же страницу. В зале стояла утренняя, незадышанная свежесть,— самые усердные парильщики появлялись позднее, к закрытию. Намереваясь выпарить из себя всю простуду зараз, Сергей Андреич сразу же спросил себе Матвея Никеича, и паренек, оторвавшись от газеты, сообщил, что Матвей тут больше не работает, а почему так получилось — объяснить не сумел. Тогда Сергей Андреич отправился прямо в жаркое отделение. Здесь было пусто, обильно пахло раскаленным камнем, в высоких окнах дымчато и розово светился сентябрьский денек... Он пошел за угол, за шайкой, и вдруг разглядел в сумерках распаренное глянцевитое тело, довольное и усталое; верхнее освещение делало его короче и толще. Рядом, на пестрой мозаичной скамье, вопреки правилам комхоза, стояла бутылка с квасом, и в ней продолговато и массивно отражался упитанный бок толстяка. Все это выражало почти эпическое спокойствие совести, и нужно было обладать неуживчивостью Скутаревского, чтоб разглядеть сокрытую азиатскую улыбку позади такого торжественного, безоблачного благодушия.

— А,— сказал толстяк вместо приветствия, и подбородок его, широкий и плотный, заметно раздвоился от улыбки.— Вот, приказано потеть. Сахар, сахар, родной мой, донимает. Восемь процентов, смекаешь? Скоро буду сладкий, как свекловица...

— Ага, значит, и ацетоны есть? — сдержанно откликнулся Скутаревский.

— Что ты, оборони бог! — И, налив стакан, с маху выплеснул его куда-то в усатый промежуток между носом и подбородком. — Ну, что в Сибири?.. почем жизнь?

ГЛАВА 5

Это и был Петрыгин, брат его жены и когда-то лучший друг, но первый хмель дружбы давно прошел, и осталась одна горькая похмельная фамильярность. Впрочем, расхожденье их началось вскоре после того, как поскидали с себя студенческие тужурки; тут и обнаружилась первая трещина. Скутаревского потянуло на новый факультет, и сперва он очень бедствовал

в скудной должности ассистента при каком-то институтишке; да и впоследствии, сделавшись преподавателем, не особенно жирел. Петрыгин же сразу ввинтился в житейскую машину, точно для полной исправности только и не хватало ей этого новехонького с крутой нарезкой шурупа. Обставляясь на первых порах, он и лицо себе выдумал благородное, но в меру, чтоб не отпугивать приятелей, и репутацию весельчака и выпивохи, хотя никто нигде не заставал его с бутылкой. А легче всего далась ему удалая его беспечность, на которую, как на звонкую монету, покупал доверие людей. Фортуна благоприятствовала трактирщикову сыну; первый же его хозяин, предприимчивый и просвещенный фабрикант, правильно учитывал перспективы распространявшегося электростроения. Молодой инженер поехал в Англию навостриться на — тогда еще передовой — английской промышленности, чтобы с барышом применить на практике у благодетеля и будущего тестя. Петр Евграфович не рассказывал никогда, как получал он этот чек из рук покровителя искусств, дарований и отечественных мануфактур: один стоял, другой сидел, но тот, который стоял, еще вдобавок и посмеивался. Так, со смешком, он и укатил, молодой, проворный, с русым кудрявым пушком вокруг розовых щек. Вернулся бритым, с желтинкой под глазами; вывез, кроме знаний, еще великий страх перед Европой, который впоследствии его и повалил. Тут как-то неприметно и породнился он с хозяином на почве сообщего дела и любви: молодая буржуазия умела покупать нищих, не снижая их взлета, не ущемляя их щепетильного достоинства.

В то время Скутаревский успешно заканчивал свою диссертацию; факультеты пригодились ему наконец. Тема ее, которая неотвратимо возникла у него из следствий Максвеллова закона, сталкивала в нем электрика и математика. Через изучение электромагнитных колебаний, добираясь до сущности всяких колебательных явлений, он уперся в главу, которую, как ему тогда казалось, невозможно было обойти. Дело шло о причинах свечения и электрической самозащите глубоководной фауны. Именно эту главу, над которой на протяжении лет неоднократно издевался Петрыгин, Сергей Андреич заканчивал у него на даче. Вычурная эта и дорогая коробка стояла высоко над рекой. Вечерами принято было наливаться чаем до одури и безуступчиво спорить обо всем, что, естественно, по-разному отражалось в сознании теоретика и практика.

Тогдашние их распри протекали бурно и весело; всякая отвлеченная формула, которую Скутаревский обозначал просто интегралом, представлялась завтрашнему шурину его либо качеством металлического бруса, либо атмосферным расширением в котлах, либо кинематикой движущихся шестерен. Сразившись в одной области, они хватались за другое оружие, и молодость, слепой и дерзкий поводырь, таскала их с одного обрыва на другой. Случалось, речь заходила о социальной борьбе, и тогда, потешаясь над эсдековским уклоном будущего зятя, Петр Евграфович указывал с видом превосходства, что только практическая наука и техника способны менять лицо жизни, что все дело в совершенстве машин, а не в классовой борьбе, что изобретение ткацкого станка, например, дало человечеству больше, чем любая социалистическая программа; он уже и тогда высоко ценил свое инженерское звание. Гость кусал губы и сопел. Трещинка на дружбе была еще тоненькая, как на той аляповатой сахарнице, что бессменно торчала на столе. Порою, желая блага приятелю и действуя на дрянное чувство, Петр Евграфович распахивался перед ним во всем своем житейском блеске; Сергей Андреич видел кроме дачи — выезд, весьма сараистую квартиру, саженного Гюбер-Робера в позолоченной раме, самовар с затейливыми ручками из благородной кости, всяких обстановочных посетителей в котелках, но злая щелочь нищеты ни в малой степени не разъедала его фанатического упрямства. Молодой ученый вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, даже без лишней пары штанов: буржуазия еще не видела, за что ей следует платить этому угрюмому босяку.

Тем же летом к Петрыгину приехала сестра, курсистка Аня. Она была чернявая, вроде жужелицы; некоторое неблагополучие с ушами она искусно драпировала блестящими, точно лакированными волосами. Стояла затянувшаяся весна; легкий зной перемежался с дождичками; ежевечерне влажная дымка стлалась над полями внизу. Все цвело — кусты, лужи, дворник Ефим, небеса, жирная остролистая, как бы нафабренная трава вокруг крокетной площадки, деревья цвели, птицы... казалось, еще ночь — и зацветут вовсе неодушевленные предметы. А едва по небу глубокие, с грустинкой, проступали ночные взмывы облаков, начинался звонкий, как бы с арфы, ветерок,— Скутаревский балдел от такого изобилия красот... В такую-то ночь Аня пришла к нему в беседку.

Она считала себя передовой девушкой, мораль она сводила к чисто физиологической гигиене. Она сказала, что молодость

длится до поры, пока не чувствуешь бремени материи, из которой сделан; Скутаревский удивился, про это он нигде не читал, ему понравилось. Она запутанно выразилась, что мещанство — непременное качество каждого индивида на одной из Гераклитовых ступеней; Скутаревский смолчал, потому что, кроме электронов, он не интересовался ничем, и все греки представлялись ему одинакими гипсовыми лицами. Она спросила, нравится ли она ему; он признался сконфуженно, что в общем она довольно благоприятно действует ему на сетчатую оболочку... В полночь началась гроза; беседка не протекала только в одном месте, над кушеткой, где спал молодой человек. Аня задержалась. Она ушла на рассвете, босая... прыгая через лужи. Сергей Андреич стоял на пороге, смотрел, как мелькают ее твердые желтые пятки, и смятенно теребил какие-то цветы, высокие и мерзкие, точно сделанные из ломтиков семги. В кустах шумели дрозды... И ему очень хотелось догнать Аню и извиниться; он еще не верил, что это уже навсегда. За утренним чаем все перемигивались; челядь подносила ему первому. Тетка, которой Сергей Андреич и раньше желал тихого конца, посреди бела дня завела аристон. Петрыгинская собака до непотребства семейственно лизала ему руки; он отдергивал их, она рычала. Сергей Андреич со страхом ждал, что сейчас ему вынесут пахучий, в копну размером, фиолетовый букет. Но он мирился и с этим, он уважал любовь. Через две недели диссертация внезапно потребовала лабораторной проверки. Он уезжал не один. В коляске у Скутаревских, между колен, сидела та самая собака, подарок зятю. Сам хозяин в чесучовом пиджаке стоял у калитки, махал рукой и посмеивался. Веселое его настроенье разделяли и присутствовавшие при последнем поношенье — садовник, кучер, помянутая тетка, мальчишка с мокрыми вывороченными губами и еще какой-то разносчик с ягодами, похожий на Григория Богослова.

Когда коляска тронулась —

— Эй, эй! — закричал Петрыгин. — А отчего все-таки рыбы-то светятся? — и дошел до того, что даже погрозил пальцем.

Молодая жена сразу прибрала к рукам нищее достоянье мужа; курсы она, разумеется, бросила. Ей удалось очень скоро приспособить молодого ученого к делу, и верно, положение семьи заметно улучшилось. Целый день супруг что-то изобретал, писал популярные учебники, а жена незамедлительно пристраивала к жизни; большинство его изобретений разбиралось нарасхват мелкими отечественными фабрикантиками. Так, ка-

питулируя понемножку, обменивая на рубли свой яростный талант и научную прозорливость, он жил в чаду подозрительных хлопот и совершенно чуждых ему волнений. Марксистский свой кружок он оставил по недостатку времени; так орех, пуская росток в лесной подзол, разламывает стеснительную скорлупу. Петрыгин со стороны направлял практическую деятельность сестры. Он уже оплывал, все глубже уходя в тестеву коммерцию; оптимизм его рос по мере увеличения числа акций в предприятии тестя. Тем временем привычный всем Скутаревский кончался, из него вылупливался другой, и этот новый страстно ненавидел прежнего. Через два года, очнувшись от душевного беспамятства, он застал себя в приличной квартире, украшенной помянутыми бюстами; это было и недорого и благородно. В минуту его протрезвления посреди комнаты стояла ванночка, и в ней, разбрызгивая мутную воду, барахтался большеухий младенец — «оправдательный документ любви», как посмел пошутить при этом Петрыгин, и ошеломленный Скутаревский даже не обиделся. Целый час он ходил и все разглядывал бюсты, щупая у них зачем-то холодные, меловые носы, а потом глядел на свои пальцы. Из соседней комнаты доносилось довольное урчанье мальчика и плеск воды. Это было очень торжественное слово, оно произносилось впервые: сын. Украдкой и по рассеянности набекрень он надел шляпу и вышел. Он шел по улице, и мальчишки смеялись над ним. Он зашел в трактир и впервые в жизни, под оркестрион и в одиночку, напился как извозчик. Он придавал случившемуся огромное значение. Раньше ему казалось, что всякий человек самим своим существованьем оправдывает существование отца; теперь он узнал, что сам отец должен оправдать свое существованье перед сыном. Скутаревский круто повернул свой быт, сказалась наследственная в его характере жесткость; он вернулся к своим диэлектрикам, на которых специализировался. Предельно опростясь, он несколько лет провел над работой, и все его впечатленья не выходили из тесного круга лаборатории. Однажды его выселяли за просрочку квартирной платы; в другой раз его чуть не убило при испытании высоковольтного трансформатора. Семья кормилась на копейки, а Сеник уже подрастал; мальчику хотелось игрушек, мальчик заболел, и не было дров,— тайно от мужа жена топила печурку толстыми ежегодниками разных ученых обществ, которые старательно на книжных развалах подбирал муж. Жилье их походило на бивуак; посреди единственной комнаты стояла сооруженная

из дров и досок тахта; из нее росли зеленые скрученные пружины и жесткий жалящий волос. Сбоку, на сковороде, горела и смрадила колбаса, вверху на веревке сушилось бельецо Сеника, а в окно заглядывала висячая вывеска зубного врача, умершего год назад. Требовался величайший такт жены, чтобы отклонить снисходительную помощь брата. Анна Евграфовна даже не имела времени обратиться к мужу за позволением. Часто, возвращаясь с работы, бессонный и ошалелый, он бывал в особенности нелюдим; в труде он был до маниакальности одержимый человек,— ввинчиваясь в жизнь, он уставал до обморочных состояний и, может быть, имел право на свою грубость.

И тут крупная фирма купила право реализации большой работы Скутаревского по теории пробоя изоляторов. Начало века совпало с порою могущественного разворота электротехники. Человек с бешеной быстротой копил свои знанья; он нападал на стихии в открытую, разбивая их поодиночке, и природа не пищала, выдавая свои тайны. Ему уже понравилось летать, но он еще хотел разговаривать через пространства, разглядеть невидимое и взвесить невесомое. Кривая количества механической силы на одного человека двинулась вверх почти по вертикали. Промышленность бурно электрифицировалась; речь заходила уже о высоких напряжениях, о больших расстояниях, о выработке тока в мощных единицах. Открывались новые области, рушились привычные понятья о выгодности, силе и существе энергии... самая экономика меняла свое лицо. А на горизонте, еще неуклюжие, начинали тлеть первые катодные лампы. Именно область Скутаревского таила в себе буквально блистательные возможности; его успехи могли бы обогатить щедрого покровителя; он шел и сам расставлял вехи, по которым робко и с запозданием двигалась отечественная наука. Комета стремглав поднималась к зениту, и уже из Сименсштадта разглядели ее жестокий взлохмаченный профиль. Две, на протяжении полутора лет, работы о перенапряжениях и защите от токов короткого замыкания доставили ученому имя. И тогда-то пришлась кстати гибкая антреприза жены. Муж как бы выстругивал одну из самых грозных колонн, на которых покоился космос, жена продавала на сторону драгоценные и бесчисленные стружки. Первое время, наголодавшись и еще не веря в удачу, она дешевила; позже она образумилась, и тогда началось э т о.

— Знаешь, о нем говорят все,— доверительно признавалась она брату. — Знаешь, он совсем бесноватый. Что это... талант?

— Кусай, кусай свое счастье... — сконфуженно поучал брат и сравнивал успех с выменем коровы, которое, если не выдоить, совсем перестанет давать молоко.

Деньги ворвались в квартиру Скутаревских в виде мебели, картин, нарядной одежды; деньги были из бронзы, кости, мрамора и хрусталя; деньги становились бедствием, которое следовало преодолевать. Их приносили скромные, вежливые люди; они кланялись, они произносили приятные вещи, они интересовались здоровьем мальчугана, они готовы были здороваться за руку с прислугой. О Скутаревском стали писать в большой технической печати. К нему приезжали с визитами именитые иностранные коллеги. Он консультировал почти в десятке предприятий. Он устанавливал стандарты в международной электротехнической комиссии. Его сманивали в Америку, прельщая судьбой знаменитых беглых соотечественников. Ходили слухи о его кандидатуре на Нобелевскую премию. Он заседал в военно-промышленных комитетах. Его имя ставилось в ряду Яблочкова, Габера, Маркони и Лангмюра. Его знали министры, боялись студенты и уважали дворники. Громкое имя его учителя, русского профессора-тяжеловоза, тускнело и коробилось, как имя Дэви рядом с Фарадеем... Лихая эта метелица успеха длилась до самой революции; она слепила и мешала работе, которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путем к самоутверждению.

Самому ему не удавалось насладиться вдосталь ни славой, ни тем звонким сырьем, из которого она делается. Правда, никто не видал его больше в обтертом пиджаке; правда, он сменил галерку, к которой привык со студенческих лет, на четвертый ряд партера; он купил себе фагот; он стал чаще ходить на концерты громкой и трагической музыки, которую любил. К остальному он не имел ни вкуса, ни причуд; стремглавый человек, который, по утверждению остряков, логарифмы Гаусса способен был читать как увлекательный роман. Он не считался с недругами, которых вдоволь наплодила зависть, как не считался с соседями, упражняясь на своем ужасном драндулете. Однажды, наигравшись этак досыта, он очнулся и снова огляделся вокруг себя. Квартира его была огромна и походила на музей. На столе лежал ворох писем с советскими и иностранными штемпелями; они пришли кружным путем: Советскую

страну уже заперли блокадой. Вдруг он открыл, что знаменит, но это не пощекотало его тщеславия, как когда-то получение кафедры.

Он выбрал одно, с фронта, от сына; оно доползло по оказии: оттуда не получали писем. Густились душные летние сумерки. Электричество не горело, и Петрыгин язвил в эту пору, что единственное освещение в улицах было от автомобилей Чека... Как был — в сюртуке, потому что собирался вечером заехать на именины ко вдове старого учителя, обидчивой и сварливой старухе,— Скутаревский вышел в более светлую гостиную прочесть письмо. Еще мальчишескими словами Арсений писал о разном — о товарище по приключениям Николае Черимове, о каком-то смертельном перелеске, где он перележал бой, о неизвестном Скутаревскому Гарасе, а меньше всего о себе, потому что сказать о себе было ему нечего. Между строк он как будто даже благодарил отца за то, что тот настоял на его отъезде в те места, где решалась судьба революции и, следовательно, мира. Вместе с тем ему доставляло как будто удовольствие баловаться гремучими большевистскими идеями; его детский еще ум обольщали молниеносные карьеры командармов, и ему понравилась бы любая война: ее пот, ее кровавая вонь дурманили его незрелое воображенье... Прочтя, Сергей Андреич неосторожно прислонился к тонконогой этажерке, и, так случилось, какая-то бесценная статуэтка зазвенела осколками у него в ногах; в сумерках невозможно было догадаться, чем была раньше эта звенящая дрянь. Вещь стояла на самом видном месте, и, смешное обстоятельство, жена так и не вспомнила о ней больше никогда. Он воровски рассовал по карманам острые куски и, разогнувшись, почувствовал, что голоден. Ступая на цыпочках, открыл дверцу буфета; там в закоптелом алюминиевом котелке кисла на донышке пшенная каша. Он понял, что, несмотря на знаменитость, ему нечего есть. И почему-то именно это сообщило ему веселое и ясное настроенье.

По дороге в гости он заехал в институт; тощая, колдовского вида сторожиха принесла ему чай и пирожок из неизвестного вещества. Скутаревский съел его с изумлением. И уже он собирался наконец к обидчивой имениннице, когда ему позвонили из Кремля. Говорил секретарь человека, с именем которого были связаны светлейшие надежды одной и животный страх другой, гораздо меньшей части человечества. Вождь просил профессора заехать к нему по делу; он обещал не задержать разговором. За Скутаревским прислали машину,

и через несколько минут ужасной какой-то неловкости — по коридорам, запутанным, как мозговые извилины, его ввели в большую нежилую комнату; еще следов разбитого режима не успели соскоблить со стен. Скутаревский увидел человека, каким его знал весь мир, очень простого и еще тем удивительного, что самые сложные технические замыслы или громоздкие философские обобщения звучали совершенно понятно для каждого в его речи. Он не удивился сюртуку Скутаревского, но улыбнулся, и Сергей Андреич все ждал, что посреди беседы он снимет с себя пиджак и повесит на спинку стула; в равных обстоятельствах так поступил бы он сам. Духота еще не спадала; обгорелое московское небо шелушилось сохлыми скоробленными облачками. Скутаревский понял улыбку собеседника и неожиданно для себя закурил папиросу из стоявших на столе. Свидание происходило в присутствии другого, невысокого и коренастого человека, которого впоследствии Скутаревский встречал почти на всех правительственных фотографиях. Ленин интересовался работами ученого; он проявил достаточную осведомленность в мировой постановке вопроса; по-видимому, он знал все наперед и искал лишь подтверждений.

— Вы работаете над передачей мощных напряжений?

— Я ищу,— сказал Скутаревский.

— Слушайте... дайте нам эту силу. Ваша помощь позволит нам вдвое ускорить процесс! — Ленин имел в виду электрификацию, план которой только еще возникал.

Он привел на память письмо Энгельса к Бернштейну от 83-го года по поводу опытов Марселя Депре, впервые передавшего по проводу десять киловатт на пятьдесят километров. Энгельсу казалось тогда огромным ничтожное количество транспортированной энергии; он полагал, что это в корне изменит взаимоотношения города и деревни, и не преувеличивал значения этого открытия. Скутаревский кашлянул; первая в жизни папироса терзала ему горло. Вдобавок Энгельса он знал только понаслышке, Бернштейна знал другого, того зубного врача, вывеска которого заглядывала когда-то в сырую его пещеру. Ленин ждал ответа; его быстрый взгляд, как бы ионизирующий пространство перед собою, остановился на сухих мускулистых пальцах Скутаревского, щупавших карман с осколками разбитой статуэтки. Скутаревский задвигался и покраснел; его ответ выражал лишь меру его смущения...

— Пока мне нечего давать. Я только ищу, и я не шарлатан...

— Ваш отец, мне передавали, был портной? — непонятно спросил тот, третий.

— Он был скорняк, — шумно вздохнул Скутаревский. Наступила пауза; человек в военной форме принес пачку перепечатанных на машинке бумаг, но, прежде чем взяться за них, Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда не пускали. И пока он бегло просматривал их, черкая или делая отметки на полях толстым синим карандашом, Скутаревский огляделся. Большая, во всю стену, висела десятиверстка бывшей империи. Карта была старая, на добротном миткале, годная хоть столетия провисеть в прежнем российском департаменте. Но вот ее беспощадными карандашами расчертили на фронты, округа, энергетические бассейны, прокололи в тысячах тех самых точек, где и в действительности прикоснулись к телу России небрежные, подкованные сапоги интервентов или свирепые плуги революции.

...перпендикулярно к длинному, для небольших заседаний, столу находился другой, поменьше, и понравился придирчивому Скутаревскому чрезвычайный на нем порядок. Только теперь он заметил: в углу стола стоял стакан чая — в нем еще не растаял сахар, и лежал белый, уже забытой формы хлебец с сыром. Редкостное для того времени угощенье подчеркивало значительность беседы и служило одновременно как бы границей, за которой стояло — не свой. И хотя он понимал, что именно так и обстоит оно на деле, профессора обидела эта подчеркнутая любезность; она толкала его на сухую и краткую вежливость; в конце концов, его даже тешило, что случайно он оказался в сюртуке для такой знаменательной беседы.

— Вам предлагали пост в правительстве июньской буржуазии?

— Да. Я отказался.

— Это делает честь вашей политической проницательности! — тонко и — показалось Скутаревскому — хитро сказал тот, третий.

— Да нет... просто кадетов не терплю! — И если бы проанализировал себя теперь, то среди причин отыскал бы непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы. — Миру, полагаю, сегодня клистирами не поможешь.

Это была кульминационная точка разговора.

— Значит, вы разделяете и средства, которыми мы боремся?

— Да, но... — Они слились в один звук, в новое понятие, эти две противоречивые частицы. — У меня имеются кое-какие сомнения...

— Вот видите,— весь подаваясь вперед, засмеялся вождь, и чуть скрипнуло под ним камышовое сиденье стула. — Если бы вы были свой, наш, у вас не было бы никаких сомнений!

И вдруг, минуя все переходы, он спросил Скутаревского, в чем испытывает тот нужду для скорейшего и успешного завершения работы. Он задал вопрос и, точно предвидя декларации гостя, откинулся поудобнее на спинку стула, засунув большой палец за плечевой вырез жилетки. Лампочка телефона несколько раз вспыхивала на столе, и только в первый раз Ленин посмотрел на нее чуть вопросительно и не взялся за трубку. Профессор начал спокойно, сообщением той великой технической идеи, которая оправдала бы и еще большую резкость. Он расходился по мере того, как вспоминал обиды, нанесенные науке; кожаное кресло, где он сидел, раскаляло его, как печь; сюртук душил этого требовательного ремесленника. Его речь смахивала на декларацию, которая местами переходила в браваду... Лаборатория при техническом училище, где приютился он с учениками, стала ему тесна. Дорогие опытные трансформаторы стоят прямо на открытом воздухе, не защищенные даже навесом. Городская станция не отпускает потребного количества тока и зачастую выключает без предупреждения. Нет ни литературы, ни самых насущных измерительных приборов. «Мы принуждены мастерить свои аппараты на деревянных гвоздях...» Сотрудники голодают, и еще недавно один из лучших его учеников был арестован за мешочничество. Наука дичает, становится на четвереньки, и, конечно, со временем потребуются новые Франклины и Вольта, чтоб сдвинуть с места застрявшую колымагу... Ленин слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно пробовал крепость его отточенного синего жала. А Скутаревский распалялся, чуть не опрокинул чая, бубнил, гремел, забывая год, сквозь который проходила страна.

Двое по ту сторону стола не прервали его ни полусловом; оба знали приблизительный спектр тогдашних настроений интеллигенции; воззрения даже лучшей ее части можно было бы выразить формулой: благословляю тебя, громила, ибо громишь дом, не милый мне... И тогда-то все обернулось по-иному. Ленин предложил построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его

немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета. Неожиданная щедрость потрясла ученого; взволнованный, он встал и снова сел. Потом он поднялся уходить, и, странно, уходить ему отсюда не хотелось.

— ...кажется, я вам тут сукно прожег на столе,— заметил он, неодобрительно глядя на сгоревший окурок.

— Ничего,— засмеялся Ленин и прибавил, когда Скутаревский был уже на пороге: — У нас сейчас плохо с одеждой, но мы приложим все возможные усилия достать вам костюм полегче.

В суматохе чувств Скутаревский так и не понял шутки.

Неписаный их договор исполнялся до щепетильности точно: через три дня молодой военный человек доставил Скутаревскому костюм, но он был какой-то непозволительно клетчатый для ученого и не по росту короток; впоследствии его отдали носить вернувшемуся Сенику, который сразу принял в нем какой-то стрекулистский оттенок. Потом, после двухмесячной беготни, бессонных ночей и бесконечных заседаний, сразу наступила толчея подстегнутой стройки. Скутаревский жил на стройке и, по преувеличенным рассказам, так и спал в сапогах. Безотличный от прорабов, он следил сам даже за кладкой. У него выросла тропическая, густого кирпичного отлива борода. И одно только ему давалось в меньшем совершенстве — искусство ажурного русского загиба... Когда иссякали материалы или бастовали оголодавшие строители, он звонил по телефону, номер которого благоговейно запомнил на всю жизнь. Работа была засекречена, а вместе с нею и сам Скутаревский; за границей думали, что он умер. И правда, эпоха взметнула иные имена — организаторов, полководцев, трибунов. Слава Сергея Андреича звучала надтреснуто, и главная выгода этого заключалась в возможности работать в полном уединении. Химера воплощалась в широкую квадратную башню, почти копию амперовской лаборатории в Женевильé, но с теми улучшениями, которые подсказал сименсштадтский опыт. Все оборудование шло из-за границы. Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы — тогда еще совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели еще и немцы. В плюгавые окрестные флигельки, очищенные от всякого кладбищенского населения — неподалеку находилось староверческое

кладбище, — вселили сотрудников будущего института, и в голове Скутаревского уже роились планы о создании целого научного городка на этом могильном месте.

В этот год он жил грубо, всемерно уплотняя свой день. К нему перестали ходить, даже Штруф не просачивался дальше кухни; Сергей Андреич виделся только с сотрудниками, но ни Ханшин, ни Геродов не могли бы похвастаться близостью с ним. Несколько ближе, да и то лишь впоследствии, он сошелся с Черимовым. У молодого и старого не замечалось ни в чем особых расхождений, но примечательно, что и при свиданиях с Петрыгиным, очень редких правда, дело обходилось без больших столкновений. Вряд ли то была взаимная деликатность, или боязнь Скутаревского, о котором кто-то пустил злостные слухи, или, наконец, уважение к старой дружбе. Она исчерпалась сама собою, потому что, как это всегда бывает, приятели узнали друг друга до ненависти четко.

Случилась, однако, полудетская на даче, за ужином, схватка, не стоившая упоминанья, если бы ею не был нанесен последний незаживляемый шрам их прежней близости. Вечер был тихий, прозрачный, как бы на паутинке нарисованный. В открытую дверь доносилось яростное щелканье бильярдных шаров. Дело началось со скуки, хоть и винишко торчало на столе, а от анекдотцев желчная отрыжка оставалась на губах; дело началось с разногласий в суждениях по поводу второго закона термодинамики. По существу, каждому было наплевать, — кончится или не кончится через мириады лет бессмысленное звездное круженье, и нужно было застарелое раздражение одного и другого, чтобы бывшие приятели наделили простую математическую фикцию, интеграл особого вида, такой живою образной плотью. Сергей Андреич отстаивал формулу Милликена о космосе, извечно обновляющемся изнутри себя; за Милликеном стояли монументально и Гераклит и Джордано Бруно. Точку зрения Петрыгина, который держался пессимистической доктрины Клаузиуса, он считал вредной и даже нигилистической. Он не желал верить в тепловую смерть этой великолепной машины не только потому, что там, на пороге конца, маячили безумные призраки покоя и, следовательно, начала и, следовательно, кого-то Третьего, стоявшего вне суммы элементов мира; он не собирался опровергать ортодоксального богословия, он только верил в сокрытую от него изворотливость протона, во всяческую молодость, в тот лучистый могучий вихрь, который представляет из себя вселенная.

Петрыгин глядел тускло и грустно: пессимизм его увеличивался и рос по мере увеличения сахара в моче — и все-таки посмеивался.

— Ох, уж эти мне диалектики! — примирительно вскричал он, перегибаясь через стол и подливая Скутаревскому красного винца. — Они воюют против перпетуум-мобиле здесь, на земле, чтоб охотно и полностью приписать его вселенной. Сергей Андреич, брось, стыдись... ты же русский человек, куда тебе в марксисты!

Жены их не принимали участия в споре; одна думала в эту минуту, что Петрыгин состарился вдвое быстрее своего приятеля, другая о том, сумеет ли достать хорошие обои для предстоящей переклейки квартиры. Но обе поняли, что имена и идеи — только первые попавшиеся ножи, которые пришлись по руке этим двоим, из одного поколения, по-разному, но уже смертельно раненным людям.

Петр Евграфович имел право посмеиваться; он сидел тогда на видном месте, откуда разбегались нити управления по целому сектору электрификации. Высокое, хоть и незаметное положение доставляло ему тем в большей степени душевный покой. В свое время он уходил по забастовке из профессорской карьеры, но его вдруг вызвали, упрашивали принять новую должность, и он успел согласиться в ту самую секунду, когда уговаривающие уже собрались махнуть на него рукой. Из своего кожаного, почти госплановского кресла он с любопытством взирал на зловещую высоту, где пока еще уверенно балансировал его зять. И теперь, встретясь в бане, он с великим биологическим интересом наблюдал этого голого человека, жилистого и подвижного, будто весь начинен был пружинками.

Тот продолжал стоять, точно зазорно ему было сидеть рядом с шурином своим.

— Вот ездили принимать Арсеньеву станцию. Кстати, кто пропускал проект?

— Как и все ему подобные, проект проходил через мои руки, через Энерготорф. А что... — И раздумчиво глядел в угол, где эшафотно, в постоянных сумерках, возвышался полок.

— Я опротестую эту станцию,— резко бросил Скутаревский. — Я ее к чертовой матери опротестую...

Петрыгин лениво шевельнулся; он вовсе не отказывался от беседы, потому что не отпотел еще положенного срока, но требовал соблюдения хотя бы тех внешних приличий, к каким обязывало их общественное положение. Угроза Скутаревского

рассмешила его; станция уже пошла в эксплуатацию, пускай — в силу затраченного капитала, а Сергей Андреич слишком отошел от строительной практики дня, которую сурово корректировала вздыбленная советская экономика. В тот период вся технология материала и людей подвергалась пересмотру, и при этом, например, неожиданно обнаружилось, что человек всегда может больше, чем ему приказывают. И он улыбнулся с той великодушной ласковостью, с которой сильнейший из двух прощает другу его непредумышленную дерзость.

— Ты повышаешь голос... и даже вид у тебя стал какой-то полотерский. Это значит, родной мой, тебе надо в отпуск. Нельзя до такой степени пренебрегать своим здоровьем. И потом, знаешь ли, глухого песней, а большевиков работой не удивишь!

Он замолчал, прислушиваясь к гулкой банной тишине. Где-то за полком капля за каплей заунывно и звучно падала охлажденная вода. И опять Петр Евграфович посмеивался, потому что нет ничего глупее ссоры двух пьяных или голых людей.

ГЛАВА 6

Он знал твердо, что Скутаревский когда-нибудь упадет, и самая высота определит силу падения. По-видимому, из лучших родственных побуждений он решился заблаговременно спасать племянника от последствий неминуемой катастрофы; падая, Скутаревский мог увлечь всех стоящих поблизости. Крепкая и вряд ли только родственная связь между дядей и племянником стала очевидна Сергею Андреичу на примере сибирской электростанции; Петрыгин с его многолетним опытом не мог не видеть чудовищных промахов Арсеньевой работы. Когда на обратном пути Скутаревского постигли некоторые грустные догадки, он решил поближе сойтись с сыном, чтобы разглядеть и оценить его по справедливости. В семье Арсений Сергеевич жил особняком; отец не любил к кому-либо навязываться на дружбу, тем более к сыну; Арсений также не страдал откровенностью, мать же попросту не смела расспрашивать любимца. Отец и сын, живя в одной квартире, встречались не чаще раза в неделю. Их краткие беседы всегда отличались шутливой любезностью; Сергей Андреич никогда не вдумывался в смысл подчеркнутой осторожности молодого Ску-

таревского. И когда недобрые слухи доходили до отца, ему, по его загруженности работой, выгоднее было считать их просто сплетнями.

Сергей Андреич жил трудно. Втайне он стыдился своей славы. Ему хотелось сделать много, а выходило мало. Его работы были ничтожны в сравнении с задуманным, потому что — так ему казалось — всякий исписанный лист — только испорченный лист. В жизнь он ворвался, как грабитель, жадный и неуступчивый, хватаясь за все, и только много позже растерялся от представившегося ему изобилия. Тогда он решил, что растерянностью этой и сигнализирует о себе приближающаяся старость. Вместе с тем он знал, что недоступное его косноязычным формулам осуществимо уже потому, что об этом мечталось именно ему, Скутаревскому. Так, эгоистически выделяя себя из непрерывного человеческого потока и живя как бы воспоминаньями будущего, он завидовал своему не очень отдаленному потомку, который без усилий достигнет всего, над чем бесплодно корпел он сам. В такие-то часы и гнусавил на все четыре этажа его фагот; тогда-то, после долгого промежутка, он и вспоминал о сыне.

Как часто, возвращаясь с работы, он заходил в детскую комнату и шикал при этом на огромные свои башмаки: безмерно важное существо покоилось в крохотной белой кроватке. Подолгу, до головокружения, стоя в темноте, он слушал ровное дыхание спящего ребенка. Это был сын — громадное слово, налагающее больше ответственности, чем друг, сильнейшее, чем единомышленник,— он и понесет в будущее, как эстафету, дерзейшие замыслы отца. Со временем новизна впечатления сгладилась, волнение улеглось, и, думая о сыне, Скутаревский уже не испытывал страха перед лотерейной неизвестностью судьбы. Мальчик часто болел, его капризами держался распорядок дома, и когда Сергей Андреич увидел его однажды при дневном свете, ребенок сидел на полу, утомленно поглаживая рдеющие свои уши. Они были петрыгинские, велики и мягки; это стало первым знанием ребенка о самом себе, и еще в детстве, когда этот неуместный росчерк природы приписывали его повышенной музыкальности, он всякий раз ревниво и настойчиво искал уши у приласкавшего его гостя. Музыкантом он не стал, Петрыгины не обладали слухом, а уши остались. Всем обликом своим он напоминал дядю, но когда тот начал уже стареть. От отца к нему перешла лишь молниеносная его вспыльчивость, но без отцовского обаяния, достигнутого годами

нужды и работы. На службе он считался передовым инженером; его быстрой карьере способствовало зычное имя его отца. Разумеется, не такого отпрыска ждал себе Скутаревский, и, когда высшая ставка была бита, прежняя надежда выродилась у него в равнодушное любопытство. Ему приходило в голову и раньше, что человек имеет право не походить на ту стандартную модель, которую придумал для него тупой и честный доброжелатель.

Выходя в тот день из института, он смутно помнил, как утром, давая распоряжения по хозяйству, жена обмолвилась о предстоящей вечеринке у сына. Сергею Андреичу показалась занятной мысль прийти незваным и поразвлечься у молодежи. После поломки драндулета никаких иных развлечений ему не оставалось: спектакли и концерты начинались слишком рано. Пирушку сына он представлял себе приблизительно такой же, какие бывали в давние годы студенчества: соберутся, выпьют кислятинки, пошумят про народ и Волгу и разойдутся в умилении о себе и о дивном будущем родины своей. Самая возможность окунуться с головой в собственную юность развеселила его... По дороге домой он купил какой-то рыбы в панцирной кожуре и несколько бутылок знакомого с юности винца. При этом даже кольнула досада, что не захватил с собой Черимова, который давно уже собирался навестить товарища. Поднимаясь к себе в этаж, он из хитрости несколько изменил походку и посдвинул шляпу набекрень, чтоб чересчур трезвым видом не спугивать приподнятого настроения пирушки.

Дверь ему открыла сама Анна Евграфовна; она испугалась его вида и того надтреснутого баса, которым он спросил, тут ли принимают гостей. Она намекнула, что у Арсенья собралась исключительно молодежь, но муж только подмигнул ей, как бы говоря, что он сам не водится со стариками... Кто-то читал нараспев стихи. Вешая свое пальто поверх вороха разной одежды, Сергей Андреич прислушался — он недолюбливал поэтического племени, в старое время ему доводилось изредка полистать их книжки, и всегда его изумляло, как у них хватает совести воспевать эту громадную российскую пустыню, посреди которой кощунственно лежит разбитое мужицкое колесо, безмерность солончаков, куликов на топях, незадачливую импотентную любовь, ядовитый пепел несовершенных желаний и, наконец, это нищенское уныние северной весны; из книг, далеких от его науки, Сергей Андреич перечитывал только Рабле. С некоторым огорчением он признал по голосу того блед-

ного князца, гимназического Арсеньева товарища, который в каждое свое появленье надоедал ему, бывало, стихами. На свое счастье, Сергей Андреич услышал лишь заключительные строфы, пропетые с такой чрезвычайной интонацией, что становилось даже как-то неловко за эту чрезмерную и непрошеную откровенность:

...женщины наши гаснут,
ботинки наши изношены,
поэты расстреляны,
знамена истлели...

Стройтесь, батальоны мертвых,
играй поход, барабанщик...
Здравствуй, черное солнце
полуночной стороны!

Держа вино на вытянутых руках и плохо соображая о происходящем за дверью, он вспомнил одну прогулку с тем самым Брюхе, судьба которого таила в себе такие печальные сюрпризы. Случилось это полгода назад, на майской демонстрации; вдвоем они гуляли по городу, наблюдая бесконечные людские колонны и шепотом обмениваясь впечатлениями. Когда мимо проходил отряд физкультурниц, обтянутых пестрыми спортивными фуфайками, Брюхе защекотал усами ухо Скутаревского: «Новое племя, обратите внимание, и даже оболочки другие. Грудастые-то все какие, тетки, а совсем еще девочки. Икры-то, икры-то какие! Тут уж, батенька, без лирики, без лютни, а все просто, как в инкубаторе...» Было холодно по-майски, еще снег лежал в полях; плотные, голые икры девушек розово светились под солнцем, и этот грубоватый румянец вызывал желчное осуждение старика. Скутаревский, который еще в бытность за границей задумывался о сущности коротких юбок, тут же объяснил, что всякий молодой класс, шагающий к победе, обязан выставить именно таких — огромных и грудастых. Он обязан рожать много и бурно, его дети должны быть прожорливы и румяны, его матери — могучи и плодородны. Европейскую моду на плоскогрудых он расшифровал просто: им уже незачем... Брюхе взглянул на него, как на черта. И уж если угасали женщины и замолкали поэты — значит, были они из того Геркуланума, которого очертанья почти утонули под пеплом времени. Минуту он колебался, стоило ли ему вступить в это сомнительное торжество, но дверь распахнулась, и его высокая костистая фигура стала видна всем. Он вошел...

...он вошел, улыбаясь с особой приятностью, что ему всегда плохо удавалось; он даже пришаркивал, чтобы вышло посмеш-

нее. Его присутствие могло нагнать тоску на молодежь, но, по счастью, оказалось, что вся она достаточно зрелого возраста. В просторной комнате, прокуренной до последней пакости, качались какие-то лица, качались на тощих шеях и гудели. Чтец еще стоял в эмоциональном потрясении, пронзительно глядя на широкое блюдо, где остатки колбас и севрюг мешались с окурками. И оттого, что одна распитая бутылка бесстыдно лежала прямо на тахте, рядом с девушкой, в прическе которой замечался прискорбный беспорядок, Сергей Андреич заключил, что явился в самом разгаре вечеринки. Его встретили вопросительным молчанием, а девица громко засмеялась. Сергей Андреич узнал ее, она часто ходила к Арсению; все ее лицо было воспалено, точно обожженное солнцем, и как будто затем лишь было ее лицо, чтобы носить эти непрестанно алкающие губы. Мужчины смущенно привстали, женщины переглядывались. Сидеть остался только один,— откинувшись затылком на спинку кресла, он насмешливыми глазами взирал на смятение гостей. Ясно, он презирал эту пеструю ораву; его совсем заурядное лицо было неподвижно, и только в губах, сломанных тайной издевкой, читалась темная, недобрая путаница. Сергей Андреич дружелюбно поклонился этому рано лысеющему человеку,— так вот оно, это острое, ранящее слово: сын.

— Это мой пай,— развязно произнес Сергей Андреич, складывая покупки на свободный угол стола. Никто не откликнулся ему. — Не помешаю?

— Просим, просим... — сказали несколько голосов, и потом, после паузы, некая личность в роскошных брюках и с головою круглее глобуса пропела искусным петушиным голосом: «Просим!»

— Я прошу вас, садитесь же! — настороженно попросил Сергей Андреич и виновато ждал, пока все уселись на прежние места.

Из приличия назвав себя, он уселся было в дальнем углу комнаты, и тотчас же помянутая личность стала лить желтое вино в стоявший перед ним стакан.

— Я тамада. В переводе означает распорядитель пира! — И личность поощрительно склонилась.

— ...приятно! Профессор Скутаревский,— шутливо отвечал Сергей Андреич.

— Придется выпить,— прогремела личность, на ладони подавая стакан. — Догнать и перегнать...

— Я ведь не пью совсем,— уклонился Сергей Андреич, отставляя колени в сторону, потому что стакан покачивался и вино выплескивалось через край. — Разве уж по-студенчески?

— По-студенчески,— механически повторила личность и, когда Сергей Андреич выпил, очень мелодично, в такт последнему глотку прищелкнул языком. — Теперь вторую.

Сергей Андреич попытался решительно отвести наглую, с пузатыми ногтями руку, в которой покачивалась посудина, но личность не отступала. У нее было круглое плоское лицо, на таких особенно успешно выращиваются бакенбарды; и еще казалось, что, если надеть на него штаны, никто не поймет сначала — в чем шутка. Минутой позже Сергей Андреич вспомнил: этого самого болвана он провалил года полтора назад на выпускных испытаниях. Студент не знал... да, он не знал формулы об электрическом смещении; попутно, рассчитывая на профессорское снисхождение, он посмел упомянуть о близком знакомстве с Арсением. Насколько Скутаревскому помнилось, он провалил его с чувством исполненного долга и даже спросил на прощанье, не болен ли студент малярией: болезнь эту Скутаревский почитал почему-то лодырной. Но вот роли переменились, и —

— Прошу,— повторила личность с равнодушным лицом.

— Но мне нельзя... мне запрещено! чудак вы! — из последних сил оборонялся Скутаревский.

— Тогда с медицинской целью! — бесстрастно сказал глобус, а колено Сергея Андреича стало слегка подмокать.

Сердито пожевав губами, он выпил вторую и исподлобья огляделся. Гости обступили их кружком, глазея на такое редкостное и даже истории достойное событие. Веселье разгоралось, барышни хихикали. Сергей Андреич чувствовал себя жуком на булавке, которого все тычут пальцами. С непривычки вино ударило ему в голову, и тогда он поймал на себе пристальный любопытный взгляд сына. Обрадовавшись поводу, он кивнул Арсению как бы для установления связи, но тот не изменил выражения глаз и лишь отвел их на какую-то незначительную точку.

— Третью, профессор! — деловито провозгласил тамада, на просвет разглядывая бутылку.

— Вы портите мне брюки,— сдержанно сказал Сергей Андреич, уже помышляя о бегстве.

— А ну, под Омар Хайяма!

И тотчас же, в сопровожденье выискавшихся охотников, стал читать заунывно и нараспев что-то не очень членораздельное, но действительно искрившееся восточной, ковровой пестрядью. Там упоминались цветы, улыбки, девушки, и все эти словесные розы раскидывались с такой щедростью лишь затем, чтоб заглушить резкий сивушный запах. Сергей Андреич хмурился; становилось понятно, по какому признаку подбирал себе Арсений друзей. Все они были с какими-нибудь органическими пороками, с неблагополучием рта, носа или ушей, а лица иных и вовсе напоминали безжизненные стеариновые муляжи. Хайям все длился, а глобусный шар покачивался, флуоресцируя, поворачиваясь фазами: так, неожиданно Сергей Андреич увидел Южную Америку, висящую в виде уха. И вот он понял, что непременно промнет кулаком этот назойливый глянцевитый картон, если тот произнесет еще хотя бы слово.

Но вместо этого он засмеялся:

— А ну, читайте... быстро... закон об электрическом смещении,— строго приказал Сергей Андреич, уставляя длинный палец в растерявшегося тамаду. — Ну!.. полное смещение сквозь любую замкнутую поверхность,— подсказывал он, и злые ноздри его играли,— в направлении изнутри наружу... ну, чему равно? Я знаю, для вас электричество — это если сургуч потереть о штаны...

Личность поблекла и растерялась; Сергей Андреич переходил в наступление, и никто не спешил на помощь к избиваемому. Барышни снова смеялись, но кружок редел, потому что следующий удар Скутаревского мог прийтись по любому из них. Кто-то догадался запустить граммофон, тотчас же несколько пар, склеившись, каталептически заходили по комнате. Длинный стол с остатками закусок оказался сдвинутым к стене; комната наполнилась шарканьем ног и шипеньем разъезженного эбонита, а перед Сергеем Андреичем сидел уже он сам, Арсений Скутаревский. То ли от вина, то ли от сознания, что сейчас произойдет очень значительный разговор, он был бледен и неестествен, но насмешлив. Возможно, несмотря на всю неприязнь к отцу, он трусил этого прямого и грубоватого человека.

— Что ж, выпьем,— сказал, разойдясь, Скутаревский-старший и придвинул бутылку. — Пьешь?

— Nisi falernicum [1],— и вызывающе взмахнул бровями. —

[1] Только фалернское *(лат.)*.

Пришел посмотреть? Да, живу смешно. Чего ты все на Нинку смотришь... нравится?

— Где ты ее достал?

— Так, зацепил мимоходом. Эй, Нинка, ты отцу нравишься! — прокричал он, обернувшись, и та прищурилась с готовностью. Они по-мужски, скрытно посмеялись, отец и сын, но и это не прибавило близости. — Хочешь курить? — И протянул коробку.

— Вот ты даже не знаешь, что я не курю. Дверью в дверь живем, а как чужие.

— Чужие... Это похоже.

И умолк; так умолкают, вспомнив о покойнике. Тут оправившийся тамада наклонился к Арсению спросить о добавочном винном запасе.

— Пошел вон... и потом уйми того вертлявого купидона в углу! — внятно прошелестел Арсений.

— Откуда ты их набрал, Сеник? — все щурился отец. — Ведь это все прохвосты, у них финки в карманах!

Тот оглянулся на танцующих, и опять Сергей Андреич удивился тому ужасному равнодушию, которое светилось в глазах Арсения. Танец был прост, понятен и доступен даже при ожирении сердца; когда-то очень модный в Европе, теперь он сходил со сцены, но весть об этом еще не докатилась до Арсеньева захолустья.

— Да, ты, пожалуй, прав. Все это — подполье. Беру тех, какие есть, — и глотнул отцовского вина. — Где ты купил такую мерзость?

— ...по-моему, ничего... кисленькое.

— ...такое пьют на открытии бань! — Он налил себе другого. — Мне сказали, ты недоволен станцией?

— Я заявил себя при особом мнении. В конце концов, это порочит всю нашу корпорацию. Я уже не говорю о резервах, которые бессмысленны...

— Да ты не оправдывайся, отец. Дело-то уже сделано! Ты слишком быстро усвоил официальную терминологию на эти вещи. Ты обвиняешь, не зная условий, в которых это происходило. Впрочем, у нас в случае катастрофы всегда привыкли искать виновников, а не спрашивать, п о ч е м у это произошло. Я читал твое мнение, ты заражен той же подозрительностью, но ведь ты же никогда не строил котлов...

— Мне пришлось краснеть за тебя, но пока я не обвиняю, — чужим голосом и с ударением вставил Скутаревский.

— Нет, ты обвиняешь!.. молча, по-интеллигентски. И ты забыл, где живешь. У нас да без резервов! Это в России-то, где без болотных сапог к соседу в гости не пройдешь. Дядя рассказывал, он еще доцентом купцу одному чертежи делал. Так он ему, подлецу, вчетверо закатил, вчетверо... а тот ему в благодарность Тьеполо прислал. Помнишь, которую в музей отобрали? Тяжел, но вынослив тот сапог, в котором она шагает, матушка, по своим историческим болотам. Я же на этой штуке неврастению заработал. Торфяную станцию приказали проектировать на парафинистом мазуте. Я сделал четыре проекта и до последнего момента не знал, будет ли станция разрешена. С оборудованием четыре месяца крутили — заказывать здесь или импортное. Турбину, как невесту, выбирали... и это называется плановостью? Энтузиастическая истерика, отец. Конечно, наше дело выполнять директивы... Да к чему это я? Прости, я выпил лишнее и все соскакиваю с мысли. Но почему ты так молчишь?

— Я слушаю тебя, очень интересно. Ты продолжай...

Скупо, точно пасту из тюбика, Арсений выдавил из себя кусок улыбки:

— Ты знаешь, что Брюхе арестован?

— Я ждал этого,— почему-то вырвалось у старшего Скутаревского.

— ...вот, вот. А Брюхе выдающийся металлург, в любую минуту его возьмут хоть к Круппу. Впрочем, все это неинтересно. У меня что-то в голове сломалось... кажется, в вино нынче для цвета и вязкости примешивают шеллак!.. Погоди, я вспомнил... Я рад этому разговору, дальше все яснее будет. Вот: не уважаю тебя, не хочу лгать, молчать не хочу. Я перестал тебя уважать, когда ты... не отозвался никак на расстрел Игнатия Федоровича. Трусость, ладно, это еще понятно... нет, я знаю твое рассуждение о том, что государство вправе рационально распределять запасы, так сказать, людской материи. И если опыт не удался, следует сполоснуть колбу и выплеснуть в раковину... а может быть, и просто разбить? Это ведь твои слова: нечего горевать об утрате каждой отдельной особи... я еще мальчиком слышал. Ты ведь и раньше прощал этой земле все: войны, дома терпимости, крестовые походы, мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад... И это не от безвольного великодушия, не от расслабленности интеллигентской, а потому, что для тебя это лишь электрохимические процессы... Эй, не хамить! — прикрикнул он какой-то паре, которая в увлече-

нии этакой двойной молекулой наскочила на него. — Даже не политэкономия, свирепую мораль которой мы все ощущаем на себе, а просто движение атомов по Лапласовым координатам, игра сложного химического реактива, совокупность миллиарда физических законов, электронный ветер... вот что такое для тебя мир! Помнишь, мы ехали в машине, и ты засмеялся, сказав: мы едем — это только название процесса, к которому мы сами не имеем никакого отношения! И тогда все ясно: закон Гей-Люссака — это добро или зло? Это нужно или не нужно? Ха, мораль даже не из биологии, а из физики: ты выращиваешь ее внутри твоих газотронов. Но внутренне ты чувствуешь, как это нечестно по отношению к жизни, и оттого ты слушаешь меня! Что ж, чтоб жить теперь, каждый обязан выдумать себе подходящую философийку.

— Ты зубр, Сеник, ты просто зубр. Но ты ругаешься интересно... продолжай!

— Вот и я для тебя только колба... но ведь и все они то же самое, а? А человечество в целом — соответствует ли оно твоей догме? — И снова стрельнул в отца злым смешком. — Скажи мне, оплот советской власти, где тот человек, для которого все это делается?

— Что ж, Арсений, не цитатами мне с тобой разговаривать. Но давай вернемся к земле! Почему же, если ты самолично наблюдал всю эту вьюгу дурачества, вот с парафинистым-то мазутом... почему ты не закричал? Ведь тебе же деньги платят...

— ...донести? Ты меня не учил этому. — И вдруг, точно обозлившись на свою оговорку, в открытую набросился на отца: — А ты сам? Вы ездите, критикуете, вожди, а сами обследуете причины свечения рыб? — Он нарочно хотел обидеть его петрыгинской фразой. — А где... где твоя высоковольтная магистраль Донбасс — Москва, о которой шумели в газетах? Где твои многоуважаемые труды по передаче без проводов? Уж если так, вожди,— пожалуйте к нам, на улицу, в наши суматошные исстеганные будни, в разрытые карьеры, в дырявые бараки наши.

Сергей Андреич молчал,— возражать было бы бессмысленно, да и нечем, к тому же пора было кончать этот затянувшийся разрыв. Никто из них не нуждался в продолжении беседы. Рассеянным взором Сергей Андреич смотрел на сына, на его узкие плечи, на возросшую бледность лба с испариной утомления и думал — неужели это и есть концовка того ненасытного

рода искателей, который он лишь собирался начать? Должно быть, какой-то захудалый предок высунулся из Арсения полюбопытствовать на новую жизнь; отец не прикасался к алкоголю, но прадед, кажется, не умел подавить в себе губительной склонности. Опыт с сыном не удался... А ему так хотелось повеселиться, пошуметь, попеть высоким дискантом, как в юности. Он встал и уже не пытался казаться веселым.

— Ну, вы кобелируйте тут, я пойду... — Он заметил неприязненную гримаску сына. — Ты извини, я груб на слово... Твой отец профессор, а мой — скорняк. Я тихонько, не прощаясь!

— А то посиди. Они сейчас перестанут танцевать. Я прикажу перестать...

— Я рано встаю, Сеник. Вот дожру только бутерброд и пойду. Я не обедал нынче... — Он жевал вяло, лососина имела привкус стоялой олифы.

Сын отошел к окну; отец искоса наблюдал, как сомнамбулически пробирался он между танцующих, наступая на ноги и бранясь. Сергей Андреич оглянулся на шорох; в кресле, рядышком совсем, сидел тот князец, который потчевал стихами друзей в начале вечеринки. В лице его, тусклом и пыльном, как герб фамилии, которую он носил, светилось тоненькое, лисье любопытство; часть разговора с Арсением он успел захватить и выслушал с удовольствием. Проходя мимо, Сергей Андреич задержал на нем свой тяжелый, незрячий глаз:

— Давно пишете?

Тот польщенно поклонился:

— Давно-с. Вам понравилось?

— Где вы теперь?

— Я?.. Переводчик в гостинице для иностранцев. — И опять, с надеждой: — Понравилось вам?

— Ага. — Скутаревский жевал лососину. — Что же не пьете? Такие стихи пишете, а не пьете. Вам запоем пить надо. У вас, наверно, и папа пил... — Тот безмолвствовал, как простреленный. — Онанизмом занимаетесь? — У поэта отвалилась челюсть, и весь он дрожал. — Непременно занимайтесь! — И пошел.

Близ рассвета его разбудили песней; она проникала даже сквозь одеяло, в которое с головой закутался Скутаревский. Тут у него проскочили две мысли: первая — что нет особого

греха в том, что сибирская станция несколько лишена облика вполне современной установки; вторая — намекнуть Черимову на душевное нездоровье его бывшего товарища, а при случае крупно поговорить и с шурином.

ГЛАВА 7

Когда при встрече, много лет спустя, они перечисляли обстоятельства их первого знакомства, оба не могли вспомнить — кто именно стоял на их левом фланге: красные или белые; одинаково могли быть и зеленые, а вероятнее всего, черная атаманская дивизия... Два разбитых, исковерканных отряда слились в один. Будущие друзья встретились за плошкой тощих солдатских щей. Молчание нечеловеческой усталости было их первой беседой. У Черимова не было ложки, у Арсения нашлась лишняя от пропавшего без вести товарища. Оба были мальчишки, их могли бы сблизить озорство юности или общее благоговейное восхищение Гарасей... Но дружба началась позже; их связали страх и чары одной безумной ночи...

Так обнюхиваются и звери на узкой лесной тропе; было, значит, что-то в лице Арсения, подсказавшее Черимову — не свой!

— Ты из Москвы? Я тоже. Твой отец кто?

— Мой? Учитель. — Голос Арсения дрогнул от непривычки лгать: было бы долго объяснять тому грубоватому самородному парню тонкое профессорское ремесло.

— О, значит, ты чистой масти. У меня дядька есть, тоже не грязной работы. Он людей моет, грязь с них обскребат... — и захохотал, точно яблоки на гулкий пол чулана просыпались из мешка. — Покурить ма?..

Отряд кочевал подобно сотням таких же, безыменных, партизанских... ими тогда всклубилось чуть ли не все население Сибири. Видно, не особо нуждался в комиссаре отряд,— комиссарил у них, избранный за великую его грамотность, Сенька Скутаревский, а командовал сухонький, земляного цвета старичок, мирный пчеловод, у которого атаман запорол старуху в поучение сельчанам, прятавшим красных от расправы. В то утро старик искал в лесу отроившихся пчел и не слыхал выстрелов атаманского набега. Придя домой, он обровнял просто руками хозяйкин холмик, который небрежно накидали атаманцы, раздарил медоносное свое богатство соседям, поклонился

селу — хатам, гумнам и скворешням его, надел кожух, рожок с порохом, взял шомпольное ружьецо и пошел с ним на охоту на атамана. Был он самый смирный человек на земле, жил простецким законом, обожал пчел, и всякое, даже о самом малом, слово его теплилось восковою свечой. И уж если вышел он добывать чужой крови, стало быть, сама земля оскорблена была в своем естестве, и начиналась народная война... Отрядишко подобрался по начальнику — всякая неграмотная голица, ветру родня; ребята звали старика ласкательно Гарасей.

Тайга окружала их, как западня, как мать, как вечность. Из поверженных, полусгнивших стволов, в разворотах, в распадинах, обок могучей папорти, выбивались новые великаньи поколенья; могила одних служила колыбелью прочим. И когда громадное вечернее солнце пламенило хвойные верхушки, тайга влекла в себя неотступно, как простая, мужественная песня... Фронт простирался необъятно, много раз пересеченный болотами, и по-над ними, подобно царскому орлу, у которого срубили одну лишь голову, кружил помянутый атаман со своей отборной, косоглазой дружиной. Порой, оголодав, сникал он к земле, и тогда впереди неслись — вспугнутое зверье да острей сабель бабьи вопли, а позади стлалось легкое бездымное зарево,— мужицкие деревни кудревато горят, чистоплотно, заливисто... Все не удавалась Гарасина охота: отряд, через посредство Черимова, иные получал оперативные заданья, да и шибко летали сытые атаманские кони. Но, чуть отдых, Гарася выходил на опушку и прилежно обнюхивал воздух на четыре стороны света: то ли уж обезумел, то ли по запаху надеялся отыскать законную свою добычу — «...а пахнет он сладким заграничным табачком и чуток вроде как резинковой пригарью!» — проникновенно поучал Гарася, и ребята слушали тревожно, как шорох, как одинокий выстрел, как всплеск рыбы на вечерней реке. Воистину роскошный существовал в Гарасином воображении атаман: крыльями, как у орленка, топорщились эполеты, и малиновый ментик за плечами цвета алой, пролитой им неповинной крови. Много лет спустя, со скуки листая журналишко семнадцатого года, Черимов наткнулся на его портрет и долго не мог перевернуть страницу; порубленный атаман еще жил; его раздвоенный подбородок вздрагивал от близости горячего черимовского мяса; его агатовые под чернобурой бровью глаза еще улыбались и двигались на выцветающей бумаге.

...Однажды повезло: отряд наткнулся на легкую атаманскую полубатарею. Видимо, одурев от удачи, ринулся Гарася с отрядом в тыл батареи; он был мужик, ходил по прямой своего сердца, и ни Черимов, ни кто другой не успел удержать его от неминуемого. Батарея обернулась принять негаданных гостей на картечь. Кто-то крикнул, и тотчас же в ослепительном грохоте дрогнула сама планета. В этот двенадцатиградусный угол пулевого разлета попало все храброе Гарасино воинство; искрошенное, оно осталось висеть на проволоке, как бы поклоняясь величию непобедимого. Следующие залпы были излишни, но ворон боится живых глаз и охотно клюет мертвые... Ночью Черимов со Скутаревским выкрали Гарасю из-под убитых. Когда взошла овальная малиновая луна, они увидели: Гарасе не повезло на поединке. Шрапнельная пуля засела в животе, лицо опалилось, и даже пороховой его рожок оторвало с ремня ударом. Он был еще в сознании и вспоминал покойницу жену:

— ...дородна была... так они ее заголя драли... — И все косился, с изумлением и ненавистью, на простреленный свой живот; он прожил еще немало часов, но то были последние его разумные слова.

Оставлять живого на звериные, по клочкам, похороны не позволила партизанская совесть. Товарищи переплели скрещенные руки и, усадив старика, бережно понесли. Старик бредил, но бредили и они; он стал тяжелее; огромные его сапоги, подкованные железом и носками вовнутрь, болтались и били их в колени. Чуть не плача, они разули его, но равновесие изменилось, и он вовсе стал падать; они, не сговариваясь, поддерживали его сомкнутыми плечами. Так началась эта странная дружба; крепкое сплетение их рук, плотное, как в клятве, длилось всю ночь, которая выпала длинней столетья. Комаром, гнусом и еще чем-то тонкостным, со щекотными усиками, облепляло их опухшие лица; нельзя было обмахнуться, не потревожив старика, и следовало идти все дальше,— еще чудился застрявший в ушах малиновый звон шпор и дробный топот копыт по дороге. Никто не знал троп, и оба не умели прочесть на деревьях старые, заплывшие засечки, отметины корейцев, добывателей женьшеня... Они шли, качаясь от одури, жажды и огня, пожиравшего изнутри, а следом волочилась луна. Они были совсем мальчишки, и когда на ночлеге Черимов стал разводить костер, чтоб отогнать гнуса, молодой Скутаревский воспротивился: в полубреду мерещилось — в световой их островок

вхлынет тьма, перепутанная с казаками, и смоет их вместе с горящим сучьем. Они спорили долго, пока не повалил их сон. Утром они не нашли возле себя Гараси,— старик ночью уполз за куст и там умер; так же, ища себе укромного места, делает всякий вольный зверь. Старик лежал на животе и, далеко откинув руки, как бы стучался в непарадную дверь земли. Новые друзья закопали его в яме, вырытой руками. Не было даже ножа перерезать толстые трубы, по которым текли смолистые соки уссурийской тайги: они просто засунули его под корни и забросали песком.

...Фронты распались, дороги назад стали свободны, на восток уже проникали советские люди и книги, и лишь у Забайкалья, где все теснее смыкал предсмертные круги атаман, их провели сокрытыми, обходными тропами. Домой они вернулись сумрачным мартовским утром, без багажа, в рваных шинелях, в серой солдатской коросте. Арсения сразу увела к себе мать; из дальней комнаты слышались всхлипыванья и усердные, точно целый батальон родственников собрался там, чмоканья.

Черимов стоял в прихожей один: он долго и безуспешно шаркал ногами о коврик, пытаясь вытереть дырявые, проволокой подвязанные подошвы. Он робел гипсов на шкафу, белых как покойники, он пугался обилия вещей, назначения которых не знал; уже он подумывал о бегстве, когда в дверях, взволнованно кашляя, показался сам Скутаревский.

— А, догадываюсь. — Он махнул пальцем. — Сеник писал мне. Он там, с матерью. Ну, входите, ушкуйник, поговорим. — В мыслях своих он не особенно верил в приключения этих мальчишек. — Ну рассказывайте, кого убивали?.. вы ведь и есть Гарася?

— Не, Гарася загнулся. А я Колька, он, наверно, и про меня писал,— вздохнул Черимов, продолжая стоять, а в глазах читалось грустное: эх, покормил бы сперва.

Об этом не раз приходилось просить в простых крестьянских хатах, куда заводила волчья партизанская судьба: там эти слова выговаривались просто, глаза в глаза и сердцем в сердце, а здесь вдруг одеревенел язык, точно стыдно было признаться в голоде перед чистым, нестреляным человеком.

— Да, итак... — делал вслух свои наблюдения Скутаревский; седой пряди на виске, душевной царапины той ночи, он не разглядел сперва. Гость находился в том юношеском возрасте, когда еще смешная, неопрятная лезет из щек борода. —

Родных у вас... тетки, например, или там золовки, конечно, нету. — Он считал, что ловко умеет разговаривать с простонародьем. — Вид у вас азиатский вполне, ха, у Гензериха, наверно, бывали такие адъютанты... имеете намерение устраиваться в Москве?

— Ось, гадюка... сапоги сочатся,— укоризненно, в одно слово, произнес Черимов, глядя на следы, уходившие под дверь.

Вопрос хозяина он расслышал, но не опровергал его заключения; он решил, что дядька умер: именно такие людские бревна единым махом сгорали в сыпняке.

— У нас, в институте,— продолжал Сергей Андреич,— найдется для вас место. Я помогу вам устроиться. Нам нужен честный расторопный рассыльный. Не запиваете?

— Вот, не подойдет,— грустно сказал Черимов, переступая с ноги на ногу.

Сергей Андреич пожал плечами, и хотя внешность собеседника не внушала подозрений, он бегло поинтересовался, нет ли у него малярии. Его поразило черимовское заявление о намерении учиться; это не вязалось с репутацией головореза, которая сложилась у него по преувеличенным отзывам сына,— Арсений романтически приукрашивал действительность.

— Да... но учиться следовало раньше, а вы там с Сеником фортеля творили. Впрочем, у него имеется, по крайней мере, средняя школа, у Сеника. А у вас и того нет... — Он не отговаривал, а только сомневался. — Трудновато будет...

— Ничего,— тихо сказал тот и страдальчески покосился на дверь, из-за которой доносился торопливый дребезг посуды.

Скутаревский рассмеялся; вот так же и Дэви собирался нанять в переплетчики пришедшего к нему Фарадея. Было ему смешно, потому что и сам таким же оборвышем пришел в жизнь, вихрастым, в ломоносовских опорках, с одною пока несбыточной мечтой — стать машинистом при настоящем шипучем паровозе. Он развеселился, и, по правде, это у него выходило честно и заразительно.

— Это хорошо, знаете, валяйте. Я вам скажу по секрету: в мире не трудно, судьбы нет, но себя... себя надо брать за холку и этак к земле, к земле! — И он энергично рванул воображаемое. — Жить вы будете у меня... Чего же вы стоите?.. Раздевайтесь, снимайте свою попону, здесь не украдут! И пойдем завтракать, я тут проголодался с вами... Ну-с!

— Не могу,— глотая слюну, молвил Черимов. — Поесть охота, а... не могу!

— Торопитесь?

— Не, на мне штанов нет,— выпалил тот и даже зажмурился; даже лицо у него стало какое-то отвлеченное. — Они были, бог душу вынь, но... мы их третьего дня на сало сменяли. Полустанок Егорово, слышали? Фельдшеру... а полустанок Егорово.

— Потрясающе! — от души тешился Скутаревский. — Но ведь без штанов нельзя. Без штанов даже на войне неприлично. Черт, даже памятники в штанах. Так, значит, фельдшеру Егорову?.. Слушайте, штаны я вам дам. Но позвольте, значит, их и у Сеньки нету? Эй, Арсений... — закричал он, лицом к двери,— ...убивец!

В кабинет, с руками, полными ножей и вилок, вбежала горничная в наколке; даже и на голодном режиме того года мадам соблюдала этикет.

— Они в ванне,— строго сообщила она.

Сергей Андреич посмотрел на грустное, давно не мытое лицо, все еще торчавшее перед ним, и комически развел руками:

— Вот видите, они уже в ванне! — И в первый раз, без особой выгоды для сына, сравнил их со стороны.

В профессорском доме, однако, Черимов прожил только неделю; от дальнейшего гостеприимства он благоразумно уклонился. Анна Евграфовна чересчур откровенно запирала от него ящики, и, кроме того, привкус чужого, хотя бы и сладкого хлеба никогда не приходился ему по нраву. Вторую неделю он прогостил у знакомого задельщика со стекольной фабрички, где когда-то и сам тянул драты. В эти раздумчивые дни, шатаясь по улицам, он составлял план своего дальнейшего наступления. Мир был огромен, рыхловат и богат; он был подходящим материалом для неспокойных его рук. К дядьке вовсе не тянуло; голод привел его на ту же фабричку, и целых полгода, по старой памяти, он выдувал какие-то головоломные флаконы для всяких пахучих специй. Восхождение его началось с рабфака, вступительная наука показалась простой, она запоминалась легко, как номера партбилета и нагана. Потом стало труднее, учебе придавалась фронтовая значимость; самый мешок не успевал вместить ссыпаемого в него зерна. Черимова спасал только спорт. Ему дали стипендию и послали учиться выше. В течение шести последующих лет он не имел никакой личной жизни; вехами в его однообразных буднях служили лишь прочитанные книги. Он читал все подряд, и даже, если

ветер нес по улице клочок печатной бумаги, его тянуло заглянуть в него. Ему удалось заслужить уважение профессоров, один оставил его у себя для продолжения научной работы. И когда однажды инженер Арсений Скутаревский получил из неизвестности брошюрку с безвестным именем Черимова, он и не подумал, что автор ее и есть Колька; он свалил это на неряшливость почты и даже не заглянул вовнутрь.

Черимов не оглядывался назад, и только внезапно получив бумагу о назначении в институт, где когда-то ему предлагали место курьера, он оценил огромность пройденного пути. На минуту мальчишеской радостью захватило ему дух и захотелось скорее показать себя в новом обструганном виде человеку, одобрение которого стало бы ему высшей похвалой. Государство еще не имело достаточного количества ученых, ему не из чего было выбирать, и сама по себе посылка на ответственную должность не могла считаться признанием высокой пригодности... На столе лежала толстая пластина зеркального стекла; все еще держа в руках путевку, он опустил глаза и там, среди недвижных отражений, увидел прежде всего жесткую, волевую складку у себя на переносье, почти шрам, который нанесла ему жизнь. Дальше, под стеклом, лежала бумажка с аккуратным расписанием дня; в три предстояло заседание; он опаздывал. Радость окончилась, он поднялся совсем иным человеком, и стало грустно, что никто в мире, кроме Арсения, не посмеет назвать его по-старому Колькой.

Черимовское назначение в заместители задержалось на целых полгода; вначале предполагалось командировать его просто для научной работы, когда же выяснилась необходимость приблизить деятельность научных учреждений к экономической практике дня, смысл посылки круто изменился. Петр Евграфович, ухитрявшийся своевременно узнавать обо всем, предупреждал Сергея Андреича через сестру о назначении комиссара и даже сопроводил это крайне нелестными характеристиками; Анна Евграфовна с перепугу что-то забыла, что-то придумала сама, и до Сергея Андреича дошла такая ахинея, что и смеяться не стоило.

Новое начальство пришло к институту пешком, в свежее январское утро, задолго до полудня; оно позвонило у ворот и спросило заместителя директора, но тот еще не приезжал. Черимов прождал час, погулял по коридорчикам, перечитал прошлогоднюю, но за чисто вымытым стеклом стенгазету, потом отправился бродить по институту, и хотя все здесь было

засекречено, никто его не остановил. Только у входа в высоковольтный зал стыкнулась с ним хлипкая, облезлого вида особь: «Вам к Скутаревскому?» — «Да, к нему»,— машинально ответил тот и прошел мимо. Где-то в углу позади черных трансформаторных цилиндров мерно и оглушительно пощелкивала энергия; эхо обманывало, и казалось, что прямо над самой головой лопаются баллоны с озоном. Гулкое это помещение не имело ни одного окна; слепительный лампион покачивался посреди прохладного пространства, точно отдуваемый ветром от движущегося Скутаревского, и всюду — в темной глубине масляного бассейна, в отполированной меди разрядников, глазурованном кафеле стен единовременно раскачивалось отражение звезды. Поднявшись по винтовой лестнице, Черимов увидел Скутаревского. В одном жилете, наклонясь над перилами, он грозил пальцем монтеру внизу; та же звезда раскачивалась у его ног в маслянистом глянце пола.

— ...того, имейте в виду, что алкоголь проводник, понятно, Касимов? В следующий раз вон... — Он обернулся и увидел Черимова. — Э, кто? — Он потер лоб. — А, припоминаю... это вам я штиблеты дал.

— Вы мне штаны дали, Сергей Андреич,— поправил Черимов, здороваясь.

— ...штаны? Да, в полоску. Хорошие штаны. Штиблеты — это тому, прыщавому. Не знаете, где он теперь?.. Хм, не знаете. Ну, принесли назад?

— Нет, износил,— засмеялся Черимов. — Вот приехал представляться. Официально прихожу к вам заместителем, а по существу учеником...

— Я слышал, да. Значит, подучились? — Он вскинул пристальные глаза. Он был в работе, и еще шел от него жгучий ветер из глаз, из самых его растопыренных пальцев. — Но ведь у меня есть заместитель по хозяйству, Селянов, слыхали?.. Моложавый такой, в золотых очках...

— О нем было уже постановление, Сергей Андреич. Видите ли, он оказался бывшим прокурором судебной палаты. В свое время он обвинял группу товарищей, в которой был и...

— Прокурор? — И Скутаревский сипло, простуженно захохотал; машина внизу перестала хлестать слух своими разрядами, и теперь это был единственный во всем зале звук.

Скутаревский стоял боком к Черимову, но вдруг повернулся и брюзгливым, чуть прищуренным глазом смерил своего будущего помощника. Всякие, даже такие чудесные превраще-

ния человека он считал естественными: к людям он относился до жестокости строго. Несомненно, имелись у этого молодца в жалком мятом галстучке особые качества, оправдывавшие его назначение.

— Он был странный человек, Селянов. И хотя я люблю чудаков, но, черт, нельзя же в кабинете у себя пасьянсы раскладывать... все-таки тут не судебная палата. Так вы говорите, прокурор?— И опять захохотал.— Вот, охрип совсем, плохо топят,— рвал он как ни попадя слова и вдруг уперся холодным, сухим вопросом: — Формулу Пика помните?

— Нет... я работал последнее время по аппаратостроению.

— Так вот, Пик наврал,— заметив смущение Черимова, неохотно бурчал Скутаревский. — Коронирование идет лишь до полумиллиона вольт, а дальше все его рассужденья летят к черту. Чудно это вышло: ассистент наш от семейного огорчения уронил разрядник и испортил форму... Впрочем, вот, Иван Петрович, объясните сами товарищу. Знакомьтесь, это Геродов!

Здесь, на этой длинной галерейке, Скутаревский был не один; за пультом стоял пожилой человек, в синем комбинезоне, скромный и приятный взгляду. Он нехотя оторвался от вычислений, которые чертил карандашом на листке, сбоку мраморной доски; он был в очках, которые чудовищно увеличивали его глаза.

— ...получилась метина, триста целковых убытку, карикатура в газетке,— знаете, как это у нас?— пояснил он. — Но результат стоит больших тысяч... потому что если изменить форму токоведущих частей...

— Да, понимаю.

Черимов рассеянно кивал, разглядывая ораву чудовищ, хозяином которых становился.

Скутаревский снова свесился вниз:

— Ханшин, не уходите... сейчас начинаем. — Он мешковато помялся, припоминая институтские непорядки. — А с курьершами ладить можете? У нас их достаточно, но они учатся управлять государством... черт, я не против: когда они выучатся, я уже умру. — И с любопытством покосился на собеседника, как тот примет эту пробную шпильку, но тот промолчал, лишь опустив глаза. — Но пока мне нужны просто курьерши. Очень тяжелая жизнь, знаете, тяжелая. И потом отучите эту балду... вон, внизу, пить. Убьет током, а меня засудят за недосмотр... Иван Петрович, прошу...

Возрастая в силе, подобно сирене, поднялось гуденье внизу. Люди отступили по углам и, кажется, стали меньше ростом. Похоже было, будто мириады электрических существ заторопились выйти на скользкую полированную медь. Так продолжалось четверть минуты, пока электрические брызги не прорвали тишину.

— Триста восемьдесят тысяч,— сказал глуховатый голос у пульта.

— Шпарьте дальше.

Еще с минуту длилось ожиданье, напоенное низким трансформаторным гудом. Вдруг поток скачущих молний, свивающихся в слепящий столб, родился между полюсами. Обнаженная, сконцентрированная до физической плотности, мчалась к своему равновесию энергия, и треск ее походил, как если бы тысячи остервенелых людей рвали на клочья летящую, распластанную в урагане ткань. Злое, обжигающее глаз божество это остро пахло озоном. Лампион на мгновенье затмился. Иван Петрович разомкнул цепь и отошел от пульта.

— Опять пятьсот восемьдесят,— жестяным голосом сообщил он в опустошенной тишине.

Скутаревский стал надевать пиджак:

— Так вот, оставайтесь, молодой человек. Помогите ему посрамлять иностранца.

Разумеется, это было также пробной штучкой старика и, возможно, экзаменом; по крайней мере, так понял Иван Петрович внезапное исчезновение директора. Во всяком случае, повествуя об истории открытия, он углублялся в такие дебри, точно и Черимова заодно с Пиком собирался устыдить в невежестве. Несколько позже, узнав поближе тогдашнего собеседника, Черимов понял, что это была просто страховка себя перед незнакомым коммунистом... Он действительно остался,— этим закончилась научная карьера прокурора и началась собственная черимовская биография; все предшествующее Черимов считал лишь подготовкой к ней... Впрочем, вначале его появление в институте ничем почти не отразилось на внутренних распорядках; слишком много из того, что не касалось непосредственно научной работы, было запущено. И, как позже формулировал в своей речи Черимов, общественная жизнь слабо индуктировалась могучими токами, которые струились за стенами лабораторий. Только через неделю, на первом производственном совещании, Черимов выступил со словом, которое еще ни разу не звучало в этой нарядной, заставленной

шкафами зале. Вступительную речь держал Ханшин, не старый еще ученый, малоизвестность которого объяснялась пока не столько отсутствием таланта, сколько соседством яркой славы Скутаревского. Черимов имел достаточно времени и материала для изучения среды, которую ему поручено было перепахивать.

Вначале Черимов улыбался украдкой наивному пониманию событий и значительным, даже страстным интонациям Ханшина. Оратор прихрамывал на каждом политическом слове, слишком непривычном для области, в которой он работал. Единственно, чтобы скрыть ненарочную свою и вовсе не злостную улыбку, Черимов время от времени кивал утвердительно головой и записывал что-то в блокноте. Так он записал: заехать к дядьке Матвею... договориться с райсоветом о жилплощади... купить носки и нитки,— Черимов был холост. Как и Скутаревский, Черимов сидел в президиуме собранья, чуть позади оратора, и фигура Ханшина была видна ему целиком. Нищета сквозила в нем даже со спины; поношенный пиджак был по-клоунски узок и короток ему; сухие, с круглыми ногтями, руки костисто торчали из рукавов, гладко выбритые щеки подпирались старомодным крахмальным воротничком, белой и жалкой ветошкой, изглоданной во многих жавельных стирках.

Речь Ханшина действительно далека была от тех образцов, на которых учился Черимов. Говорить он не умел, жесты не соответствовали смысловым кускам,— мысль его не шла синхронно с жестом; он кричал незначащее и шёпотом пытался передавать громовость. Он начал с того, что вот века человечество жило безумно, позорно растрачивая свои силы, не умея по справедливости удовлетворить потребности всех. Новую эру истории надо же когда-нибудь начинать,— честь и труд великого запева рабочий класс предлагает науке делить отныне совместно. Он упомянул, что мир еще не оправился от потрясений недавней войны; и хотя моральные раны заживают на человечестве быстрей, чем на собаке,— именно так определил он циничное забвение и не всегда мудрое ликование уцелевших, раны на экономике еще гноятся, смертельно заражая обреченные социальные организмы. Горькое и целительное лекарство, которое применила в отношении себя Россия, все еще отвергается политической медициной Европы. Разность систем и политическая ситуация требуют от советского хозяйства величайшего напряжения, и оттого план реконст-

рукции, рассчитанный в целом на энтузиазм коллектива, упирается в доблесть каждого по отдельности.

— ...вчерашний день не хочет закатываться добровольно,— декларационно ударил он словом. — Мы поможем ему в этом, сделав науку неистощимым арсеналом для пролетариата... — Тугим, еще не смятым платком он вытер запотевший лоб и сконфуженно залистал бумаги перед собою.

Аудитория молчала, она ждала Черимова. И по тому, как оживленно, при его появлении, задвигались блики очков, зашуршала невидимая бумага, заволновались люди, минуту назад чопорные и неподвижные бонзы, стало понятно все.

В его речи хотели услышать отголосок сокрушительных директив; его приход рассматривался как начало разгрома, дисквалификации института, падения Скутаревского, и кто-то уже острил, что самое здание отдают под столовую губотдела коммунальников.

Это была сложная смесь подозрительной настороженности, порою даже вражды и вместе с тем терпеливого вниманья, с которым в иное время они приглядывались и к повадкам своих электронов. Доклад Черимова выслушан был в безупречной тишине.

— Класс никогда не кончает самоубийством, хотя умиранию своему способствует сам,— тезисно начал Черимов и, глядя в затылок Скутаревскому, почему-то подумал, что она сильно слиняла за эти десять лет, пламенная его рыжеватина. — Его гибель, естественно, вызывает судороги в смежных организмах, и в этом заключены причины сомнений, страха и зачастую прямой враждебности их жизнетворным силам революции. Истинно передовой ученый не может быть реакционером по самой конституции своей... — И, дерзко перечислив имена, он беглым взглядом окинул всех тех классиков естествознанья, которые — одетые в тяжелые дубовые рамы — выглядывали из книжных простенков.

Он запнулся; в этой аудитории митинговый прием не мог сойти за нужную политическую убедительность; не умея пока обойтись без бойкой, захватанной фразы, он машинально потер висок, и этот жест простого человеческого раздумья переломил настроенье аудитории, хотя бы временно, в его пользу. Программа речи была велика; необходимо было показать, как синтезировались в марксизме достижения естественных наук, подчеркнуть роль ученых в Советской стране и проиллюстрировать примерами, как всякий приходит к социализ-

му через данные своей науки. Выгоднее было начать с параллелей между отношением правящего класса к науке в старое и новое время, и, хотя это выходило из пределов взятого им отрезка времени, он не удержался помянуть имена Галилея, Бэкона и Джордано.

Он не пренебрегал и мелочами, потому что и они убивают наповал. В его свидетельской шеренге стояли и Попов, которому морское ведомство расщедрилось на триста рублей для опытов; и Зинин, имевший несчастье в царской Казани впервые отыскать анилин; и Бессемер, умерший в нищете; и Фарадей, которому узколобый лорд отказывает в пенсии; и Менделеев, который по совместительству работал дегустатором вин у московского купца Елисеева. Следствия обозначали причину, он стал говорить об импотенции капиталистической системы, которая не в состоянии ни насытить до мудрости своих художников, ни реализовать рекорды своих наук. Это говорил простой рабочий, и тем суровее была его прокурорская речь, что прямолинейному разуму его недоступны были смягчающие обстоятельства...

Никогда еще не доводилось ему говорить так разбросанно, и никогда он не получал таких аплодисментов. Аудитория знала примечательную черимовскую биографию и теперь дружественно приветствовала человека, в такой мере потрудившегося над собой. Его вступление в институт Скутаревского могло считаться триумфальным, и собрание подходило к концу, когда произошел эпизод, который один мог рассеять весь черимовский успех. Среди поданных записок оказалась одна, без подписи, и Черимов, торопившийся закончить, с разбегу прочел ее вслух. Анонимный автор просил напомнить ему, где именно у Бебеля сказано, что для построения социализма прежде всего нужно найти страну, которой не жалко. Было так, точно выстрелили вдруг в Черимова из аллегорического букета, который подносили внезапные почитатели его большевистских талантов. С осунувшимся от неожиданности лицом, голосом очень спокойным, даже улыбчатым, Черимов предложил анониму назвать себя. Зал зашумел, задвигался, мнения резко разделились, и, хотя это и было то самое, чего втайне добивался Черимов, праздничность заседания была бесповоротно сорвана.

— Я предлагаю автору записки назваться хотя бы письменно,— повторил Черимов, и взгляд его остановился на сим-

патичном Иване Петровиче, с которым познакомился на хорах у Скутаревского.

Тот сокрушенно протирал очки и качал головой, осуждая возмутительную неприличность поступка в столь благородном сообществе. А Скутаревский тем временем звонил со злым и сконфуженным лицом:

— Я требую немедленно... назваться этому гражданину. — Видимо, было ему не до грамматики. — Оскорбительный вызов этого... — он пожевал воздух и попробовал вырвать записку из рук Черимова, но тот не отдавал,— ...этого, с позволения сказать, пипифакса позорит всех нас...

Снова в зале поднялся шум, смешанный с раздражением и смехом: какой-то не в меру смешливый человек громко пошутил, что ворота института уже заперты и самый институт оцеплен войсками; некоторые поднялись уходить.

— Я сожалею,— все еще улыбался Черимов,— о трусости моего безграмотного корреспондента. У меня имеется лишний экземпляр биографии Бебеля. Я мог бы послать ему эту книжку даром. Бебель сам был социалист, и, насколько я помню, фраза эта... — ни реплика, ни шорох не прервали паузы, которая у него вышла сама собой,— приведена у покойного ныне врага нашего Бисмарка. Отмечу, кстати, что на Уссури я охотился на одного, также покойного ныне, атамана, который ругался много цветистей и, по моему убеждению, современней... — Он сел и кивнул Ивану Петровичу, который открыто хлопал ему, кажется, больше всех.

После перерыва Скутаревский отыскал Черимова в коридоре и демонстративно, точно заключал договор дружбы, похлопал его по плечу.

— Вы здорово выросли... хотя т а к говорят, конечно, только с детьми, которые провинились. Знаете, мне не жалко тех штиблет. Что?.. нет, не жалко. Вы, кстати, дайте-ка мне ту поганую записочку... я его сейчас расшифрую, я его в конторе по почерку отыщу.

— Пустяки, Сергей Андреич,— засмеялся Черимов, но записочку все-таки решил сохранить. — Просто злоба обывателей никогда не соответствует их грамотности...

— Ну, вам виднее. — Он накрутил на палец бородку. — В отношении Уатта вы, конечно, пригладили, а насчет Менделеева я проверю, да, насчет Менделеева.

Когда через месяц высшее начальство спросило у Сер-

гея Андреича о его новом заместителе, он удовлетворенно пробубнил, что неизвестно, почетнее ли быть учеником Скутаревского или учителем Черимова. Таким образом, все закончилось к обоюдному удовольствию сторон.

ГЛАВА 8

За весь этот срок фронтовые друзья не повидались ни разу и, хотя отрасли их деятельности почти соприкасались, даже не слыхали друг о друге. Укрепившись в институте, Черимов зашел однажды к Кунаеву, который неделю проводил на съезде в Москве, и потом они вместе поехали к Скутаревским; Кунаев давно искал более близкого знакомства с Сергеем Андреичем, которого издали уважал и ценил. Жили они все в том же переулочке, и тот же гипсовый Олимп таращился на посетителей при входе. Старика, как его называли заглазно, не оказалось дома. Арсений брился перед зеркалом, у матери сидел Федор Андреич Скутаревский... В первое мгновенье, пока не разглядели друг друга в подробностях, оба искренне обрадовались встрече; они даже обнялись бы, не будь Арсений в мыле,— во всяком случае, рукопожатия им не хватило, чтоб выразить всю радость о воскресающей дружбе. Потом, когда восклицания иссякли, они уселись вместе на тахте, как бы готовясь к целой неделе обстоятельной беседы.

— А это Кунаев, всеобщее наше начальство. — Черимов не преувеличивал; удивительно круто поднималась кунаевская звезда. — Смотри, Сенька, какая орясина! Знакомьтесь, непременно станете друзьями...

Тот мешковато пожимался, озабоченно щурился на завешенные картинами стены и все косился на дверь, в которую должен был войти Скутаревский-отец.

— Ну, вырос ты, как-то поширел... а башка все та же, цыганская. Служишь где-нибудь по артистической части? — допытывался Арсений. — Ты ведь петь пробовал... А как со слухом?

— Нет, я по научной... Да неужели же Сергей Андреич ничего не рассказывал обо мне?

— Мы разошлись немножко,— потупился Арсений. — Так это ты и есть?.. тот самый Черимов?

В памяти он держал его совсем другим — задиристым и не без азиатчинки парнем, к которому в мыслях всегда отно-

сился чуточку свысока; не без самодовольства и даже ставя себе в заслугу, он припоминал тот отдаленный, у костерка, вечерок,— о, эти незадышанные, еще горьковатые вода и воздух юности!.. — когда он сбивчиво и с жаром вдалбливал в Черимова простенькие сведения об амебе. Лекция не выходила из пределов популярного учебника, но Черимову и это было откровением, а Арсению, если покопаться поглубже, приятно было сознавать, что кто-то на свете знает еще меньше, чем он сам. Теперь его постигло странное ощущение, будто перешагнули через него, будто в знакомых с детства стихах любимую строчку подменили плоской и несозвучной. У Арсения нашлось честности сообразить, что новая его эмоция вовсе не похожа на прежние юношеские соревнованья... У него на стене висел в рамке давний рисунок дяди на знаменитый пушкинский сюжет о двух музыкантах, молодом и старом; Арсений всегда поражался ничтожеству одного и беспечности другого. И вот наяву из душевных сумерек в сумрак вечера прошмыгнула сутулая тень Сальери; тогда пятнистый румянец проступил по его щекам.

— ...Женат?

— Нет.

— Но уже, конечно, в партии? — напряженно спросил Арсений.

— А ты, конечно, нет? — в тон ему улыбчато откликнулся Черимов, и тогда, стремясь избавить приятеля от ответа, прибавил дружески: — Ты брейся, брейся, а то сидишь в мыле, как судак в подливке. Спешишь?.. заседанье?

— Нет, я в театр,— быстро солгал Арсений, и теперь ложь ему удалась гораздо легче, чем десять лет назад. — Дают Игоря...

— Может, и нам поехать? — раздумывал Черимов, вопросительно глядя на Кунаева. — Никогда не слыхал этой оперы. Говорят — здорово, а?

Перестав бриться, Арсений с горящими ушами смотрел через зеркало на Кунаева. Тот колебался:

— Не выйдет у меня со временем, пожалуй... Вечером Семен обещал забежать.

И опять Арсений мазал себя пушистой пеной и, хотя успокоился в отношении театра, все еще не мог примириться с новым Черимовым, который в плане житейском становился теперь рядом с ним. Из вежливости он спросил его, как все это произошло; тот отделался шуткой,— не любил говорить о

себе. Между тем Арсений видел, что, даже поднявшись на эту высокую гору, он пока еще одышкой не страдал. Заметна была, наоборот, подчеркнутая тщательность в повадках, в речи, костюме и в отлично выбритых щеках; украдкой, по старой привычке, он пригляделся к черимовским ушам: они были нормальны, мочка великолепно закруглялась вверх, они были чисто вымыты. «Боится, что заподозрят... догадаются о банной родне»,— снисходительно решил Арсений, хотя и знал, что это клевета. То была лишь опрятность механизма, сознающего свою ответственность. «Вот оно, племя младое, незнакомое...» — еще определил он и тут же почувствовал, что отношения их никогда не станут прежними.

— А ты молодцом, Николай. Ты... ловко. Нет, отец не рассказывал, нет. — Он сам брил себе шею, слегка касаясь бритвой. Тонкие эластичные подтяжки, с рисунчатой выделкой, упруго натянулись, и Кунаева всерьез щекотнула смешная догадка, не сделаны ли они из дамского материала. — Слушай, Николай, а ведь через два месяца ровно десять лет... И вот встретились, как это говорится, во втором воплощении. Странная штука жизнь... и есть в ней все-таки тайны, Николай, которых мы так никогда и не узнаем.

Черимов насмешливо покосился в его сторону, и вот уже ни один из них не испытывал сожаления, что со времени давней разлуки они не обменялись и письмом.

— Да, это похоже на тайгу. Все перегнило, и стало расти другое. Занятно, конечно...

Арсений перебил его:

— А помнишь, мы собирались навестить Гарасю... — Он с особой мягкостью произнес это слово. — Знаешь, я даже хотел разыскивать тебя. Вдруг как-то накатило: ехать, ехать, ехать... Поедем, а?

— Я не помню, о чем ты?

— Когда мы зарывали старика, мы дали обещание посетить его через десять лет. Через два месяца — срок. — И он распространился о Гарасе, возвышая его чуть ли не до былинного старчища, который с рогатиной, один на один, вышел на интервентов; он утверждал, что не пришел еще Гомер этого грозного человеческого бунта, потому что зачатки поэм только раскиданы по ветру и многое пока не проросло; скучную Гарасину гибель он возвышал до подвига, и если, в конечном итоге, выходило у него не плохо, то оттого лишь, что о смерти и самое дурацкое мудро. Он героизировал все под-

ряд, потому что тем самым и себе, существованию своему создавал оправданье, теплое и уютное, как селение горнее. — Едем?

— Пустяки, Сенька. Старик не обидится, он полежит еще. Мы были тогда щенками, он поймет. А полководец он плохой: за один удар все войско свое потерял... Работать надо, Арсений, а мы все спим.

— Ну, впрочем, мы не спим... — с ироническим холодком поправил Арсений.

— Я сказал — спим,— резко бросил Черимов. — Мы делаем мало, даже если мы делаем много. Мы еще не понимаем смысла переворота, который произошел. Мы допускаем чудовищные резервы... помнишь, Фома, сибирскую торфянку?.. — И, почему-то смягчась, прибавил: — Я злой нынче...

— Да, ты сердитый сегодня. Ты и меня в оппортунисты вклепил,— тихо упрекнул Кунаев.

— Я на Ширинкина нынче обозлился... да ты его знаешь, Фома! Он из наших, мы кончали вместе. Давеча заехал к нему и... черт его знает, какая расстроилась у него секреция. Понимаешь, Арсений, его одолели вещи, хватательный инстинкт развился, а ведь как дрался-то в Октябре... то есть он депеши по городу под выстрелами таскал еще мальчишкой. И оказался дьявольской пустоты человек. Так он для заполнения дырки вещи в нее впихивает: сервант купил ореховый, абажуры — как юбки кокотки... банкетки, годные только для разврата. И понимаешь, хватило хамства: пианиной хвастался... — Он нарочно исказил слово, чтобы оскорбительней вышло. — Стейнвей, говорит, ранних номеров, а всего полтыщи. «Играешь?» — спрашиваю. «Нет, говорит, а для параду». И подмигивает, скотина, взятку дает... «Может, говорю, ты за этой лакированной штукой и на баррикаду лез?» Молчит, молчит... «Ну, говорю, шагай в жизни и портфель свой крепко прижимай к боку, чтоб не вырвали».

— Да, ты злой нынче,— со рдеющими ушами согласился Арсений. — А может, у него мечта была, а ты пришел, надругался да еще поди окурок на клавише оставил.

— Окурок я ему в китайскую вазу засадил,— сурово поправил Черимов.

— Я хотел сказать, всякий имеет право на свою радость,— неуклюже сформулировал Арсений.

— ...что-о? — И хохотал, но уже не яблоки, не антоновка незрелая, а хрустящая галька пересыпалась в мешке. — Не

имеет... он обязан классу... в нем моя, плебейская кровь. Если мы... если мы проиграем...

— ..хотя это вряд ли,— внушительно вставил Фома.

— ...проиграем — иеромонахи Европой станут править, смекаешь?

Арсений все брился, но дрожала его рука. Уже саднило кожу, а он все брился, потому что следовало в эту минуту спиною стоять к другу и не показывать лица. И он чувствовал, что брань, назначенная для другого, самого его хлещет по щекам. Он заговорил, волнуясь и срываясь с голоса:

— А если усталость?.. Мы босыми ногами шагаем по истории, а ты думаешь — не больно. И разве стыдно говорить об этом? Была молодость, романтика, теперь — государство, закон. И потом, ведь социализм-то — ведь это для человека. Я даже допускаю его право сидеть и рисовать домики, если ему надоело воевать, бороться, не спать ночей, если ему надоело нравиться тебе и ежеминутно заслуживать твое одобрение. А может, он хочет, я к примеру, на Малайском архипелаге срубить собственноручно баобаб.

Черимов опустил глаза; было ему стыдно перед Кунаевым за эту словесную размазню. А тот сидел в полном изумлении и все слушал, все слушал.

— Баобаб — это оригинально, но голландцы визы не дадут,— пошутил с кривой усмешкой Черимов. — Ведь ты это про себя! Ну, милый, какая там романтика! В отряде ты был всего три месяца, в двух-трех перестрелках...

— Нет, я и раньше... — отмахнулся Арсений, словно отбивался от руки, которая его раздевала.

— ...я и не спорю. Ты рано начал воспоминаниями жить, товарищ. Вчерашняя романтика всегда хуже сегодняшней. Романтику мы делаем сами. Слушай, Арсений, брось ты этот музей, в котором живешь. Уезжай куда-нибудь на стройку, где каждая строка стоит иной твоей фронтовой страницы... Ты слышал что-нибудь об ударниках? Иди в массы, растопи свой лед, не буксуй зря... Вот Кунаев начинает большое дело на Урале. Он тебя возьмет... Возьмешь его, Кунаев?

Кунаев привстал с серьезным и решительным видом; он был огромен; крупные рябины искажали самый овал его лица; похоже было, будто в детстве жевал его какой-то дикий восточный мор и, поломав зубы, бросил. Арсений близоруко щурился и все не мог понять, почему неприятна ему уверенная, литая кунаевская сила.

— Давай чернила и бумагу,— сказал Кунаев, дружественно и зычно. — Счас я напишу тебе пазначенье... хотя постой. Едем послезавтра вместе. Я тебя окуну в эту домну по самую макушку. Я твоего отца крепко чту, на большой палец, во.

Арсений молча вытирал бритву, острие ее заманчиво щекотало палец, а Черимову стало скучно. Он опять отошел к шкафу и зорко рассматривал Арсеньевы книги; одолевало его непонятное желание отыскать то, чего там не было. И все еще грязной казалась бритва Арсению... Он слабо пошевелил губами: переродиться. Но надо слишком крепко умереть, чтоб родиться заново. Вода лишь полгода бывает камнем, а потом снова течет. В эту минуту он почти читал черимовские мысли. Первая была: «Как мало общего у него с отцом»; вторая была очень длинная, ленивая и кончалась сочным зевком. Смута и растерянность охватили Арсения. А ведь он искренне берег в себе воспоминанье о фронтовой поре, как о феерической смеси опасностей, случайностей и лишений. Не имея ни силы, ни желания вторично пережить все это, он, однако, не согласился бы вымести из памяти этот драгоценный сор. Он поистине любил отчаянных и погибших друзей: мертвых любить приятно и необременительно... Теперь же стало так, точно они ворвались к нему, эти не очень милые фронтовые призраки, и растоптали уютный уголок, где он взлелеял свое лирическое тщеславие. Вдруг прозрев, он понял, что всегда, заодно с Черимовым, презирал чуть-чуть и Гарасю; он вспомнил, как в потаенной мысли своей, умирая от усталости, он дивился в ту ночь угрюмой Гарасиной живучести; он вспомнил свои ноги, сбитые в кровь корявыми мужицкими сапогами, разбухшие лошадиные трупы посреди романтических пейзажей; он догадался, что ничего не изменилось бы в мире, если бы и его самого расклевала горбоносая падальная птица... Раздетый догола, не смея даже кричать о грабеже, Арсений насильственно улыбался и молчал. Молчание это было одинаково томительно для всех троих.

Вдруг он сказал:

— Чудно... а теперь, может быть, ту пихту уже срубили на экспорт.

— Это Гарасину? — неискусно подхватил Черимов. — Но позволь, ведь мы его закопали под лиственницей.

— Да нет же, ты забываешь. Это дерево я как сейчас вижу. Чуть наклоненное бурей, корье растрескалось, вершина

двойная... и рядом другая, потоньше. И еще почему-то шпора там валялась, а чья — неизвестно. И, надо признаться, мы оба испугались ее...

— Вот шпоры не помню,— очень настойчиво и вежливо ответил друг и, потягиваясь, встал, чтобы не садиться больше. — Ну, ты извини, мы ведь мимоходом забежали. Еду в командировку. Что делать, партии не хватает своих инженеров. Да надо еще к дядьке забежать, поругаться. Ничего, что мы задержали тебя в театр?

— Театр?.. — смутился Арсений,— нет, я еще поспею ко второму акту.

В эту минуту вошла мать в сопровождении Федора Андреича. Она не сразу узнала Черимова, который суховато поклонился ей на пороге. Только после, по конфузливой торопливости, с которой сын побежал провожать гостей, она вспомнила того бесштанного Арсеньева спутника, от которого панически прятала серебряные ложки. С теми же красными ушами, что и сын, она стояла спиной к двери и слушала ужасное молчание бывших друзей. Его не могли заглушить, конечно, поскрипыванья нового кунаевского полушубка.

Впрочем, Арсений сказал:

— Снег не идет?

— Нет, опять потеплело. Когда Фома надевает шубу — наступает оттепель,— и все не мог попасть в рукав, в котором оторвалась подкладка.

— Этот галстук на тебе заграничный? — из последних сил старался удержать что-то Арсений.

Кунаев попрощался и вышел на лестницу, Черимов не расслышал Арсеньева вопроса, и тут что-то вскипело в нем самом:

— ...а ведь я ехал напиться с тобой, Сенька. Ведь мы с тобой сизопузых ворон вместе жрали...

Скользя рукой по убегающему блику перил, Арсений побежал было за ним:

— Ты приходи, Николай, непременно приходи... — «До свиданья!» — кричало навзрыд Арсеньево сердце. «Нет, навсегда...» — отзывалось неслышное эхо снизу. Тогда, оскорбленно улыбаясь, растирая в пальцах потухший окурок, Арсений вернулся к себе. В продолжение всего этого нежеланного посещения его одна тревожила боязнь — а вдруг Черимов да еще этот монументальный большевистский праведник останутся на весь вечер? Часам к десяти молодой Скутаревский ждал гос-

тей. Никогда ему еще не приходилось стыдиться своих знакомых, ни по суду не опороченных, ни по службе, но едва только сопоставлял их с Черимовым — разом выяснялось их большее, чем даже расовое, отличие. Внезапно Арсений схватил с подзеркальника газету и пальцем отыскал отдел театральных объявлений; еще немного, и брызнула бы кровь из закушенной губы. В опере давали К а р м е н... Арсению представилось, что Черимов все же уговорил Кунаева поехать на И г о р я; он увидел, как наяву — при миганье уличного фонаря Черимов показывает Кунаеву то же самое место в газете, и они смеются, смеются неуклюжей лжи сломавшегося друга. Арсений только учился лгать, и первые уроки давались ему с трудом.

— Ну, здравствуй,— басисто сказал Федор Андреич, не замечая расстроенного племянникова лица. — Кто это был у тебя, такой дерзкий, неприятный, многообещающий самурай?

Арсений с удивлением к необычному слову поднял глаза.

Федор Андреич курил, созерцая длинный, кудреватый смерч над собою. То был высокий жилистый человек, с белесым, равнодушным лицом и лысой шишковатой головой. Изредка судорога какой-то страсти, никогда не получившей удовлетворения, подергивала его рот. В его руках было что-то от челюстей, которые жуют; пальцы его беспрестанно двигались, как бы ища какую-то утраченную форму. Ничто, кроме пятнышка берлинской лазури на тыльной стороне ладони, не подсказывало о его ремесле. Дядя приходил по пятницам. Ремесло его кормило плохо. У брата он подкармливался.

ГЛАВА 9

Расставшись с Кунаевым, который ни за что не хотел обмануть своего Семена, Черимов долго еще простоял у ворот. К Арсению он зашел с намерением просидеть до ночи, но близость не удалась, и теперь вечер оказывался свободным. Редко за последнее время случалось, чтобы он не имел места, куда пойти. Он почти забыл про Ширинкина, хотя это разочарованье должно было пересилить остальные огорченья: все предшествующие годы они, в сущности, шли в одной запряжке. Почему-то истерика Арсения взволновала его гораздо больше, хотя именно здесь ничто не противоречило его, Черимова, партийной логике: что ж, самый хлеб и воздух их детства были различны; но разрыв с другом заставил и его самого переоценивать значительность партизанских лет, которым приписы-

вал так много. Нет, не они сформировали его окончательно; корни причин лежали глубже... Так, отталкиваясь от незначительных происшествий, он добирался до истоков.

Некоторое время он колебался — не поехать ли в театр; он достал часы. Рассеянные тени снежинок порхали по циферблату; подобные насекомым, они роились вкруг мутного фонарного светила. Вечер был уже на исходе девятого... да и не хотелось хоть издали, хоть взглядом еще раз повстречаться с Арсением. Еще стоял он в нерешительности, когда переулочный сумрак пробили два ярких света; у дома остановилась машина. Черимов едва успел отойти от светового потока за угол,— мимо него быстро, почти падая вперед, пробежал на лестницу сам Скутаревский. Снег пошел гуще; в свете фар он валом валил. Черимов поднял воротник и торопливо вышел из переулка; даже ступая на трамвайную подножку, он не был уверен, что намерение его осуществится до конца.

Он спросил кондуктора, доедет ли этим номером до Бутырок: расстояние было значительное, а он, за исключением района, где провел детство, плохо знал Москву. И едва взял билет, вдруг испытал странную щемящую, много лет неизвестную ему робость. Эта шершавая розовая бумажка давала право на самое удивительное путешествие; он глядел на нее и затаенно улыбался, как бывает лишь во сне. Кондуктор, пожилая женщина, с кожаной сумкой и опухлыми от холода пальцами, внимательно смотрела на него и так же, отраженно, улыбалась.

Он заметил ее улыбку и сурово отвернулся к окну... Москву заносило снежком, и было уже так, точно загулявший исполинский штукатур прошелся со своей бадейкой по улицам. Размытые вьюгой и ночным освещением, мелькали площади, автомобили, дома, но Черимов видел только собственное отражение в запотелом окне вагона. Жизнь неслась вспять, здания, церкви, светящиеся вывески кино бежали сквозь него, не задерживаясь, не оставляя следа, как круги по воде. Он не узнавал ни одной из этих путаных каменных извилин, но вдруг проскочил какой-то деревянный дом; его черная крыша, надвинутая, как картуз мастерового на темный бревенчатый лоб, молниеносно отразилась в памяти тысячью образов, пестрых и радужных осколков. Одновременно кондуктор прокричал знакомое слово, и все стало понятно. Окраина подступала вплотную, а с нею и самое детство. Точно боясь пропустить остановку, он побежал вон из вагона.

Все-таки обманула зрительная память; он сошел слишком рано и долго тащился по снежной, залитой светом мостовой, едва угадывая названия пустынных улиц; строительство окраин началось с удвоенного освещения. Он шел, и снежинки щекотали его лицо. Вереница новых домов на углу, где он должен был сворачивать, сбила его с толку,— ему даже показалось, что он заблудился. Впервые они мешали ему, эти новехонькие, с газонными площадками, под гранит оцементированные корпуса, в создании которых участвовала и его собственная воля. Они заслонили от него грустное, темное детство, в которое он приходил с той же целью, с какой листают пожелтевшие и чем-то бесконечно милые страницы дневника. Его разочарование очень походило на то, которое тотчас по его уходе испытал и Арсений Скутаревский; он тоже предпочел бы видеть прежнего Черимова, в красной штопаной рубахе, веселого и быстрого, как лесной костер. Действительность оказалась снисходительной к людской слабости: едва свернул с уличной магистрали, разом споткнулся о какой-то скользкий бугор,— глушью так и пахнуло в лицо. Редкие тусклые фонари ломано отражались в слегка запорошенных грязях проулка. Дальше, между покосившихся заборов его почти безошибочно повело проснувшееся чутье. Стало меньше домов и больше деревьев, черными плодами торчали на ветвях спящие птицы... Он увидел слабо освещенные ворота, у проходной будки стоял сторож; он покосился на опрятное пальто Черимова и неохотно указал, где именно берут пропуска. Путешествие в детство продолжалось, но так трудно было вступать в него, не помолодев.

Разом, тысячами мелкостных впечатлений окружила его знакомая обстановка. Из просырелой, низкой постройки выбивался клин воспаленного оранжевого света; мириадами осколков он дробился в груде стеклянного шлака посреди фабричного дворика. На деревянной изношенной лестнице светилась открытая дверца в самую гуту, и, еще не вступив в нее, Черимов ощутил на лице привычный холодок сквозняка: двери изза жары не прикрывались и зимою. И еще, невольным толчком памяти, он вспомнил, как, бывало, через эту именно дверь неслась на улицу песня про то, как знаменитая русская Катя еще серпом, еще вручную жала рожь высокую и что с нею произошло потом. Песня мешалась с расплавленным стеклом, и, застывая, оно становилось звонким, слегка зеленоватым на просвет; крестьянский облик всегда лежал на этой крохотной

фабричке. Теперь Черимов заставал напряженную, злую тишину, и из нее скалился яростный рев форсунок... Так, через десять лет всяких странствий, он вступал в исходную обстановку, и когда хрустнул под ногой стеклянный осколок, он испытал легкий озноб волненья.

— К Топыреву здесь пройду?.. — спросил он у человека, который спускался с лестницы. Топырев был приятель отца и черимовский крестный.

— К которому... молодому?

— Нет, к старому. — Молодого Топырева он не знал вовсе.

Человек посмотрел на него ехидным, щурким взглядом и помчался дальше.

...Почти ничего не переменилось на этом наивном осколке разбитой планеты. Новые, до конца механизированные заводы возникали на еще не тронутых местах, и бессмысленно было бы расширять или чинить это давно устаревшее сооружение. Со времени черимовского ухода здесь повесили лишь тяговые трубы вентиляции да еще пробили люк для спуска продукции прямо в протирочную. Та же самая печь, низкий глиняный каравай, заполняла почти целиком тесное пространство; у этой жаркой громады ребенком, бывало, спал Черимов, когда работал его покойный отец; мужицкие сапоги и тяжеловесная песня, смешанная с бранью, баюкали его некрепкий сон, служили лаской матери, которой совсем не помнил. Это и была г у т а, слово — близкое, как родина. Горячий свет расплавленного вещества выбивался из круглых амбразур, и самые отражения на лицах гутарей слепили и обжигали отвыкшие черимовские глаза. Он огляделся, и вдруг — точно утончилось огромное пространство годов и книг, которые он миновал,— он увидел Федьку, приятеля ребяческих лет, о существовании которого не вспомнил ни разу. Тот внезапно воспрянул во весь свой рост, и в памяти тесно стало от этого гигантского горбоносого парня. Федька был потомственным стекольщиком; его дед и отец продули свои легкие в вычурные стеклянные пузыри, и даже фамилия его соответствовала производству: Бутылкин. Мускулистый и, видимо, опытный задельщик, он ловко метался между чугунной формовкой и круглым оконцем печи; под сквозной майкой размеренно двигались рычаги и шестерни этого осатанелого механизма.

Давно — и в тот торжественный день рабочим щедро выдали на водку — хозяин посетил заводишко с молодой женой;

директор учтиво называл ее м а д а м. Владелец был известный парфюмерщик, фабрикант, товары его производства в изобилии шли на Ближний Восток, но мадам благоразумно не употребляла специй своего супруга. Впрочем, ей понравилась, кажется, огненная суетня, которою она кормилась; она заметила даже, к умилению директора, что это напоминает сошествие святого духа на апостолов. Она была права: зрелище ночной гуты действительно походило на тот малопонятный сюжет, который часто изображался на дешевых церковных картинках. Набрав стекла на длинную железную трубку, рабочий долго крутил и раскачивал ее в воздухе, чтобы придать форму гибкому комку этого расплющенного солнца; только пианист смог бы оценить искусную игру его пальцев. Потом он всяко катал ее на доске, потом вдувал воздух, потом медленную эту, еще светящуюся каплю обжимали формовкой — и здесь Федькино лицо раздувалось вдвое от натуги дутья, а нос пропадал в мякоти вздувшихся щек... и вдруг на конце трубки оказывался замысловатый флакон для неприхотливого покупателя. Так усилиями пальцев, легких и щек происходило рождение наивной и сомнительно нужной вещи.

— По-моему, это Бутылкин там мечется? — шепотом спросил Черимов у работницы.

— Сатана-то?.. Он у нас ударник... — и отвернулась, потому что и сама была ударницей.

Стороной, сгибаясь под пляшущими языками уплотненного огня, Черимов добрался наконец до старинного своего приятеля.

— Федька! — тихо позвал он, и сердце его упало к ногам горбоносого.

Тот покосился; его грубоватый профиль силуэтно застыл на оплавленном оконце гуты. Он смотрел долго; остывающее стекло белело, свисало к полу, и струйчатый, шипучий шел от пола смрад.

— Чего вам?.. Вы мне мешаете работать... — глуховато проговорил он, но не отводил взгляда. Сбивали его с толку добротное пальто и заграничная кепка.

— Колька я... — шепнул Черимов, обнажая голову, и терпеливо ждал, пока тот его признает. Его тянуло вырвать трубку из Федькиных рук и выдуть хоть бы колбу, вспомнить покинутое ремесло, губами прикоснуться к юности, но ему стыдно было и несвоевременной своей, уже интеллигентской прихоти, и людей, которые с любопытством окружали его. Он

крикнул просительно: — Помнишь, как ты меня из воды раз вытащил?..

— Ну-у?.. — протянул тот недоверчиво, и озорная вспышка озарила их губы одновременно. — Во, дух с тебя вон! — И вдруг перевел глаза на трубку; трескалось на ней остывшее стекло. — Ну, катись, катись на квартиру... все там же. Вот, после смены поговорим.

...Он пришел туда через полчаса, когда Черимов уже познакомился с его женой, молодухой такой же зубастой и расторопной, как и муж. Догадливая, она ухитрилась даже и в этот поздний час заставить стол всякой самодельной наспех снедью; чернявая, с перекошенным донцем, бутылка дешевого кагора орнаментально покачивалась посреди стола. Комната приятеля была опрятна; ни одна вещь, назначенье которой не было проверено, не засоряла ее. Но окно выходило прямо на кирпичный брандмауэр с помойкой внизу, и Черимов понял, что и в летнюю пору хозяева живут без дневного света и свежего воздуха.

Хозяйка догадалась, видимо, о ходе черимовских мыслей: она сказала, что доживают здесь последний месяц, а потом переезжают в нарядный, новый дом, где будут чистые, еще пахнущие штукатуркой стены и окна, еще забрызганные известью. И глаза ее при этом улыбнулись, может быть оттого, что сквозь эти новые окна она уже видела и новый мир. Только и было их разговора... Федька вернулся усталый, с губами, черными от железа, и тотчас же ушел за ширму мыться.

— Потянуло на прежние места? — кричал сквозь плеск воды хозяин. — Какие тому косвенные причины?

— Соскучился, вот... Что у тебя за чертеж тут наколот?

Бутылкин вышел к гостю в чистой рубахе, с лицом, еще красным от грубого полотенца. И так как сразу начинать разговор о самом главном, не прощупав гостя, было ему затруднительно, он с удовольствием объяснил свое изобретение. Работницы при мойке продукции бьют стекло и режут руки; автомат, уставленный флаконами, должен переворачиваться над целой сотней фонтанчиков.

— Понимаешь? Тебе смешно поди. Теперь в больших чинах ходишь, Николай Семеныч.

— Ты меня еще превосходительством зови, а то обижусь.

Тот рассмеялся, держа Черимова за плечи. Они вглядывались друг в друга, взаимно проверяя, много ли унесли бегучие воды этих лет. Не тот стал и Федор: насквозь прожел-

тела кожа, усилилась профессиональная чернота зубов, огрубели мозоли от старых ожогов на руках; она не молодила, безостановочная гонка реконструкции, но удивляла при этом ясность глаз, пронзительных и очень спокойных.

Их дружеское препирательство продолжалось и за столом:

— Сбежал ты от нас, дух с тебя вон. И всегда так... Придет сюда — просто шувалик верейский, а выбьется наверх — пряником назад не заманишь. Шел бы к нам в директора, а? Что, какие тому причины? Там, на новостройках легко, а ты вот на нашей диковинке промфинплан сыграй: вспотеешь.

— Да я видел вашу диаграмму в конторе. Плохая кривая, ты не обижайся. Так дышит больной... И потом качество: смотри, нам из-за границы всякие приборы приходят — стекло поди чище.

Бутылкин угрюмился, задетый за живое.

— Так ведь они сурик в варку дают, а у нас и поташу не достанешь. Да и то на экспорт тянемся, эх... — Он опустил глаза и с минуту молча боролся со словом, которое хотело взорваться в нем. Вдруг он поднял улыбающиеся как ни в чем не бывало глаза: — Ну а ты... вроде профессора, что ли?

— Вроде, Федька, вроде... — и жевал по очереди все, что стояло на столе, от селедки до фисташек.

— Небось учеников своих шпыняешь,— смеялся Бутылкин, разливая кагор по узеньким, не по винишку, рюмкам. Не долив, он отставил бутылку и взглянул одну на просвет: — Вона, брак в продажу пустили... пузырьки-то ровно рыбка плеснулась. А помнишь немца? Прошибешься, бывало, счас он: «дай ляпки». Да по ладошкам-то вальком... обстоятельный мастер был.

— Меня он все больше по заднице.

— Тоже невредно. Ты не ревел никогда, а ему становилось обидно. Ну, давай за свидание наше... и чтоб не в последний раз... Черт, уж дай хоть пощупать-то тебя... — все резвился Бутылкин, сияя от удовольствия. — Костюмчик-то — чистый коверкот, а вот об известку где-то вымазал. Не научился с хорошим-то обращаться, серая ты душа!

И уже тянулась со щеткой, чтобы вычистить, Федькина жена.

— Вот,— вспомнил вдруг Черимов и про себя подумал, что всегда найдется куда пойти человеку,— вот, гляди, Федор.

Он достал из кармана приготовленную было для Арсения тоненькую брошюрку в зеленой обертке; это был перевод на французский язык его первого научного труда об асинхронных аппаратах, на обложке крупным курсивом парадно чернело имя Черимова. Бутылкин вытер руки и, осторожно раскрыв посредине, заглянул вовнутрь. Книжка полна была таинственных формул, корней, латинских и греческих букв, сложных математических функций — замысловатый их орнамент совсем недоступен был Бутылкину. Он вообще боялся всяких чисел, которые, кстати, после революции магически стали обрастать нулями; с контрольными цифрами пятилетки, которой отдавал самое главное свое — молодость, он еще справлялся по необходимости, и хотя смысл годового производства комбайнов был не менее сложен, чем эти интегралы, там его во многом выручал природный инстинкт пролетария.

Бутылкин поднял внимательные и строгие глаза:

— Это твое, Николай?

— Мое, мое... вот тут и имя поставлено, видишь? — и тыкал пальцем в страницу. — Ассистан Тшеримоф, это я... я, Колька. Ассистан де ланститю. — Никогда ни раньше, ни впоследствии не вел он себя таким мальчишкой: но здесь он не боялся уронить свое достоинство. — Это в Париже напечатано... видишь?

— Это хорошо,— важно и значительно сказал Бутылкин. — А ну, прочти вот тут! — и пальцем, наобум показав строку, целую минуту пристально вслушивался в музыку неведомой науки и чужого языка. — Это очень хорошо, что в Париже,— тихо повторил он. — Ты дай мне это, Колька... полезно этой книжкой кое-кому в нос ткнуть. Дай.

— Это первый экземпляр, Федор, авторский... но ты возьми, возьми,— обрадовался Черимов, и, по мере того как лирическим посвящением заполняла его рука страницу, лицо его все более меркло.

Точно такую же книжку, но еще не переведенную, он в свое время посылал и Арсению,— с тем же чувством безвредного, дерзостного юношеского хвастовства. Но, сидя в гостях у Арсения, как ни разглядывал он его книжные полки, так и не нашел маленькой своей, в розовом сарафанчике, брошюрки. «Не туда посылал, не там, значит, и признания искал!» — подумал он мельком и жалел, что не имеет возможности с корнем выдрать оттуда намелко и нежно исписан-

ную страничку. Его сутулило чувство поздней горечи и стыда за себя... Он дописал и дул, чтоб скорее просохли чернила.

— Чего ж помрачнел, может, почету мало? — веселился Бутылкин. — Так ассистан, говоришь? Эй, жена, чурка фабричная, кланяйся, потчуй ассистана. Вот, развеселил меня, Колька...

Черимов сидел с опущенными глазами.

— Я, брат, с похорон нынче... вроде как с похорон,— поправился он. — Вот я сижу у тебя, пью кагор, похваляюсь... меня даже развезло от чувств, а ведь сегодня я похоронил друга, даже двух. Так вот и объезжаю родные могилки.

— С чего же так? Какие тому косвенные причины? Теперь умирать глупо и, уж во всяком случае, преждевременно. Кто такие?

— Первый — Ширинкин. Ты его должен знать, он...

— Ширинкин — сука,— определил Бутылкин, и лицо его стало твердо, как бицепс перед ударом. — Я к ним вечерком раз зашел, в одну печальную нашу годовщину зашел, а там у них танцевали. Ноги я видел под портьеркой, и хорошо, дух с меня вон, что нагана со мной не было. Ничего, падалицы не жалей, надо кушать и червячкам. Давай, кто второй?.. Вали их в братскую.

— Второй — мы на фронте были вместе. Сын теперешнего моего начальства... и учителя моего. Он был такой подходящий парень. Знаешь, Федька, если изменяет вождь — это страшно, и если друг — не менее тяжко тогда. — Он воспользовался тем, что жена Бутылкина пропала куда-то. — Давай уж на искренность: даже плакать хотелось от злости.

— Что ж, поплачь, балда, помочись,— грубо отрезал тот. — Кто мы... машины?.. энтузиастические будильники? А сколько еще слиняет впереди. Да еще, давай бог, чтоб в открытую. А иной совсем рядом стоит, а присмотришься — тот самый и есть, который первым плюнет в революцию... если случится э т о.

Черимов безмолвствовал и чутко слушал, как похрустывает мятный пряник на зубах Бутылкина. Рука его машинально теребила какую-то бумажку, найденную в жилетном кармане; она так износилась, что даже не шелестела.

Бутылкин заговорил опять; он предлагал оплакать их всех сразу в один какой-нибудь пасмурный выходной денек; он не собирался, подобно Европе, ставить монументы этим неизвестным солдатам, у которых не хватило ни доблести, ни чест-

ности перед классом. «Ерунда, слабые пускай дохнут. Важен окончательный результат. А ты грустишь... и какие тому причины?.. косвенные вижу, а прямые где?» — и замолкал, щекоча друга тоненьким, тихим смешком.

— Вот ты и ученый, тебя напечатали за границей, а хочется мне тебя по шее, Колька, пригнуть маненько и этак. Кто же стоит на деревянных балках, которые вдобавок уже стояли целую вечность? Не очень я круто заворачиваю? Ты скажи... Я, конечно, не знаю этих людей, мне трудно. Мы вот берем свой хлеб просто рукой, а они берут вилкой и сперва кладут на тарелку... — Он внимательно посмотрел на гостя. — Ты пей кагор-то, ассистан.

— Нет, ты, конечно, прав, Федор,— и стал говорить, как трудно вырезать у целой прослойки застарелые опухоли некоторых отживших эмоций; они связаны со всем инвентарем культуры, а он хрупок,— не рожать же заново своих Эдисонов и Ньютонов. И еще, чуточку сомневаясь — понятно ли это Федору, говорил, как страшно в культуре непобедимое давление мертвых.

— Ничего, ты говори... об этом мне все понятно.

— ...и я выкладываю все это... вот, об осторожности, не потому, чтобы навязать тебе, а для того, чтобы ты опровергнул, если найдешь неверным.

Самым подробным образом он рассказывал о Скутаревском, о его делах и сомнениях, об институте и людях в нем, о путях и целях, к которым движется наука, и, странно, рассказ его носил несколько вопросительный оттенок, точно перед Черимовым сидел человек, способный поставить правильный диагноз. Их разговор затянулся, и вдруг Черимов вспомнил, что хозяину рано вставать,— целые тонны кипящего стекла ждали его поутру. Они вышли на улицу. Все было бело от снега, и потом такая морозная прозрачность наступила в природе, что всякое сказанное слово приобретало здесь ту первоначальную глубину, которой в обычных обстоятельствах не имело никогда.

— ...а где жена-то? — Черимов вспомнил, что не попрощался с Федькиной хозяйкой.

— У нее курсы вечерние. Хочет конкуренцию тебе делать,— засмеялся Бутылкин. — Смотри, снег-то... на таком плясать хорошо, а?

— Я бесконечно рад, Федька, что увидел тебя... твою рожу с этим пятном от раскаленной брызги на щеке, с этим жел-

ваком на обожженных пальцах. А у меня, смотри, руки совсем белые стали.

— Со временем у всех белые будут, отмоем. Тут тебя старик Топырев вспоминал.

— Что ж ты его не позвал нынче? — оживился Черимов.

— Да нет, он помер... Вот, старики уходят, и мы становимся в первую шеренгу... жутко и весело, жутко и весело. Надо глядеть, Николай... но ты вали, действуй: мы тебе верим. — И вдруг в сторону: — Черт, звезды замечательные какие... Жутко и весело!

Черимов возвращался пешком; трамваи уже отправлялись в парки. Ему было жарко, необыкновенно приятно по любому поводу, даже немножко мучил избыток возникающих сил. Пола его распахнутого пальто чертила длинную линию по снегу, наметенному вдоль заборчика. Он шел и думал совсем о другом: «Хоккей требует времени, придется бросить хоккей, но можно еще заняться лыжами...» Там, в конце улицы, стоял милиционер, и, еще не приблизясь к нему, Черимов уже знал, что у него красивые, крутые плечи и очень симпатичные глаза,— «...если вас не затруднит, пройду ли я этой улицей к институту Скутаревского, товарищ?» — мысленно спрашивал он, и тот отвечал неслышно: «Я вижу, товарищ, вы хватили кагорцу у приятеля на радостях встречи, так что не упадите, сегодня скользко». Проехал грузовик, пыхтя и буксуя на снегу. «О, колеса, бегущие вперед!» — подумал Черимов. Он шел, организатор жизни, и то по-мальчишески скользил на обнаженном льду тротуара, то останавливался и подолгу глядел на собственные следы на снегу. Яркий электрический свет делал их выпуклыми и сверкающими; поистине они были великолепны и значительны, следы человека, который идет.

ГЛАВА 10

Радость Скутаревского по поводу появления Черимова в институте носила несколько показной оттенок. Нетрудно было при более тесном соприкосновении разглядеть в новом заместителе скрытое упорство при проведении определенных целей, которые внешне прикрывались полным подчинением научным — и как будто не только научным — установкам директора. Кое-что из слухов уже дошло до Сергея Андреича, и втайне он опасался, что могут прислать еще более строптив-

вого. Поэтому он и не торопился вводить Черимова в курс своей личной работы, которую почитал последним своим, перед закатом, свершением. Она держала его подобно железному каркасу, не давая стариться или уставать или сгибаться перед препятствиями; он продолжал вести ее в сотрудничестве почти только одного Ивана Петровича. Новому заместителю была известна, разумеется, тема работы, которая в связи с темпами развития народного хозяйства требовала особой срочности для своего разрешения. Она была почти невероятна; ее осуществление произвело бы величайшую перестройку в системе транспортирования энергии, да и в роли самих энергетических баз, но она поглощала лучшие научные силы и, почти целиком, бюджет института. Первым черимовским заданием было застраховать ее другой, параллельной работой. Уже через несколько месяцев пребывания в новой должности он поставил в высших инстанциях вопрос о постройке опытной линии высокого напряжения; он знал, ему не откажут. Наверняка осведомлен был об этом и Скутаревский и рассматривал такое начало черимовской деятельности как намеренное распыление сил.

Кроме сравнительно мелких вопросов — об изоляторах, о трансформаторных маслах, о проблемах кабеля, управления при помощи реле,— институт был загружен основной работой по передаче сверхмощных напряжений; огромный портрет Ленина, вдохновителя великих дел, висел над самым столом Скутаревского. Дело касалось использования удаленных топливных бассейнов и тех десятков миллионов киловатт, которые бесполезно, гремучей пеной бегущих вод исходили зря на дикостных реках Сибири; конечно, только прямое осуществление темы Скутаревского могло оправдать название института, сверкавшее белой эмалью на широких, строгого стиля воротах. Уже начавшаяся проектировка высокомощных советских гидростанций, весьма превышающих мировые образцы, с новой силой поднимала в энергетике вопрос о способах электропередачи. Неудачи в области борьбы с потерями, неминуемое явление перенапряжения, ряд специфических затруднений с передачей постоянным током, неминуемых для тогдашней даже передовой науки, толкнули Сергея Андреича искать выхода другими путями. Черимовские опасения были основательны; по прямой аналогии дело обстояло так же, как если бы человечество, минуя все промежуточные ступени в развитии машиностроения, сразу шагнуло бы к современному аэромотору от

неуклюжей уаттовской машины. Определяя вчерне и по слухам, не проверенным вполне, тема Скутаревского заключалась в практическом разрешении передачи энергии без проводов.

Безыменный сибирский краевед придал этому делу надлежащее ускорение; именно он прислал в некое советское учреждение большое, о двенадцати страницах, письмо,— к посланию прилагался отрывок школьной карты, по которому синей венозной жилкой протекал Енисей. Крохотный кружок — Елтуска, не то бывший казацкий острог, не то безвестная стоянка утлых рыбацких посудин, имел тоненькую приписку красными чернилами: здесь и строить. Судя по образной объяснительной записке и густоте горизонталей, сделанных от руки, тут смыкались два высоких массива, и в промоину между них, свиваясь в водовороты и жгуты, бежало текучее Енисеево тело. Место и прельстило госплановского корреспондента. В те времена хозяйственные центры еще не имели точных характеристик советских рек, а краевед вдобавок обещал выслать дополнительные свои сорокалетние наблюдения за режимом реки, точную кривую колебаний ее уровня, и это не могло не повлиять на выбор места в случае благоприятного решения. Даже по присланному клочку можно было заключить, какое значение для края будет иметь постройка мощной гидростанции на указанном месте. Оного краеведа искали, слали письма, и по последней справке выяснилось, что есть то бывший механик, местный ссыльный старожил, пятидесяти восьми лет, женат, налог уплачен, в предосудительном родстве не замечен, торговлей не занимался, в профсоюзе состоит...

Получив нагоняйное разъяснение, ездили тамошние портфельные люди совместно с краеведом на Елтуску, варили уху, любовались суровыми енисейскими красотами, а помолодевший краевед пел прямо как птаха лесная. Сиверко было, ветер вскидывал распластанных чаек, и еще круче вздувались за поворотом тучные многожильные мышцы реки; кстати, разъяснил старик на радостях, что, вопреки утверждениям ученых-лингвистов, самое слово Енисей принадлежит к языку одного давно исчезнувшего племени, помянутого лишь в летописях Рашид-Эддина, и означает — дорога к мужеству.

— Записывайте, прошу вас... — крикливо приказывал этот фантастический бородач, и седина его, отметенная назад обрывным ветром, была того же енисейского отлива. — Записывайте: напор от девяноста до двадцати пяти, расход до тысячи

кубометров в секунду и даже у истока не понижается меньше трети. Имейте в виду, огромное внутреннее море отлично регулирует поступление воды, прошу вас.

Грунт вулканический, мощная полоса трапов. Высота правого берега, прошу вас, тридцать метров, ширина пролета — полтора километра, записывайте. Сел вокруг нет, затопляй хоть на двести километров, воздух приятный, вид подходящий, прошу вас... — И странно его горловой, несколько неприятный голос, каким обычно купцы в самозабвенье расхваливают свой товар, раздаваясь на тысячи километров вокруг, погоняющим эхом отдавался в ушах Скутаревского.

Кроме политического — смысл стройки заключался в дешевой, по полкопейке за киловатт-час, энергии для соседнего завода высокосортной электростали; щедрые черные руды, алуниты, каменная соль, леса — вдоволь всего натыкано было поблизости. Самое слово соседство следовало, однако, понимать в сибирских масштабах. До Малой Рютинки, где предполагался завод, лежало северной тайги километров шестьсот, да еще кочкарника столько же, да еще неопределенного пространства восемь дней пути. При этом высчитали, что, даже включая стоимость столь дальней передачи, законная норма энергии обойдется дешевле, чем одна доставка тонны самого ближнего угля франко-завод. Тут начинались всякие технические дебри; принимая в первом приближении, округленно, по тысяче вольт за километр, линия, при всех ухищрениях, должна была иметь напряжение не менее восьмисот тысяч вольт. Вопрос о кабеле на такое расстояние отпадал сам собою, да вдобавок и не были еще построены соответственные механизмы. А ввиду того, что таких проблем насчитывалось уже с полдюжины, работа Скутаревского принимала характер крупнейшего общественного явления, и ни одному златоискателю так не захватывало дух от огромности представавшего богатства.

— Мы недостаточно смелы,— сердито бурчал Скутаревский, когда разрешение на опытную линию было получено; он догадывался, что Черимов вступил в блок с верхним этажом, где работал Ханшин со своими учениками. — Я понимаю, зачем вам это понадобилось. Это трусость, милейший Александер Петрович. Я сам уже смеюсь над тем, как это было легко, вы постигаете? Это носится в воздухе, разработку этого вопроса в Европе задерживает кризисная конъюнктура.

— Вы работаете на вечность,— строптиво упирался Ханшин.

— Чушь, я работаю на Енисейку! — Именно так обозначалась в интимных разговорах будущая станция на Енисее.

Ханшин умолкал; на его стороне была достаточная часть сотрудников института, и моральная поддержка их давала ему право на такое несговорчивое молчание. Он также промолчал, когда в учреждении был введен почти деспотический распорядок,— сторож у ворот не смел назвать своей фамилии; и если не случалось протестов или даже прямого бегства, то лишь оттого, что самая работа в этом институте содержала в себе высокую научную честь. Выходных дней Сергей Андреич себе не позволял и, сказать правду, с удовольствием лишил бы их и своих сотрудников; все чаще по гулким коридорам слышался рассыпчатый грохот его брани, он нервничал и подстегивал всех; видимо, к концу подходила его работа. Но смысл теперешнего ханшинского молчания был совсем иным,— он видел, как это из громадной научной проблемы становится личной драмою Скутаревского.

— ...посмеются потомки. Поймите, пóшло и оскорбительно,— твердил он,— тянуть медную проволоку на полторы тысячи километров, когда силу можно передать в одно дыхание, в одно дыхание!

Черимов тоже молчал; о потомках он слышал не впервые. Сложный затянувшийся процесс происходил с его учителем, и он не знал, что на секретном душевном языке Скутаревского имелся специальный термин для него — гора. Тем более стоило вдуматься в жизнь этого удивительного чудака. Большая часть его дня тратилась в лаборатории, остаток делился поровну между лекциями и сном. Вместе с тем он успевал побывать на заседаниях, чтоб прокричать свое мнение о недостаточности темпов, и на электрозаводе, где по его чертежам изготовлялись газотронные выпрямители для предстоящего опыта. Зачастую он возвращался домой за полночь; остылый ужин, накрытый салфеткой, ждал его на столе; он съедал эту домашнюю преснятину стоя... Черимов слышал также, что иногда, не чаще раза в месяц, к Скутаревскому заходил Геродов, ближайший его помощник, правая рука в той работе, которою Скутаревский собирался вернуть государству свой долг. Он приходил с черным, необыкновенной формы, футляром, и тогда в особенности плотно замыкались стеганые занавеси, а Анна Евграфовна торопилась уйти из дому. Сер-

гей Андреич снимал со стены фагот и на стульях, по-домашнему, раскладывал нотные тетради. Из футляра вылезала выгнутая, подобная чудовищной улитке валторна Геродова. Старики устраивались молча; потом одновременно надувались щеки, и грозная игра эта начиналась. Усердно, в четыре руки и в два рта они играли обычно старинную бытовую музыку, преимущественно немцев семнадцатого века, простенькие, как ситчик, тирольские танцы или бурные охотничьи песни; так в Чехии когда-то упражнялись бродячие музыканты, суматошно, шумно и от всего сердца. Это была вторая по счету дружба Скутаревского, и то, что вначале представлялось почти неестественным, теперь стало приятным для обоих: туманен музыкальный язык. Игра велась с передышкой по четверти часа.

— Я буду ругаться с заводской администрацией, Иван Петрович,— говорил Скутаревский, продувая фагот. — Не следовало брать шефства над институтом, чтобы угощать такой скверной продукцией... кстати: кривизна зеркала, по-моему, чрезмерна...

— Я довел ее до тридцати,— откликался Иван Петрович, переворачивая нотный лист. — С заводом ругайтесь, конечно: у нас без ругани не уважают. Мне кажется, Сергей Андреич, не плохо было бы еще раз повторить опыт Пусье.

Еще целых полчаса шло их музыкальное заседание или скорее соревнование инструментов. Валторна вздыхала, и не зря: она уходила из жизни, как романтическое ощущение действительности; фагот хихикал и пищал,— он еще оставался как ехидный и злой гротеск, полезное оружие в эпоху социальных завоеваний.

— Мне надоели эти простоватые опусы,— провозгласил однажды Иван Петрович. — Мы бубним дрянно, как балалаечники на балагане. Мы не пошли дальше Гайдна, как в политике, черт возьми, наша публика не пошла дальше Керенского. Пора нам, Сергей Андреич, сыграть нечто всерьез, вкрупную, более достойное нашего житейского опыта и страданий. — Здесь он сделал внушительную паузу. — Воистину, вы играете на драндулете, а я на прямой кишке. В следующий раз я попробую достать и принести скерцо Прокофьева для четырех фаготов; недостающих я приглашу из одного оркестра. Попробуем... — Ясно, только между истинными друзьями могла возникнуть дерзость такой рискованной пробы. — Между прочим, приехал один замечательный пианист... Петр Евграфович собирается затащить его к себе. — Потом личико Ивана Пет-

ровича приобретало вдруг некое лисье, выпытывающее выражение: — Кстати, Арсений Сергеевич дома сейчас?

— Арсений пошел к одной даме; кажется, она дает ему уроки французского языка... — И намекающе подмигивал. — Ну, меня что-то в сон клонит...

Так, балуясь, они обсуждали вопросы музыки, техники, политики и половой морали, все сразу. Безоблачный день этой занятной дружбы совсем не предвещал довольно сумрачного вечера. Иван Петрович уносил свою валторну, а Сергей Андреич, если было поздно в театр, посвящал остающийся час перед сном — прогулке; машиной он правил сам, это было его последним увлечением. Так уж установилось, ехал он наобум, не справляясь заранее с маршрутом или программой, и оттого казалось, будто на ощупь ищет какой-то своей удачи.

В том же слякотном ноябре выдался один в особенности пасмурный вечерок. Скутаревский злился; в расчетах напряжения оказалась путаница, и усилитель не пропускал определенной полосы частот. Наступили сумерки. К драндулету не тянуло. Шофер довез Скутаревского до театра; в оперу был у него абонемент. Место свое он отыскал, когда занавес уже поднялся; шел второй акт. Опера была ему знакома со студенческих лет, и одной арии, сделанной из легкомысленных державинских стихов, он даже привык подпевать. Он сидел и рассеянно думал о совсем другом; из ложи был ему виден курносоватый виолончелист в оркестре, и Сергей Андреич нечаянно сообразил, что курносоватый играет, в сущности, на логарифмах... должно быть, он имел в виду те сложные математические соотношенья, на которых строится фортепьянная клавиатура. Мысль понравилась ему; ему захотелось представить себе, какая получилась бы музыка, если бы изменить основание логарифма. Вряд ли можно было отнести к эстетике этот прямой рефлекс его профессии; но очень часто он даже Вагнера, любимого композитора своего, воспринимал именно так, математически, как трагическую, полновесную формулу бытия. Совсем легонько, вполголоса, он стал напевать диковинную, впервые им придуманную музыкальную фразу.

— Это вы мне? — возмущенно спросила дама рядом, очень длинная женщина.

— Нет, я себе,— сдержанно буркнул Скутаревский.

Аплодисменты посреди акта прервали его теоретические занятия; он стал глядеть на сцену. Происходила как раз музыкальная история с графиней,— Сергей Андреич сравнивал

это удивительное по мастерству и физиологической выразительности место лишь со вторым актом «Золотого петушка», когда Додон поет чижика. Фаготный лейтмотив старухи перекрывал все оркестровое звучание. В иное время это вызвало бы у Скутаревского громкую усмешку, но теперь ему не нравилось все — от этих зашитых в парчу щеголей до фальшивой и неопрятной позолоты театра. Конечно, спектакль был прежде всего трудовым процессом, и Сергею Андреичу сегодня никак не удавалось забыть, что все это члены профсоюзов, получают по разряду, имеют жилплощадь в жактах, страдают от жен, катаров и самоуправства домкомов... только этим можно было объяснить, что вдруг в придирчивом мнении Скутаревского на целых четыре такта отстала медь. Удовольствие, таким образом, выходило слишком популярным; Сергею Андреичу стало не по себе, он заворочался, и —

— Скажите, кто поет Германна? — спросила длинная, очень длинная дама.

— Здешний председатель месткома,— благожелательно ответил Скутаревский.

— Благодарю вас... — И с ненавистью посмотрела на неспокойные руки соседа.

Злость не проходила; веки отяжелели; сумасшедшие ветры в этот вечер сталкивались на его душевной горе. Неожиданно он поднялся и, наступив на ногу длинной, очень длинной даме, пошел вон. Он почти презирал дирижера за самовольную нюансировку, которой никогда не писал композитор; вдобавок тот огрублял текст, преувеличивал темпы и местами допускал понижение баса на целую октаву. К черту театр,— поездка за город на хорошей скорости представлялась ему теперь куда полезнее. Пожилой человек в раздевальне с уважением подал ему пальто. В коридорах гудели вентиляторы, и крик из зрительного зала походил на предродовой. Сергей Андреич застегнул пальто. Ненадежный еще снег сменился надоедным осенним дождичком. Мостовые блестели, неисчислимые огни отражались в обширных, неопрятно мокрых плоскостях площади. Ночной город слабо гудел,— то была реторта, в которой никогда не затухало пламя, то есть жизнь, то есть необъяснимое электронное клокотанье. Это было настоящее, и картонные, на столярном клею, малахиты во дворце престарелой графини представлялись убогими перед глубинами неподдельных каменных кулис, перед громадами растворенных во мраке зданий, перед небом, сделанным прочно и

всерьез из добротных и клубящихся облаков... Сергею Андреичу почудилось, что в такую-то ночь и может произойти с ним желанная и обжигающая необыкновенность.

Он отпустил шофера, женатого, положительного человека, и сам вступил во владение рулем. По одному виду, с которым Скутаревский коснулся рычагов управления, Алексей Митрофанович понял, что если не случится беда покрупнее, то в эту ночь профессора непременно оштрафуют. На всякий случай он попытался влезть на сиденье рядом.

— Езжайте домой. Трамвай за мой счет. Вас накормят. Машину доставлю сам.

— Заносит шибко, Сергей Андреич: мокро. — Боязнь за машину была уместна: уж он-то знал хорошо, что штучки Скутаревского не доведут до добра. — Может, закрыть машину?.. не газуйте только!

— Мерси,— скрипнул тот и разом запустил мотор.

Его рвануло, и потом началось это. Провожаемый руганью прохожих, он быстро миновал центральные улицы. Ближе к окраине, где уличное движение почти замирало к ночи, он дал на пробу большую скорость. Мотор работал исправно. Город снижался и тускнел, брусчатка сменилась булыжным горбылем, домики мелькали и мельчали с каждой минутой пути, стало больше деревьев, и запахло картофельной ботвой, автомобиль качнуло на колее, и потом началось ровное шоссейное гуденье. Он прибавил свету в фары и газу в поршни, мокрый ветер с удвоенной силой хлестнул ему в затылок. Поля жидкостно заструились мимо, вещество их стало совсем другое, стекло запотело, и, хотя дождик перестал, крупные капли измороси продолжали стекать со шляпы за воротник. Скользкий летящий мрак охватил его, и так успокоительно было смешать с ним свои собственные сухие ненасытные сумерки. Он улыбнулся, то есть рот его стал тверже, тоньше и длинней.

— ...сделайте столько же, как мы! — непостижимо кому крикнул Скутаревский, и ветер тотчас искрошил его жалобный и вовсе не дерзкий вызов.

Мысли шли отрывочно, возникая по мере того, как выпрямлялось и не требовало повышенного вниманья шоссе: раскатанный влажный глянец гудрона любое мгновение готов был вздыбиться стеной и рухнуть на Скутаревского. Мысли шли приблизительно так: «Полет, вот естественное состоянье человека, все остальное — лишь кощунственное отступление от нормы. Умирать надо в полете, вбегая в первоначальное ве-

щество и растворяясь в нем без остатка. Иван Петрович все-таки остаток вчерашнего еще в большей степени, чем он сам; странно, почему он напутал в расчетах ртутников и так откровенно соврал тогда, в принципиальном споре, относительно даты умовской смерти. Конечно, весь его энциклопедизм — дутый.

И, черт, почему он так подло трусит смерти? Со временем, разумеется, его заменит... Черимов?» И вот оно назвалось наконец, это слово, заслонявшее от него мир. Только ученик! Но как молодо и страшно звучит это рядом с беззубым и тяжеловесным названием старости — у ч и т е л ь. Он увидел себя со стороны — смешным, как на линялом дагерротипе, в длинных, гармошкой, брюках, в футлярного покроя сюртуке, в скрипучих резинковых штиблетах; и рядом — Черимова, хваткого, молодого, почти звереныша; в его сердце, как в кожаной кобуре, наглухо запрятан партбилет; он знает, зачем дано ему присутствовать в мире; он имеет идею, и если даже самый счастливый шаг не направлен к ней хотя бы по кривой, он не делает его вовсе; он имеет право говорить, прячась в броню всегдашней улыбки,— о, стареющую славу Скутаревского еще не постигла глухота! — «Старик ворчит, старик учит, старик спешит... ему осталось мало». Мало, потому что и тысяча лет — нищенская доля для освоения этого мира. Он-то хорошо знал, Сергей Андреич Скутаревский, что лишь тогда и потянуло его спускаться с горы, когда почувствовал свежесть и жадность новой, идущей ему на смену расы. Так вот он, этот новый Фарадей, благожелательный, сдержанный и скромный подмастерье. Что ж, каждый призван когда-нибудь сыграть смешную роль Сальери, Дэви или Саула. — Из мрака вынырнул громадный воз сена; возница не проснулся от гудков; Скутаревский едва успел выпрямить рванувшуюся на сторону машину.

Здесь шоссейный настил был еще свеж; громко забрызгали в крылья камешки из-под колес. Блуждающий свет фар пролиновался потоками мелкой, бегущей под колеса щебенки. На переезде через линию сияли мутные, как бы ватные, луны фонарей; продолговатая тень машины метнулась мимо, и, точно стремясь настигнуть ее или ветром разодрать себе лицо, Скутаревский пустил на предельную скорость. Ветер запел в ушах вровень нижнему д о на драндулете. Хлястик воротника больнее забился в щеку, свет заколыхался впереди, бензин взрывался и стучал,— еще толчок, и машина разотрется о воздух. Ученик был прав, учитель торопился, но не потому, что

догоняло сзади, а потому, что ждало впереди. Он почти не сбавил скорости на повороте,— нравилось ему изредка подразнить судьбу,— и когда в прыгающий пучок света попал безликий, точно из бумаги вырезанный силуэт, он не успел... Стремглавое, свистящее пространство прорезала чья-то выкинутая рука, и визг мокрого щебня достиг его ушей. Шла ночь,— можно было, притушив задние огни, мчаться дальше и впотайную вернуться в город другой дорогой. Остановясь вдалеке, не выключив мотора, он бежал назад, суматошно разметая ветер руками. Несчастие было очевидно; в минуту встречи ему почудился крик; по-видимому, он задел кого-то крылом. Он бежал и все старался вспомнить адрес ночной больницы, мимо которой однажды проезжал.

Женщина сидела на краю шоссе и растерянно глядела на бегущего человека. Когда он приблизился, она уже выбралась из шоссейной канавы. Она была жива, все обстояло благополучно, следовало возвращаться домой. Чиркнув спичкой, он оглядел свою жертву: «шатаются тут по шоссе». Вспышки хватило на мгновенье, но он успел рассмотреть, что это была девушка, вначале она показалась ему старше. Девушка — это было для него понятие чисто возрастное; уж он-то знал, что девушек вообще не бывает. Мешковатая, сконфуженная робость сквозила в движеньях, которыми она отряхивала с себя слякотную грязь. Лицо ее было очень простенькое; губы еще не сформировались в нем; брови виновато вскинулись на лоб: верно, ей хотелось плакать...

— Я вас ушиб?

Голос его звучал грубо, почти враждебно; он уже раскаивался, что задержался зря.

— Нет, я упала. Я сама упала. Я испугалась... это ничего. — Она могла бы прибавить, что у нее от слабости закружилась голова, когда понеслись из-за поворота стремительные солнца фар.

— Куда вы шли?

Неопределенно она кивнула вперед, на дорогу:

— Туда, в город.

Скутаревский возмущенно пожевал губами; действовала первоначальная инерция испуга. В конце концов, ему никогда еще не доводилось подшибать девушек.

— Нельзя же так... ходить. Ладно, я вас подвезу. Есть у вас какой-нибудь чемоданчик?.. Давайте, я не украду. — Он

удивился: — Нету? Тогда идите за мной так. — Он с раздражением обернулся: — Да не отставайте же!

Она подчинялась сразу; она шла несколько позади. Снова пакостный мелкий дождик замигал в глаза. Скутаревский усадил ее рядом, за стеклом здесь меньше дуло. Потом хрустнула какая-то педаль, они помчались. Тотчас за перелеском шоссе выпрямлялось на многие километры; Скутаревский сидел недвижно, положив на руль огромные, в черных рукавицах руки. Он ехал и думал: «Конечно, ее обидел любовник, прораб с местного строительства; у него пестрые усы, мокрые сапоги и длинные руки». Потом ему стало стыдно такой догадки,— девушка была моложе. «Наверно, выгнал отец, у него в провинции домик, курятник с целым выводком цыплят. Папаши и детки, старая история. Завтра она нажалуется прокурору, папашку вышибут со службы, и прораб будет ходить к дочке, уже не опасаясь наследить в комнате». Это ему тоже не понравилось, а третьего варианта он пока не видел. Он поерзал на сиденье, но молчал. Разглядывать ее или расспрашивать — в каком профсоюзе состоит, кто, почему, по которому разряду получает — было все равно что деньги требовать за провоз.

На линии, пока ждали прохода поезда, он впервые, искоса, взглянул на нее. Автомобиль вплотную упирался в полосато раскрашенное бревно. В ярком свете фар видно было, как на нижней его стороне тяжело ходят, срастаются и падают вниз крупные капли измороси. В отраженном свете лицо девушки почти флуоресцировало. Она была стриженая, губы строго поджаты; на мелких кудряшках, выбившихся из-под мужской кепки, искрилась ночная влага. Девушка дрожала, одетая в непромокаемое пальто — особый сорт быстро намокающей ткани; дрожь ее он чувствовал плечом. А поезд шел нескончаемо, товарный, и вез он, должно быть, какую-то неспешную зимнюю кладь.

Скутаревский коснулся ее мокрого рукава и отдернул руку,— кажется, это превосходило меру допустимой вежливости.

— Вы озябли?

Она вздрогнула и наугад стала шарить ручку дверцы. Он громоздко удивился:

— Куда вы?.. Я спросил только — вы озябли?

— Я... устала.

Потом шлагбаум поднялся, и капли струйкой побежали вниз. Машина рванулась дальше, к мутной короне зарева, поднимавшейся из-за округленных куп. Больше они не перемол-

вились ни словом до самой заставы. Город приближался не сразу, но зато неотвратимо, как судьба, и сперва мимо тащились грузовики, целый обоз, громово сотрясая промозглую, пустынную тишину. Скутаревский выждал, пока позади затихли рев и дребезг этих ночных, чернорабочих моторов.

— Ну... вам какая улица?

Опять она заторопилась, точно ее гнали, и неумело, на всем ходу, стала открывать дверцу:

— Мне тут... Я тут спрыгну. Тут недалеко...

Скутаревский сердито затормозил машину; ему хотелось прикрикнуть на спутницу, беспомощность которой стойко сопротивлялась его злости.

— Номер дома-то вы, по крайней мере, помните?

Она смешалась окончательно:

— ...не то сорок семь, не то семьдесят девять. Я помню: семерка. — И вдруг прибавила совсем по-ребячески: — Все равно, вы только не сердитесь... я тут и слезу.

Скутаревский подумал так: «Я дурак с вислыми ушами, я собираюсь бросить на улице сшибленного... и, да, да, изуродованного человека!»

— Надо же знать адрес, по которому идешь в жизни. Но слушайте... — Он прислушался к самому себе: третий раз на протяжении этого месяца заставало его такое сердцебиение. — Слушайте, как вас там?.. У меня в квартире есть кушетка, на ней никто не спит, без клопов. Я не жулик, я старомодный, высокочтимый дед. Взгляните на меня, каков я... Я даже, говорят, похож на кормилицу, черт возьми... Да вы слушаете меня? — Она глядела куда-то в сторону. — На улице спать нельзя, вы умрете, и потом — милиция. А завтра — пожалуйста, ищите в жизни свою семерку.

Кажется, ей было уже безразлично, куда и зачем ее повезут:

— Да...

Рывок автомобиля усадил ее на место. Задерганный мотор рычал; Скутаревский вел его на полном газу и вдобавок усердно притормаживал,— покрышки то и дело визжали на голом камне. В несколько крутых и бешеных виражей — тут улицы спирально поднимались вверх — он достиг дома. На гудок выбежал шофер — посмотреть, что за беда приключилась с хозяином. Скутаревский пропустил девушку вперед; еле заметно она прихрамывала. Молча они поднимались по лестнице. Давая ей ночлег, он вовсе не был обязан занимать ее разговором. Види-

мо, она прежде него почувствовала ужасающую двусмысленность их молчания:

— ...это на котором этаже?

— Скоро. На четвертом. Ползите.

Они вошли тихо, крадучись, как воры. Была ночь, на всю квартиру хозяйственно тикали часы; изредка в краснодеревом футляре поднималась озверелая возня: не подслушиваемые никем, минуты грызлись,— которой первой отметить самое чрезвычайное, на протяжении десятков лет, происшествие в доме Скутаревского. У сына горел свет. На шорох он вышел сам, без воротничка, с зеленым козырьком над глазами.

— А, это ты! — И, мельком, но зорко скользнув по спутнице отца, ушел к себе; глаза его по-библейски были опущены вниз.

В столовую Сергей Андреич почти втолкнул ее и жестом показал на диван, на котором предстояло ей спать.

Он даже потыкал кулаком в обивку, мягко ли; было мягко. Потом он отправился к жене, где помещался обширный бельевой комод, обрюзглый символ семьи, христианского государства, вчерашнего дня. Выдвинув ящики, он небрежно, по-мужски, потрошил их, комкая крахмальные тряпки и раскидывая по креслам; впервые он заявлял права на этот пузатый предмет, которого всегда чуждался. Жена проснулась; она увидела Сергея Андреича за необычайным для него делом; она спросила леностно:

— ...что тебе?

— Простыни. Всегда ты их запихиваешь на самое дно!

Спросонья она не поняла его раздражительного тона. Сергей Андреич испытывал великое смущение; слова не отлипали от его губ, а язык стал неповоротливым и полосатым, как давешний шлагбаум.

ГЛАВА 11

В институт он уехал в обычное время, жена еще спала; он вообще приходил на работу первым. И сразу, едва вошел под гулкий купол, где ждали его макеты будущих чудес, забыл все, что произошло накануне. Вспомнил только к полудню, вспомнил случайно, когда увидел красные иззябшие какие-то руки курьерши, подававшей ему чай. Теперь забвенье давалось ему не так легко; он выжидал целый час, пока утих-

нет, но не утихло: он позвонил домой. Голос жены, более испуганный, чем оскорбленный, сообщил, что девушка ушла рано утром, совсем неслышно, и не возвращалась. Она заговорила об этом сама, прежде чем Сергей Андреич успел выдать себя вопросом. К телефону поминутно кто-то присоединялся; Сергей Андреич слышал в трубку басистое шипение, и потом ещё порхающие женские радиоголоски надоедно щебетали на проводе. Скутаревскому так и не удалось расспросить про обстоятельства ее исчезновения.

— ...но в квартире все цело. И даже масло в буфете осталось нетронутым! — торопилась порадовать жена.

— А ты... ты не гнала ее? — тихо спросил муж.

— Я даже не видела ее. Мне только Сеник сообщил... — очень раздельно, как будто задумываясь, сказала жена, и тут их разъединили.

Тоска сомкнула ему губы: а что бы мог сообщить своей родительнице этот так называемый сын? У него могли возникать лишь догадки, и ясно, одна возмутительней другой. Так представлялось на первый взгляд: он привел женщину ночью и даже не посмел познакомить ее с сыном; он очень старательно закрывал ее от Арсения собственной спиной... было о чем подмигнуть: старик заиграл, старику захотелось с толком прожевать остатнюю порцию жизни; и, уж конечно, гайки в нем пооcлабли, вещество разума подоржавело, если не постеснялся ночью тащить с улицы в собственную семью эту тощенькую добычку. Арсений, при его взглядах, наверно, даже и не осуждал: «Все мы станем старичками, все мы плотоядные». И вот Сергей Андреич вспомнил, как, стоя с девушкой на площадке лестницы, он постыдно долго искал ключ, затерявшийся между листками записной книжки; как трепетал от мысли о его потере, потому что первою на ночные звонки просыпалась жена; как испугался появленья сына и каким недобрым взором проследил его уход. Так, постепенно разогревшись докрасна, он наконец ожесточился на самого себя: чего именно он опасался? Преждевременных упреков, бесконечных, тусклых объяснений или, наконец, той скандальной словесной плесени, которая неминуемо вспучится вкруг его имени? Но разве он обокрал ребенка или прелюбодействовал, как ливрейный хам под каретой у барина?.. Должен же был произойти когда-нибудь этот запоздалый бунт, и, по правде, уже вводя незнакомку в дом, он уверял себя, что приготовился ко всем последствиям.

А они уже потянулись: Сергей Андреич у всех замечал улыбки, ибо принято улыбаться чужому удовольствию. В его догадке не было ничего невероятного,— шофер, как человек обстоятельный, всегда был не прочь в подходящей компании обсудить своего хозяина. Сплетничал же он Сергею Андреичу про Ханшина и юркую, под вуалькой, дамочку, которая в заключение пошлого анекдотца оказалась собственной ханшинской женой. Именно теперь где-нибудь в раздевальне могли строиться коллективные домыслы относительно его приключения на загородном шоссе. Что ж, пускай: необыкновенность может случиться даже с извозчиком. И вдруг, отодвинув в сторону расчеты аппаратов, которые сегодня не удавались никак, он отправился в обход по лабораториям института: такие обходы случались сравнительно редко и почти всегда предвещали грозу. Он шел тихо — мимо длинных измерительных столов, мимо черных, сталактитного вида цилиндров, в которых таинственно преобразовывалась энергия, мимо шипящих проводов и оранжево светящихся ламп. Его встречал низкий гул машин и почтительный шепот людей, безыменных участников его славы; судя по ведомости на зарплату, которую подписывал вчера, количество их за один месяц увеличилось еще на сотню. Все отличалось отменным порядком, и пружине, натуго закрученной разговором с женой, не на чем было расхлестнуться.

Он вошел в длинный, коридорообразный зал и задержался у входа. На подоконнике сидел молодой человек в свитере и энергично жевал пустую булку; он был розов, в прекрасном настроении и располагал, по-видимому, превосходным кишечником. Сергей Андреич приблизился, и тогда тот вскочил навстречу.

— Что у вас тут делают?

— Завтракают...

Скутаревский кашлянул и строго взглянул на часы-браслет: было восемь минут сверх полдня.

— А в свободное время?

Тот смутился:

— Работа специального назначения, Сергей Андреич.

На самодельном постаменте стояло сооружение, конструкция которого зародилась однажды в голове у этого слишком молодого человека. Солнце, минутное, расслабленное, ноябрьское, вступало в широкое окно лаборатории, и темная, чуть

в лиловость, тень аппарата причудливо рисовалась на известковой стене.

— Да, помню. Объясните... — приказал Сергей Андреич. — И прожуйте сперва: вы расходуете хлеб на мой пиджак.

Тот скомкал булку в кулаке:

— Начало вы знаете... только вот здесь я несколько перестроил. Вольфрам тут сгорает без остатка, а температура его плавления...

— Да, три тысячи. Дальше.

— ...а так как пары вольфрама не проводят тока...

— Ага, понимаю. Вы способный малый, берегите кишечник... — усмехнулся Скутаревский и, довольный, двинулся дальше.

Не останавливаясь, он прошел насквозь несколько лабораторий. В лаборатории длинных линий производился расчет Большого Кузнецка; в малом высоковольтном происходил дождь,— шло изучение масляных контактов; в конструкторской чертили секретный, в самом первом варианте, прибор.

— Ну... — сказал Сергей Андреич, подходя.

— Вот делаем автоматический осциллограф,— начал заведующий.

— Это для электрозавода?

— Да. Мы все-таки отвергли французскую схему. Они ставят один бачок, вот здесь, потом раструб, потом второй... секцию на секцию... но вот насосы бьются, стекло. Похлопочите, Сергей Андреич. Стеклодувы не поспевают, ждем по неделе...

Скутаревский взглянул в лицо заведующего; тот волновался, и какой-то нервик дьявольски пульсировал у него под глазом.

— Пустяки,— сказал Скутаревский. — Я видел у Эдисона ответственнейший прибор, сделанный из гвоздика и веревочки. Понятно?

Тот дрогнул и закусил губу:

— Гвоздик и веревочка?.. во всяком случае, этого вполне достаточно, чтоб повеситься! — И нервик снова забился, точно его пощипывали.

— Потрудитесь не острить в моем присутствии. Я человек тупой, знаете, без юмора... — и шел дальше.

Он спустился в монтажный цех. Те же безвестные люди в синей прозодежде, верные спутники величавой кометы, кропотливо собирали механизмы, идею которых Сергей Ан-

дренч десятилетие выращивал в мозгу; пожалуй, это и были его руки, черные, рабочие руки. Он остановился возле одного, и тот заговорил, конфузясь пристального директорского внимания.

— Месяца через полтора закончим монтировку. Часть была уже готова, но Иван Петрович изменил весь колебательный контур.

С поджатыми губами Сергей Андреич наблюдал его старанье —

— ...да вы сделайте тут просто муфту, без всяких присадок, так. Кстати, вы знаете, что именно вы делаете?

Тот вскинул прищуренные глаза:

— Во всяком случае, этим можно убивать.

Скутаревский сказал сухо:

— Да, поскольку всякий наш успех разит врага... даже хорошо пришитая подошва. Я очень прошу помнить это при назначении сроков, товарищ.

Так, после полуторачасовой прогулки по институту, он возвратился в свой кабинет в том же спутанном и сумрачном настроении. Он застал над своим столом Ивана Петровича и ждал на пороге, пока тот его заметит; он пожалел, что вошел слишком рано.

— Вы не помните, куда положен чертеж антенны? Все дело, конечно, в неправильной кривизне зеркала... — смущенно заговорил Геродов; издали очки Ивана Петровича чрезвычайно увеличивали; каждый глаз представлялся размером в четверть лица.

— Откуда вы, такой румяный? Да вы постареете ли когда-нибудь? — Так Скутаревский нарочно прятал в шутку внезапное подозрение, но вдруг пошел напрямки: — Вы хорошо знаете шурина моего?

— Как вам сказать... мы с ним записаны в один и тот же жилищно-строительный кооператив. И мы оба с ним в ревизионной комиссии...

— Будьте добры,— четко сказал Скутаревский,— узнайте у него как-нибудь легонько, между делом, откуда он знает о ходе моих работ. И, кстати, предупредите всяких наших болтунов, которые по старческой нерадивости и немощи моей завелись у нас в институте. Мерси.

Тут позвонили по телефону из правления; говорил сам Кунаев. Он вызывал Скутаревского на срочное заседание. На повестке стояло обсуждение крупнейшего электромашиностро-

ительного комбината. Это было не только выдающимся событием в личной жизни Кунаева, но и происшествием для всей системы советской электрификации; он волновался и торопил. Сергей Андреич так и не закончил своей ссоры с Иваном Петровичем; он вызывающе запер бумаги у него на глазах и уехал немедленно. Как и предполагалось, обсуждение выдалось бурным, в особенности когда дело коснулось мощности агрегатов. Тогда устанавливалась американская мода укрупнять котлы из идеального расчета — по турбине на котел, и в памяти Скутаревского маячила трехвальная чикагская турбина на двести восемь тысяч киловатт. Нашлись, однако, противники гигантизма, и Сергею Андреичу стало где проявить свой темперамент... Повестка вышла длинная, отвращение к прокуренной этой комнате овладело им. Прения вступили в область, чуждую ему: шла общая экспертиза проекта: о заводах будущего комбината, о проблемах транспорта и грузовых потоков,— он от безделья принялся чинить желтый огрызок карандаша.

Широкое окно без занавесей, прорубленное смелым архитектурным приемом, находилось как раз перед ним. Там, за голыми сучьями тополей, падая с зенитной высоты, наступала ночь, и только где-то вдали, на закраинах горизонта еще желтела смутная полоска неба, желтая — как желт по осени тугой гусиный жирок. То был любимый его цвет, кадмий; он напоминал ему о природе, о гусиных перелетах, об охотах, на которые езживал в молодости, о сугробистых перелесках с можжевелиной на опушке, о том жадном, головокружительном волненье, с каким смотрит горожанин на незатоптанные одуванчиковые полянки. Несколько позже, взлохмаченные тоской, образы эти уплотнились в явственные и знаменательные ощущения. Как наяву, он увидал мокрую скамью общественного сада; в стылых зябких лужах смутно дрожали громадные латунные звезды. Скамейки были пусты, и у той, которая сидит на ближней, ознобный ветер ершится в рукавах. В свое время его вовсе не беспокоила в такой мере судьба Черимова, который точно так же уходил от него когда-то в весну и бездомную, нищую юность. Тогда он думал, что это пустяки; всякая зрелость начинается с одной какой-то одинокой полночи,— так в ледяную воду погружают светящуюся сталь. Но была, значит, разница, и в ней заключалась та необыкновенность, которую он знал со всей страстью стареющего человека... Он все чинил карандаш, пока не порезался.

Капелька крови на пальце вернула его внимание к яви. Говорил Петрыгин; Сергей Андреич не заметил, как и когда он появился здесь. Только что в речи его сверкнул отточенный каламбур, и собравшиеся оживились, платя дань ловкому его остроумию. Скутаревскому показалось, что как раз сегодня у шурина в особенности фальшивое лицо,— он изучил достаточно тот пестротный словесный панцирь, в который Петр Евграфович прятал наиболее уязвимые куски своих выступлений. Не дождавшись перерыва, Скутаревский вышел в коридор, к телефону.

— ...не возвращалась? — спросил он, красный как мальчишка.

— Нет... — Жена, видимо, недоумевала, радоваться ей, огорчаться ли мужней откровенности. Впрочем, она прибавила едко: — Если хочешь, я оденусь и покараулю ее у ворот.

— Какая чушь! — и тут же бросил трубку.

Подошел Петрыгин.

— Кто это у тебя сбежал?.. И что у тебя с пальцем? — спросил он весело и не дождался ответа. — Почему ты не заглянешь никогда? Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями...

— Нет, я заеду, пожалуй. Возможно, у меня будет к тебе дело,— отвечая своим мыслям, сказал Скутаревский.

— Вот, вот, заходи. Кстати, я письмо тебе одно прочту от Жистарева. — Это и была фамилия его предприимчивого тестя. — Чудно, мы с тобой при встречах петушимся, а ведь, в сущности, на одно ядро прикованы...

...Отсидев заседание до конца, Сергей Андреич сразу поехал домой, и едва вошел, сразу заглянул в гостиную,— диван был пуст. На пробу он подергал ящик буфета, где хранилось столовое серебро,— ящик был заперт. Анна Евграфовна не любила менять привычки, в особенности если это касалось гостеприимства. В ту же минуту, как нарочно, появилась она сама.

— Слушай, Сергей, я не знаю, куда она ушла. И ты понимаешь, мне неловко было ее догонять... — сказала она почти озабоченно, но он и не пытался опровергать ее подозрений. — Принесли из починки твой... — Она чуть не сказала д р а н д у л е т. — Я повесила его на место. Ты рано вернулся...

— Да, разболелась голова. Три часа в прокуренной комнате. Кстати, теперешний табак, по-видимому, ради экономии мешают с крапивой...

— Ты давно не принимал своего лекарства, Сережа. Ты помнишь о других, но нельзя же до такой степени забывать и о себе. Ты стал очень добреть, Сергей... — В ее интонации это прозвучало как — с т а р е т ь.

Он выдал себя гримаской неудовольствия,— было ясно, о какой болезни она вспомнила. В руках жены уже торчал цветной аптекарский пузырек с грязной полоской рецепта. Лекарство это он принимал полгода назад, когда в особенности дало себя почувствовать многолетнее переутомление. Ну да, она намекала на его возраст, и желтая бездарная склянка выражала весь остаток слабнущей власти жены и семьи. Да, это был рычаг власти, угнетательное орудие, инструмент для подчинения,— он решил всемерно сопротивляться.

— Ты уезжал бы чаще за город... проветриться. Вот ты работаешь, работаешь, а потом тебя арестуют. Ты же болен, ты очень болен...

— Да,— сказал он и, вынув руку из кармана, показал палец, обмотанный платком; кое-где коричневатым темнели на нем пятна. — Я сильно порезался, принеси мне йод и бинт.

Она пошла с неохотой, а он стоял и смотрел на ее пятки в домашних, без задников, туфлях; они были желтые, цвета гусиных плюсен, и такая же тоска загрызлась где-то в ребрах, как в тот бесчестный вечер, когда она пришла просить ребенка и потом накрепко приклеилась к его руке. С тех пор кожа ее огрубела, у нее стали расти усы, милая родинка, из-за которой он проглядел остальное, превратилась во взрослую, с волосиками, бородавку. «Устрица...» — бессмысленно сказал Скутаревский и, во исполнение какой-то необъяснимой потребности, пощупал твердый угол шкафа, у которого стоял. Все оставалось по-прежнему; гипсовые гении равнодушно смотрели поверх его затылка. Им было скучно, ничто не грозило им и, даже в случае победоносного завершения этой смешной трагедии, им пришлось бы только потесниться, чтоб уступить место гипсовому Скутаревскому. Гомер и вовсе завалился носом в угол, и черт его знает, что он вынюхивал там. Из шкафа сквозь запертые дверцы сочился скверный запах... и вдруг Сергей Андреич почувствовал, что если не уйдет немедленно, то ножом или просто камнем с мостовой примется разбивать это дубовое сооружение, чтоб узнать наконец, какая семейная святыня воняет так. Сергей Андреич посмотрел на порезанный палец и смирно двинулся к себе.

Через несколько минут в квартире послышались первые скрипы и глухое, засурдиненное ворчанье. Жена вскинула на нос пенсне и прислушалась. Муж упражнялся на драндулете. Она улыбнулась, и, налив рюмку воды, недрожащей рукой капала туда лекарство,— как много слез, плакучих рек и бесплодных разговоров заменяли собой десять капель этой пустяковой жидкости. На пятой по счету капле она мысленно решила переговорить с Сергеем Андреичем об одной старой персидской миниатюре, которую недавно предложил Штруф. На восьмой она вздрогнула и остановилась, сбившись со счету. Звук драндулета был необычный, и, хотя никого во всем свете не напугал бы он, она прислушивалась к нему с расширенными глазами; такое знал, может быть, только Чайковский, когда в жутких местах своих партитур он нажимает на фаготы. Нечто чешуйчатое, чего втайне боялась все эти тридцать воровских лет, потому что крала, крала ежедневно из Скутаревского, теперь скрежетало и царапалось в ее дверь. Потом оно выдулось через черный, точеный рот фагота; вот оно родилось, оно приняло наконец форму маленького человечка, который существовал, разумеется, только в ее исхлестанном воображении... Генеалогия человечка была путаная; это была смесь из детских розовых сказок и поздних, старческих страхов, беспощадных, как убийцы. Оно имело видимость самого Скутаревского, но в преуменьшенных до карикатуры размерах; оно носило его пиджак, его рыжеватую бородку; его забрызганный веснушками лоб. Теперь оно вышло из комнаты Сергея Андреича, угловато порхая, цепляясь за вещи, которые тревожно звенели, оно подвигалось, оно шествовало со стиснутыми кулаками в направлении ее комнаты, на разгром и разорение ее бесценных фарфоров и хрусталей. И точно в подтверждение, внезапный дребезг посуды за дверью оглушил ее. Она распахнула дверь: горничная с белым лицом взирала на разлетевшиеся по полу черепки.

— У меня гвоздь в каблуке... я об ковер... — бормотала она.

И хотя мадам готова была избить ее жестоко, по-мужски, все же с облегчением притворила дверь. Звук струился тише; он выражал сожаление и, может быть, какую-то искалеченную надежду; наверно, вот так же — робко, на ощупь — пробовал свое изобретение, фаготного предка, тот самый феррарский каноник... Но девушка не воротилась ни к ночи, ни на следующее утро; возможно, она отыскала утерянную семерку. День слу-

чился суетливый, клочковатый по впечатлениям, и вся суетня его не вела, собственно, ни к чему. Потянуло в баню, но Матвея Никеича опять не оказалось на законном месте: слухи об избрании его в высокую должность подтверждались. Удовольствие беседы по поводу мировых загадок не состоялось; он сидел в одиночестве на высоком полке и рассеянно думал, что только у огня, равная воде, имеется такая же очистительная способность. В мокрых ступеньках безнадежно мерцала отраженная ноябрьская белизна... крыши за окном стояли вновь запорошенные снегом. Очередная лекция прошла вяло, это был скучноватый раздел о гиперболических функциях. К себе в учреждение он попал лишь к сумеркам, и, когда несколько месяцев спустя попытался восстановить подробности этого исключительного дня, в память ему приходили лишь незначащие мелочи. Стучали во дворе плотники, производившие перестройку флигелька для Черимова; потом всплыло сияющее и потерянное одновременно лицо Ханшина, у которого родился сын несколько неожиданной для родителей масти,— радость отца была единственным способом скрыть замешательство перед фокусом природы; потом неожиданно предупредили о посещении замнаркома. Сергей Андреич положил трубку с удовлетворением: визит начальства приходился вовремя.

Тот приехал через час, когда Скутаревскому уже надоело ждать; он вошел быстро, окруженный секретарями, улыбающийся и по-военному четкий. Церемониал их знакомства был пересыпан краткими, ни к чему не обязывающими любезностями. Замнарком был молодой, в новой должности ходил всего лишь месяца два, и ему было нелегко вести беседу с человеком, который говорил с Лениным. Позже, когда все уселись, дело пошло быстрее. Гость делал вид, что заинтересован работой института вообще, но так случилось — разговор пошел лишь по линии собственной работы Скутаревского. Было очень тихо, секретари сидели выпрямленно и неподвижно; из нижнего этажа доносилось сухое пощелкивание энергии: в изоляторной лаборатории били очередную сотню изоляторов. Недружелюбно косясь на секретарей, которые что-то записывали, Сергей Андреич вполголоса рассказывал о принципах, на которых строил разрешение задачи.

— Вам, конечно, известны работы Александерсена и Тесла? — перебило начальство, и с удивительной приятностью сошло с его уст знаменитое имя радиста.

— Да, их опыты глубоко поучительны. Хотя я считаю, что Мейснер и Арко ближе к успеху.

И опять тянулась длинная, неразборчивая для постороннего лекция о свойствах высоких частот; формулы переплетались сложными шестернями; длиннейшие периоды, насыщенные ужасными математическими иероглифами, чередовались с определениями, звучавшими как заклинания. Сергей Андреич усердствовал, точно замнарком обязан был, несмотря на свой возраст, знать все это; Сергей Андреич вел его по самым сучковатым дебрям, как бы указывая — «вот видишь, я ничего не скрываю, но раз уже приехал проверять, на что тратятся деньги, так держись!» Молодое начальство успело прославиться скупостью, и было полезно между делом нажать в самое его болезненное место. Черимов, который присутствовал при свидании, несмело догадывался, что директор намеренно прячет под научным шифром какую-то основную сущность своего открытия. Ему показалось также, что высокий посетитель то дремлет, то теряет терпение; глаза его отяжелели, выправка утратилась, и он курил папиросу за папиросой, чтоб выдержать до конца взятый им стиль почтительного внимания.

— Что такое феддинг, простите, Андрей Сергеич? — пошевелился он наконец.

— Это... замирание волны в атмосфере,— жестко усмехнулся Скутаревский.

— В общем, я... понял. И вы скоро надеетесь произвести пробу, Андрей Сергеич?

— Я полагаю, через месяц вчерне закончится монтаж.

— Отлично... Что вам потребуется для этого? Я имею директивы, Андрей Сергеич, всемерно идти вам навстречу.

Скутаревский развел руками:

— Совсем немного. Поле в тридцать — сорок квадратных километров и ну... хорошая, без лишних глаз, ночь. А вообще требуется немало. Нас загрузили уймой работ, а смету оставляют прежней. Об этом я буду ставить вопрос особо. Может быть, товарищам угодно будет пройтись по институту?

— Если вы позволите, Андрей Сергеич...

— У меня довольно трудное имя... так что зовите меня лучше по фамилии,— сказал Скутаревский, вставая и косясь на смущенного секретаря.

...Домой он отправился только к вечеру. Машина стала на ремонт,— он шел пешком. И вот здесь, при слиянии двух переулков, Скутаревский увидел ту, мысль о которой не покидала

его все эти дни. Она ждала у самого подъезда дома, где жил Скутаревский; ждала, видимо, не первый час, с отчаяньем заглядывая во все проезжающие автомобили. У нее был вид провинциалки, заблудившейся в большом городе. Скутаревский подошел к ней сзади, когда она, держась за металлические поручни, почти с отвращением глядела на пестрые, дородные сокровища в витрине овощной лавки. Она узнала его по отражению в стекле перед собою и растерянно обернулась.

— Ну, нашли вы свою семерку? — спросил он, строго уставляя на нее палец.

Она молчала, опустив руки, застигнутая врасплох.

— Давно вы тут?

Она молчала. Он понял что-то и подергал свою бородку.

— Я задержался... все заседанья.

— Я проходила мимо... — торопливо начала она.

— Да, да, конечно! — Он удивленно втянул воздух. — Чем это пахнет от вас... миндалем? Вы ели миндаль? — И вдруг догадался о самом главном: — А вы вообще ели что-нибудь сегодня?

Она виновато засмеялась, ежась от снежного ветра, который за поворотом так и играл мелкими вихорьками.

— Я разговариваю сегодня не с первым, но вы первый спросили, хочу ли я есть.

В этот поздний час дня возвращалось со службы чиновное племя. Скутаревского и девушку толкало людским потоком, разъединяло, они поминутно меняли места. И уже один, со странным лицом в виде дубового листа, даже остановился, живо заинтересованный неестественными выражениями их лиц.

— Пойдемте все-таки,— сказал Скутаревский и заранее отыскал в кармане ключ.

И снова они поднимались молча, как в заговоре. Беспричинный стыд связывал их крепче всяких признаний. Жена, точно ждала за портьеркой, вышла навстречу.

— Вот отыскал беглянку,— развязно сообщил Сергей Андреич.

Анна Евграфовна ответила, не разжимая губ:

— Ну и отлично. Я вам накрою сейчас; мы уже отобедали... — Она ушла и больше не показывалась.

Величайшая суматоха охватила Сергея Андреича; размашисто, куда-то торопясь, он опустошал буфет и все подряд, без разбора выставлял на стол; никто не узнал бы его в этой новой роли. Надо же было накормить голодного, иззябшего человека.

— Тут есть телятина холодная... девушкам телятина полезна. Еще рыба... несколько затейливого цвета. Хм, рыба хороша при насморке. Потом коньяк...— Он одумался и спрятал бутылку на прежнее место. — Вы ешьте, слушайте. Я совсем разучился говорить с голодными. На голодного нельзя кричать...

Она подняла глаза:

— Зачем кричать?

— Но это же бездарно — не есть целый день.

— У меня нет денег.

— Да, но... хлеб можно красть.

— Я не умею... — и благодарно улыбнулась.

Она ела робко, отщипывая кусочками, а он украдкой разглядывал свою добычу,— все еще томил неуклюжий Адамов стыд. Она была совсем девчонка; женщина не начиналась в ней вовсе. Но уже в ее девичьих коленках, неуверенных и слегка удлиненных, сказывалась та, другая, которая непременно придет.

Сергей Андреич стал вглядываться попристальней, понаглей: в конце концов, луна принадлежит всякому, кто смотрит на нее. Ему понравилось, как она прятала от него свои красные, с обгрызенными ноготками руки; ему было приятно видеть, как вместе с едой в девушку возвращалась жизнь: неверный анилиновый румянец заблуждал по ее худым щекам. Скутаревский решил приступить к допросу.

— Вот, живите, шпарьте. Тут много комнат и непропорционально мало людей. Воды вам сырой или кипяченой? Пейте сырую, ничего. Кстати, почему вы сбежали из дому в город, где у вас ни души?

Не дожевав куска, она быстро поднялась с места. Сквозь порванный чулок розово сверкнула царапина, след их первой встречи.

— Не спрашивайте, я уйду.

Скутаревский прищурился; тело его испытало ощущение, подобное электрическому толчку. Было отчего смутиться: уже она ставила ему условия, и он не смел не выполнить их. Он быстро придумал себе в оправдание, что ему и нет особой нужды знать ее прошлое.

— Хорошо, я не буду,— буркнул он, беря рукой кусок телятины. — Давайте знакомиться. Итак, вас зовут Женя. Моя же фамилия длинная... так что иные путают, а дураки острят!

— Вы... вы Скутаревский! — И она привстала с выражением испуга и восхищения: она успела прочесть его имя на медной табличке.

Ее глаза влажно блестели, в сущности, она сидела уже больная; когда поздно ночью после двух заседаний подряд он вернулся домой, девушка бредила. Без подушки, откинув голову назад, она лежала на отведенном ей месте скутаревского гостеприимства, совсем одна, и двери к ней были плотно прикрыты, почти забаррикадированы: мадам желала подчеркнуть невмешательство в личную жизнь мужа. Глаза девушки терялись в сизой дымке, рука свисала до полу, губы спеклись и стали тверже корки на хлебе. Тут же, на полу, вывалясь из руки, лежало надкушенное яблоко, доесть которое гостье так и не удалось. Сергей Андреич гневным, громоподобным шагом прошел к себе и рванул телефонную трубку. В квартире было тихо, точно все вымерло, но он знал точно, что попрятавшиеся родственники изо всех щелей слушают его разговор. Он кричал в телефон нарочито громко, насилу сдерживая бешенство,— ему оставался шаг, чтоб начать разрушать эти вещи, одна ненависть к которым доставляла ему сердцебиение. Оставлять больную женщину без помощи казалось ему низменным, и если причиной этому была семья, значит, против семьи и был направлен его бунт... Этажом ниже жил детский врач, с которым Сергей Андреич всегда раскланивался при встречах: его не оказалось дома. Тогда он вспомнил о другом, с которым однажды, в гостях у Петрыгина, вел нескончаемый спор об архитектуре. Тот приехал через полчаса, огромный, обрюзглый; и такое изобилие кожи было у него на лице, что одна губа заходила за другую. Раздевшись, он с монументальным достоинством прошел в гостиную, где лежала гостья Скутаревского.

— Здесь и живете?.. и фининспекторов не опасаетесь? Я бы все-таки часть уничтожил бы, а часть рассовал по знакомым! — посоветовал он сиповато и потер руки просто так, из приятности встречи. Потом он начал сморкаться, а Сергею Андреичу и слово вставить было некуда. — Ну-с, рассмотрим девушку! — и стал расстегивать блузку Жени. — Дочь? — спросил он еще, щупая пульс.

— Не совсем,— мрачно ответил хозяин, стараясь глядеть в сторону, но кое-что все-таки попадало в поле его зрения.

— Так, так, отлично. Корь, значит... Вы видите эти возвышенные круглые пятна, вот здесь, над соском? Да-с, детская болезнь, корь... Вероятно, и конъюнктивитик небольшой

имеется. — Он сунул всю пятерню в глаз Жени, и, точно облитое кровью, сверкнуло глазное яблоко под его толстыми перстами. — Так и есть, отлично-с. — Привычно, раздобывшись бумажкой, он писал рецепт, изредка поглядывая на пациентку; кажется, еще и еще хотелось ему терзать ее. — Ну, вот... способ употребления прочтете на рецепте. А пока раздеть — и в кровать. И потом, разумеется, почистить желудок... Это прежде всего! Я заеду на днях. Не благодарите. Женщины у вас найдутся?

— Я постараюсь найти,— с мятым лицом вставил Скутаревский.

— Н-да, ну вот... — Ему хотелось, кажется, посидеть, продолжить беседу, которая, будучи достойным почтенного человека времяпрепровождением, вместе с тем не особенно заставляла думать.

Но Скутаревский продолжал стоять, любезности особой не проявлял, два пальца правой руки держал в жилетном кармане, и врачу пришлось идти в прихожую.

— Знаете, вы все-таки были неправы тогда насчет Америки. Вы забыли, что эти скайскрайберы давно вышли из моды. Новая их архитектура — это усеченная ассирийская пирамида, но помноженная на двухтысячелетнее могущество техники. Знаете, этак, с лабораториями на террасах, со спортивными площадками, детскими яслями, оранжереями. А у нас по-прежнему клопы-с. И по больным ходить страшно. Я, конечно, в Америке никогда не бывал, но я видал на картинке в Огоньке... знаете, с оранжереями. И я думаю, что...

Скутаревский ежился, потому что холодом несло с лестницы через предупредительно распахнутую дверь.

— Вполне допускаю, вполне.

И как только щелкнул за ним замок, вышел сын. Заметно было: его тяготил предстоящий разговор. Он начал с деликатного заявления, что его отнюдь не интересует, кого именно Сергей Андреич водворил на неизвестных условиях в свою семью, но, конечно, имело бы смысл отправить ее с корью в больницу.

— Я благодарю тебя за совет... но откуда ты узнал, что у нее именно корь? — пронзительно спросил Скутаревский, глядя в лоб Арсения.

Тот вспыхнул, неопределенно разводя руками; не сознаваться же было, что вместе с матерью стоял он тут же, за дверью, носовым платком заглушая дыхание. И тепло ее

старого тела мешалось с его теплом... И, значит, действовал еще этот заговор страха и ревности, раз он порешился до конца высказать опасения матери своей.

— Я не утверждаю, что она воровка, но шпионкой она может быть вполне.

— У тебя имеются точные сведения?.. А ты уверен, что ты сам не шпион при мне? — взорвался отец.

Арсений отвернулся и улыбнулся, потупив глаза.

— Знаешь, ты довольно странный человек, отец,— сказал он напоследок.

— Да, характер мой всегда отличался некоторым своеобразием. — И опять ушел к телефону.

Он догадался вдруг, что все в доме его ненавидят; это было новостью для него, ему стало грустно и тошно... Сергей Андреич, впрочем, не особенно долго испытывал смущенье; потом он вспомнил, что всегда в жизни ему не хватало личного секретаря. Случалось, что неделями корреспонденция его оставалась нераспечатанной и потом зачастую выметалась вместе с сором. Правда, это случилось, кажется, всего два раза за тридцать последних лет, но, при его нагрузках, это нисколько не уменьшало потребности профессора в секретаре. В связи с культурной реконструкцией всюду чувствовался острый недостаток в развитых и способных работниках; ясно, Сергей Андреич не мог не радоваться своей находке, и тем более не смел гнать в больницу бездомного человека, в полезности которого не сомневался.

ГЛАВА 12

Перемена жизни Матвея Никеича наступила задолго до того, как произошли в его бытии некоторые фактические смещения. Она началась с упорных раздумий по поводу мирового течения дел, трамвайного движения и, пожалуй, хлеба, в котором действительно чаще обычного стали попадаться окурки. Позади внушительной первопричиной всему маячила тень одноногого полковника. Случился день, когда вода показалась ему шероховатой, а он понимал толк в воде. То была для него вовсе не разнузданная стихия, укрощаемая водопроводчиками, а некое добродушное существо, доставлявшее ему пропитание и имевшее лицо того, кто в нее смотрит. За долгие годы он изучил ее повадки, запах, вкус,— он знал даже, добрая она

сегодня или злая,— знал тем хитрым профессиональным чутьем, которое никакому трезвому не поддается учету. В помянутое утро вода царапала ему тело, точно поглаживал его кто-то колючей власяницей, а предстояло парить толстого и высоких чинов человека; тот разнеженно лежал на скамье, и кожа его поблескивала, глянцевитая, как на его портфеле. И хотя процедуру эту приходилось совершать, может быть, в тысячный раз, Матвей Никеич медлил у крана, столбнячно разглядывая самого себя. Никаких заметных изъянов на нем не было, а причины лежали глубже; сомнение в важности древнего своего ремесла совпало с острым раздражением кожи. Позже, дня через три, после банки асфальтоподобной мази, все обошлось, но рубец на памяти остался.

Как раз подошли перевыборы в Советы. В раздевальном зале напористые атаковали банщиков лозунги с длинных красных полотнищ; бегали уполномоченные, составлявшие списки, а Матвей Никеич сонным глазом, издали, из бороды, как из леса, наблюдал утомительную людскую суетню. В особенности раздражал его молодой расторопный Кеша, который, став заведующим, домогался еще утвердить свое величие в мире членством в столичном Совете депутатов. Матвей безмолвствовал, не принимая участия в хлопотне; и когда подбежал к нему за мнением уполномоченный, Матвей нарочито зевнул ему в самое лицо.

— Ну, а ты как насчет того, чтоб Кешу в Совет продвинуть? — спросил тот, задоря, подхлестывая взглядом.

— Нам что, мы всему благодарны,— размашисто буркнул Матвей и еще раз зевнул: точно геенна выглянула из бороды. — И черту поклонимся, лишь бы яйца нес.

— Ну, а если двуглавый птенец из яйца-то вылупится?

Матвей помолчал:

— Две-то головы, обожаемый товарищ, мене пожрут, чем тысяча дурацких. — И пошел по своему делу.

...Но в самый день перевыборов он отправился вместе с прочими посмотреть, как именно станет происходить возвышение Кеши; зрелище это прельщало его больше, нежели обещанный после собрания концерт. Он уселся в уголке, близ отопительной батареи, и не спускал глаз с Кеши, который действительно проявлял такую активность, что страшно было на человека смотреть. Заседание шло обычным чередом, и вдруг Матвей ясно расслышал свое имя, произнесенное с эстрады тем самым уполномоченым, который столько раз безразлично пробегал мимо него. И тотчас же внимание всего

зала повернулось в его сторону. Все еще недоумевая, Матвей Никеич привстал и с вопросом «чего-с» оглянулся назад, но позади была стена; любопытство зала относилось именно к нему. Он попытался вслушаться, но там, на помосте, шла пестрая трескотня уже других фамилий, список кандидатов в районный Совет от коммунальников. И только по окончании голосования он понял, что свершилось непоправимое и, во всяком случае, высочайшая из доступных его разуму катастроф.

В перерыве он побежал к уполномоченному, который тут же и поздравил его с доверием товарищей. Матвей Никеич выслушал его, помешанно блуждая глазами:

— Отмени, товарищ, отмени... в своем ты уме? Какой я правитель? Лежу в жизни бездвижно, как говядина...

Человек глядел в упор и улыбался; со времен гражданской войны много людей пропустил он сквозь себя и вплотную изведал, какие качества прячутся в таких мрачных, густобровых кряжах.

— Работал ты всю жизнь? — Но Матвей молчал. — Много ты накопил домов, фабрик, поместий... много? И потом, довольно ругаться, старик: помоги и сам дурацким-то головушкам. — И дерзко, не попрощавшись, отвернулся; напоминание это сразило Матвея окончательно.

Одно время хотелось ему выскочить на эстраду и прокричать наотрез о своем отказе. Но было неловко проявлять почти Кешино мальчишество при такой знаменитой бороде; кстати, начинался концерт, и трое с багровыми лицами уже втаскивали на помост черную краюху рояля... Все первое отделение высидел он не шелохнувшись — и не оттого, что в новом звании двигаться представлялось неудобным, а потому, что страшно было еще раз привлечь к себе всеобщее внимание. Втихомолку обдернул он рубаху, пригладил бороду и еще раз попробовал вникнуть в происходившее вокруг него. Барственного вида человек во фраке пел что-то угрожающим голосом и глядел на Матвея, который все поглаживал бороду, как пригревшегося кота. Матвей побагровел, волнение не унималось, и музыка заглушалась теми громовыми звуками, которые извергались внутри его. Небывалая буря подымалась на душевной его горе; в последний раз обегáл он мысленно свои владения и дивился их ужасающей тесноте. Гора стала совсем махонькая, чирышек на истинной земле; ветер взметал над ней мусор, пыль нес в глаза, и глаза слезились... Из бури высовывалось насмешливое лицо племянника — «погоди, дохлест-

пет и до тебя. Еще в газете напечатают...» И тотчас же новый страх внедрялся в его воображение. Ему представала передняя газетная страница, и там, посреди, красовался собственный его, Матвея Черимова, портрет. Получалось не плохо, но зато огромное место, где можно было бы посадить телеграмму с фронта индустриализации, занимала нечесаная его борода. Весь мир смотрел, и все народы —черные, белые, желтые, одни попозже, другие пораньше — смеялись, и каждый тянулся пощупать уцелевшее чудовище... и вот, грохот смеха разбудил Матвея.

— О чем это они? — спросил он Кешу, когда из секретных побуждений уже подсел к нему.

Кеша сидел грустный,— так его никуда и не избрали.

— Да вон Москвин про пушку рассказывает,— печально объяснил он, облизывая пересохшие губы.

— Ты не серчай, Кеша,— сказал Матвей, подумав. — Тебя на будущий год прямо в Совнарком назначат.

Мало ему было, видно, Кешина унижения.

Из зала он вышел последним, когда уборщицы со щетками пригоршней высыпали на работу. И хотя совсем не тянуло домой, он очень скоро оказался у дома; крепче привязи держала его многолетняя привычка. Он поднялся к себе и пошарил под деревянной ступенькой; ключа там не было, равно не отыскалось и в карманах. По щелке света судя, дверь стояла незапертой, и вдруг ему отчетливо нарисовалось, что племянник сидит тут же, за дверью, и, с восхищением потирая руки, ждет дядькина возвращения. Не оставалось сомнений, что, конечно, и вся остальная советская власть в полном составе уже знает о Матвеевом избрании... Тихонько, держась за стенку, Матвей спустился вниз и снова двинулся вдоль улиц. На хитрость он отвечал хитростью; племянник напрасно караулил свое торжество. Буря внутри как будто утихала, и снова он оставался наедине со своими мыслями. Самое обстоятельство избрания, на которое еще неделю назад глядел как на лукавую игру высокого начальства, теперь раскрывалось в совершенно неожиданном сечении. Сейчас это означало полное, безоговорочное признание тех, над кем он втайне потешался. Громовое слово, произнесенное эпохой, приблизилось, и уже от самого Матвея люди ждали теперь важного умного слова, которое еще не народилось в нем. Он растерялся, это походило на пытку доверием. Наконец он вспомнил, что десятки раз костерил советскую власть за то, что не догадается устроить в раздевальне достаточное проветриванье; сотни людей, прохо-

дивших сквозь баню, оставляли тяжкие смертные запахи, из-за них-то Матвей и пренебрегал в такой степени людьми. Слово было найдено, первое, конфузливое, но собственное: вентилятор... и сразу стало, будто прибавилось силы в руке. Но все-таки оставалось чувство, словно ограбили его втихомолку: не на кого становилось жаловаться, не с кем стало хитрить.

Он ходил по городу до ночи, потому что и племянник отличался значительным упорством: наверно, посасывая в одиночестве тощую, хлюпающую — ибо высыпáлся крапивный табак — папироску, он придумал целый короб отточенных, ликующих слов: горше брани было б ему племянниково одобрение. Наконец стало ему понятно, что Колька ушел. И верно: когда вернулся, Кольки уже не было; ключ торчал в скважине с внутренней стороны. Он огляделся еще с порога,— нигде не валялось ни окурочка: унес с собою. Все еще висела открытка армейского героя в полном военном облачении. В темноте он взял ее со стены, не глядя: ядовитый цветной глянец прилипал к его вспотевшим пальцам... Он даже не разорвал, а растер героя в труху и спустил в норку, к мышкам; потом запер дверь и достал из-за плинтуса крохотный секретный мешочек, замотанный ниткой. Крепко сжав сокровище в кулаке, он прислушался. Было тихо на чердаке; на железную крышу налегло толстое ватное одеяло снега. Зубы Матвея Никеича нашарили ниточку и перекусили; на ладонь вывалились три непонятных металлических кружка; никто в целом свете не ведал, какая тайна покоилась теперь в Матвеевой ладони. Снова почудилось шевеленье за дверью, даже не самый звук, а лишь как бы тень его в Матвеевом воображенье.

— Это ты, Кеша? — почти ласково спросил Матвей, подкравшись.

Там молчали, Кеша был хитрее. Беззвучно отомкнув запор, Матвей наотмашь, всем плечом распахнул дверь; обитая железом, она насмерть уложила бы всякого, кто пытался поймать Матвея врасплох. Но дверь стукнулась о косяк стены и вышибла кусок штукатурки; за дверью не стояло никого... Он зажег свет и разжал ладонь: из нее блеснул желтый глазок и потух. Там лежали три заповедных золотых монетки, скопленных еще давно, но последнюю он купил у знакомого айсора, чистильщика обуви, два года назад, когда побежали слухи о скором падении советской власти. Кажется, этот желтый, ленивый металл был гигроскопичен: он вобрал в себя все Матвеевы страхи о нищей старости; он питался душевною его

теплотою, а сам оставался холоден и неподвижен, но какое-то магическое доставлял он успокоение: то был скорее талисман, чем клад. Но он становился уликою против Матвея Никеича, от него исходил злой, смутительный ветерок. Первой мыслью было выкинуть монеты сквозь форточку в рыхлый снег ночного переулка. Он одумался: внизу мог караулить Кеша; две он припрятал бы, а о третьей стал бы кричать, и тогда к позору внутреннему присоединился бы внешний, вовсе не нужный. Тогда он решил спрятать это еще глубже — в камень, в дупло дерева, которое растет, спрятать и забыть, но и это оказалось недоступным, потому что спрятать следовало от самого себя... Разложив монетки на столе, он пытливо разглядывал их; они носили портреты царей, отца и сына; лик отца был одутловат от водки и сытной жизни; плоский профиль сына почти вчистую стерся от жадных людских прикосновений. Цари глядели равнодушно, мимо Матвея, во мрак сырого угла, откуда появились, как фантомы. Оба были с бородами, и это в обидной степени роднило их с Матвеем.

Здесь и крылась причина тех метаний, которые захватили его на целую неделю. Было ему так, будто на огромном пространстве, где одиночный человек растворяется без остатка, громоздко дефилирует все трудящееся человечество. Впереди шагают вожди, маршалы международных красных армий, ученые... И между ними издалека видна седеющая голова Скутаревского; ораторы шагают, председатели районных Советов, управдомы, заведующие банями... И все старается вылезти наперед, поближе к вождям, проворный Кеша. Несут знамена, гремят мильонотрубные оркестры, и медь их сверкает как уголье в пожаре расхлестнутого кумача. А на одном из флангов поспешает и он сам, Матвей Черимов, в своей просторной бороде. И будто всякий, опережая его, норовит потрогать этот пушистый призрак Матвеева самодовольства, которым он в столь роскошной степени отличается от всех... Ночь Матвей проворочался без сна, а утром отправился на работу; неделю он был угрюм и как бы болен, участливое вниманье сослуживцев фабриковалось, разумеется, из зависти. Позже он решил, что о нем благополучно забыли: игра оказывалась игрою. И как раз в этот момент великого душевного облегчения к самому закрытию бани ему доставили делегатский билет. Он никогда так не уставал: все рушилось бесповоротно, пленение было окончательное,— теперь он стал тоже советская власть.

Город одевался в сумерки и предпраздничное затишье: какой-то чрезвычайный съезд собирался с утра заседать в столице. Матвей крадучись — не подсматривает ли племянник — спустился в парикмахерскую: две приступки сводили вниз, к застекленной двери. Ободранная комната полна была ожидающих в очереди; бородатых среди них не было никого. Матвей присел последним, сокрушенно наблюдая, как тает на валенках снег. Усатый человек с механической быстротой колдовал над головами клиентов. Посверкиванье ножниц утомляло глаза до дремоты, но Черимов бодрствовал и сидел, сокрушенно затаив дыхание, точно самое отстрижение головы предстояло ему. Парижского листа с бородами уже не значилось на стене; теперь там висели красавицы с продолговатыми лицами и глазами зябкими, как у пойнтеров,— четырнадцать штук; одна глядела в Матвея с таким выражением, что даже багроветь начал было Матвей. В ту же минуту широким палаческим жестом мастер пригласил его в кресло.

— Бороду... — сказал Матвей и затекшими пальцами сделал поясняющий жест. — Голи меня начисто.

— Напрочь? — повторил парикмахер и, прежде чем успел ему ответить Матвей, отхватил ножницами половину. — Усы также напрочь, или подумаете? Или, может, просто на шведский манер? — Он бурчал, почти лаял, точно невероятное делал одолжение.

— Подумаю... усы не трожь,— глухо отозвался Матвей и закрыл глаза, чтоб уж не видеть.

Он ощущал мелкий холодок, заливавший его щеки, и пронзительное лязганье железа, ерзающего по лицу. Матвей Никеич старался думать о постороннем, например о снеге или о щах, но не удавались мысли, точно вместе с волосом отстригал и мысли парикмахер... Не иначе как парикмахерова семья проживала тут же, при заведенье; пышная, цареподобная старуха в платье занавесочного ситца выносила оттуда кипяток. Все это время там, за фанерной стенкой, гудел примус, а теперь вдруг навскрик заорал проснувшийся ребенок, и оттого, что Матвей был специалистом по снам, он быстро сообразил,— наверно, ребенку приснилось что-нибудь страшное, например огромная материна грудь, и в ней нет молока. Объяснение показалось правдоподобным; он даже вообразил себе этого младенца, голенького, без признаков волосиков, каким скоро станет и сам, и вдруг открыл глаза.

Прежнего Матвея там уже не было; прежнее, прошлое

космами валялось тут же, под сапогом. А парикмахер говорил с моложавым, густобровым, на манер каторжника, человеком и в третий раз спрашивал, охорашивая его рукой, как бы продукт собственного изобретения:

— ...ным одеколопом спрыснуть?

Матвей не слышал; лицо его стало чистое, как полянка, и что хочешь строй на ней — санаторий для ответственных работников либо киоск с прохладительными напитками. Губы его кривила растерянная улыбка, которую прежде столь надежно прятал в бородище, как в глубоком кошеле. Матвей вышел вон, и даже со Скутаревским, который один не посмеялся бы над его переменой, не хотел он встретиться в эту минуту. Он вышел, и тотчас же, чего никогда не случалось раньше, почти впритирку к нему промчался грузовик; Матвей насилу отскочил,— получалось, что теперь, в новом облике, и давить его можно безнаказанно. А город уже сиял иллюминацией, красное зарево подымалось над центром, и почему-то казалось, что столица празднует именно отстрижение Матвеевой бороды.

Ночью он, по старой памяти, видел сон. Будто борода не осталась на полу, под чужим башмаком, а он завернул ее в лист писчей бумаги и принес домой. И будто бы она, мертвая, пышно лежала на столе, а прачкина девочка тоненько спрашивала, теребя Матвея за локоть:

— Дедушка, она дохлая?

Преувеличенные эхом сна, слова ее прозвучали чудовищно. Да, все отправлялось в переплав: жизнь, старый банный котел, золотые портреты царей,— и вот уже самого его ополаскивало жаром из приближающейся домны.

ГЛАВА 13

Черимов узнал своевременно о дядькином возвышении и нарочно не появлялся на его чердаке, давая время оформиться событию; да он и не стремился праздновать победу, в которой заранее был слишком уверен. Кстати, пока Скутаревский ездил на конференцию в Ленинград, дел у него накопилось и без того множество, а когда переехал во вновь отделанный флигелек, по соседству с институтом, нагрузки его сами собою утроились; тащился всякий люд просто на огонек. В особенности зачастил к нему Иван Петрович, который не мог не заметить повышенного интереса, проявляемого к нему Черимовым. Сидя как бы в великом интеллигентском смятении, которому

Черимов не смел не прийти на помощь, он, вовсе не болтун, без умолку распространялся о коллегах, о Скутаревском, с которым разошелся накрепко, о его работе, а Черимов принимал всякие сведения с видом учтивого внимания и признательности; многого он вовсе не понимал в новой для него среде. Иван Петрович бывал задумчив, часто и пламенно рассуждал о необходимости идеологической перестройки инженерства, а порою проявлял склонность потрясать вопросами:

— Николай Семенович, скажите правду, вы все еще верите в мировую революцию?.. и не устаете? — и прилипал темным обволакивающим взглядом.

Искусительному своему вопросу он придавал капитальный, почти шекспировский оттенок, который, по его расчетам, не мог не льстить этому невежественному выскочке и выдвиженцу из рабочей гущи; впрочем, Иван Петрович мнений своих не выдавал даже жене.

— Верить?.. Зачем же, я не только верю, я делаю ее каждый день мой, каждый час... — улыбался Черимов, пока Иван Петрович с сострадательным участием покачивал головой.

Не мудрено, что в институте начали поговаривать о новом блоке и даже о дружбе между молодым партийцем и старым специалистом. Выдача мелких секретцев помогала Ивану Петровичу маскироваться самому; Черимов видел его маневры и недоумевал — что ему было маскировать, мещанину, влюбленному в жену и прочее имущество, бездарному профессору, которого по прихоти приблизил к себе Скутаревский. Иногда, впрочем, Черимов бывал признателен Геродову; тот вполне своевременно сообщил о катастрофе, которая свалилась на благополучный дом Скутаревского. По мнению Геродова, разлом семьи становился обычным явлением; из каких-то своих соображений он даже одобрял поступок Сергея Андреича, развязно утверждая, что заодно с властью человека над человеком был скомпрометирован и брак, отчего ветхое это здание, имевшее возраст самой собственности, и шаталось, ежедневно взрываемое у фундамента. Черимов рассуждал так: душевная суматоха, исполненная истерик и крикливых мелочей, могла скверно отразиться на работе Скутаревского. Приближалось испытание аппарата, на постройку которого брошены были все научные и бюджетные средства института. Оставлять Скутаревского одного посреди таких вздорных обстоятельств представлялось вредным, и хотя Черимов всячески избегал встреч с Арсением, он все же отправился в их невеселый переулок.

Он застал там полный разгром: молодой Скутаревский отсутствовал третьи сутки, мадам уехала к брату, к кухарке пришел временно исполняющий обязанности мужа, а по пустым комнатам, подобно коршуну на падали, лапчато вышагивал Штруф; кажется, особой целью его прогулки было проникнуть в гостиную, где лежала Женя.

Увидев Черимова, он засуетился, расшаркался и даже как будто изменился в колере:

— Штруф, обеднелый любитель искусства. Единственно, что утешает меня, это — что Большая Балахна, по слухам, построена на деньги, вырученные от продажи моих коллекций. Рад, всегда рад... Очень приятно... с кем имею честь?

— Вы что тут делаете? — неучтиво прервал Черимов; кое-что он слыхал о Штруфе и от Скутаревского, но гораздо больше от одного приятеля, следователя по уголовным делам.

— Промерз и вот забежал к друзьям погреться. А вы, я так догадываюсь, наверно, Черимов. Рад, крайне рад. Счастлив класс, который имеет таких... — Он перебил самого себя.— Лично я также очень стремлюсь слиться с пролетариатом, но, странно, он не хочет... разрешите как-нибудь навестить и побеседовать?

Тут Женина сиделка вышла из комнаты:

— Прогони ты его, гражданин... осилил совсем. Стоял бы на лестнице и ждал, а то все тычется... Стащит чего, а мне, старой, отвечать.

— Позвольте, гражданка...— заартачился Осип Бениславич, и даже челюсть у него затряслась в негодовании. — Я попрошу...

— Ну-ну, ступай, ступай... — не совсем мягко заулыбался Черимов, и тот бежал, бормоча под нос себе, что нет, не свойственно великодушие современным победителям.

Кое-что Черимову удалось разведать: резче, чем когда-либо, проходила граница между враждующими государствами. Анна Евграфовна развернула широчайшее наступление, отказывалась принимать корреспонденцию на имя мужа и в довершение утесняла даже сиделку, большущую и робкую старуху. Ежедневные распри походили на вылазки или патрульные столкновения, и это еще в большей степени усиливало смешную аналогию войны. За три с половиной недели мадам совершила глупостей больше, чем за все остальное время замужества. Примирение стало невозможно, даже если бы Женя, наивный предлог разрыва, исчезла совсем; взрывчатые слова

наделали уйму колоссальных воронок на этом поле, никогда, впрочем, не предназначавшемся для буколических прогулок. Бестактные телеграммы Сергея Андреича с запросами о здоровье Жени окончательно взбесили жену; она помчалась к брату за советом. Сломался трамвай,— она пересела на автобус; лопнула камера на колесе,— она вскочила на извозчика. Она ворвалась, как ветер, на люстре зазвенели подвески, и легкие занавески с окон рванулись за нею; она ждала участия и валерьянки, но брат выслушал ее почти с зевотой.

— ...но ведь выгнать меня для этой девчонки он не может? — торопилась излиться Анна Евграфовна, тиская руку брата. — Я советовалась с Галактионовым. Ты знаешь Галактионова, который в Мумвите? Он говорит, что половина жилплощади все-таки моя...

— Ясно, твоя... — вяло подтвердил Петр Евграфович, катая по столу продолговатый сверток, который не выпускал из рук.

— И вещи... я собирала их по крохам, менялась, обманывала. Отдать их ей он не посмеет. — Она стиснула покрепче неживую руку брата. — Петр, ты невозможен... у тебя картина вверх ногами висит. Ведь это же Тропинин...

— А?.. да,— вздохнул Петрыгин, но поправить ему было, по-видимому, лень. Самая картина была ему вовсе не любопытна, он давно пережил ее, его больше интересовала ее массивная, золоченая рама. — Вещи?.. Да, с ними всегда неприятности. Ну, и как, хорошенькая?

Анна Евграфовна потрясенно скинула с носа пенсне. Вряд ли, понятно, Петр Евграфович поверил бы оценке этой резвой дамы, которую знал в совершенстве, да еще в суждении о таком рискованном предмете. Ясно, Женя была отвратительна, но Анна Евграфовна понимала и сама, что у Евы, например, спина была, конечно, в волосах, а ведь все же соблазнила Адама... Она посмотрела на брата с раздражением, ударяя его по руке ободком пенсне.

— Она вся какая-то мальчишка. Она развела заразу на всю квартиру. Ей что-то там впрыскивают. Она не уходит. Она нагло лежит на моих простынях... Я не понимаю: раньше какого-то банщика приводил, а теперь... Нет, знаешь ли, я заявлю в уголовный розыск.

— Ты говоришь — в уголовный? Н-не советую... Кстати, где вы собираетесь жить на даче? В Халюзинке все-таки сыро и комары.

Было ему не до семейных осложнений сестры. Он очень постарел за последний год,— большинство его тогдашних радостей происходило от исправности желудочного тракта, но и он портился вконец; сахар увеличивался, Петр Евграфович становился как сахарный завод своего собственного имени, диета граничила с издевательством. На опыте познавший тяжесть возраста, он не особенно верил во внезапную страсть Скутаревского: потухшие вулканы извергают лишь копоть и грязь. Вместе с тем с самого дня помолвки он взирал на Скутаревского, как на обыгранного простака, и угадывал, конечно, что когда-нибудь все это взлетит на воздух... Одновременно ему каждую минуту грозил обыск; ни от кого не были секретом его дружественные отношения с Брюхе, а следователи подозрительны. Пока сестра живописала неурядицы, он мучительно придумывал, куда бы спрятать этот небольшой, подозрительного вида, бумажный сверток. По содержимому вряд ли он заслуживал затрачиваемого времени, но при некоторых попутных обстоятельствах именно он мог стать жестокой и неоспоримой уликой. Наиболее разумным местом представлялась именно золоченая мякоть рамы, но на раме-то как раз и попался Игнатий Федорович: как ввалились, так сразу и принялись пилить раму. Где же, однако, сверток был спрятан у Брюхе?.. Минутами это возвышалось до кошмара, хотя никогда раньше Петрыгин не был подвержен обывательской панике. Воображение рисовало, как на глазах рама взрывается и сверток с этим бумажным золотом, грохоча, вываливается наружу. Он устал, он отдал бы даром, если бы не воображаемые, пренебрежительные, издалека, взгляды тестя... Словом, молнии Анны Евграфовны не жгли его. Кроме ползучей душевной плесени, разговор этот последствий не имел. Тогда она испугалась, самонадеянность покинула ее,— домой она возвращалась пешком. Всю следующую неделю насквозь она вызывающе шила себе какие-то кособокие, на жалость позывающие передники: по ее мнению, это был последний и единственный способ толкнуть мужа на пересмотр своего решения.

Женя поправлялась медленно. Температура спадала, и сиделка получила разрешение на ночь уходить домой. Выздоровление ее больше всего походило на пробуждение от сна. Однажды она приподнялась на подушке и огляделась. Комната, поразившая ее вначале высокомерной, почти ледяной роскошью, теперь была совсем пуста; более того, в ней выступила спрятанная дотоле гнусность. На ободранных стенках, с которых

таинственно уплыли картины, обнажились бесформенные, подобные трупным, пятна, какие оставляет всякая прочная, долговременная семья; в них отвратительно зияли раскрошенные гвоздевые раны. Мебели не было вовсе, кроме ее дивана; вместо люстры кособокая шестнадцатисвечная лампа спускалась на грязном шнуре. Рисунчатые солнечные ковры, накиданные наспех, не прикрывали, а лишь усиливали степень безобразия. Женя пожала плечами... Должно быть, за время ее болезни растворилось в самом воздухе венецианское стекло, распались в прах зеленые бронзы, и даже глазурованная, с отбитым краем, персидская ваза, синева которой единственно развлекала глаз, не стояла на прежнем месте. Женя еще не знала, какая скорбная семейная пучина подкарауливала ее выздоровление. Военизируясь по мере обстоятельств, Анна Евграфовна вещь за вещью выбирала из комнаты все; мадам работала и по ночам, испытывая при этом то же болезненное наслаждение, какое сопутствовало их приобретению. К чести ее, она не прибегала покуда к помощи сына и сопротивлялась лишь в меру своих женских сил.

Сиделка ушла обедать, из-за стены, сонно растворяясь в зимней тишине, просачивался деловитый речитатив швейной машинки... Держась и хватаясь за стену, Женя спустилась с дивана; хриплая музыка диванных пружин приветствовала ее пробуждение к жизни. Женя подошла к окну; все было бело; истрескавшийся после оттепели снег сверкал под солнцем, как разбитое зеркало. Осторожно привстав на табуретку, она открыла форточку; снежным легким знобом ударило ей в плечо, от зимнего солнца исходил голубой ветерок, у нее закружилась голова. Сзади вошла сиделка,— Женя не обернулась на шорох. Сиделка громко вздохнула и не оттаскивала ее от форточки; сиделка вела себя необычно,— ласковая эта старуха, истоптанная покойным мужем, обладала верблюжьей неповоротливостью. Женя оглянулась и, соскочив, крепко оперлась рукою в подоконник: она упала бы.

Вместо сиделки в раскрытой двери стояла пожилая женщина, чернявая и в пенсне со шнурочком. Женя видела ее только раз, но и того было достаточно, чтоб понять: это был самый большой ее враг. Не мигая и этак не без змейцы женщина смотрела куда-то на локон Жени, который шевелило усилившимся сквозняком.

— ...вы что? — испуганно спросила Женя.

— Я жена Сергея Андреича,— сказала та очень просто. — И я пришла спросить, что сегодня готовить на обед. Я ходила на рынок и не могла достать мяса на голубцы, которые любит Сергей Андреич.

Это было ее действительным намерением; период неистовства сменился полным упадком сил и преувеличенной уступчивостью. Инстинкт подсказал ей, что смиренье станет самым грозным оружием против соперницы, которая, кстати, и сама не подозревала о новой своей роли.

— За что вы меня обижаете? — заливаясь бледной краской, улыбнулась Женя.

— Не гоните меня... я уже старая... мне будет трудно в жизни,— продолжала Анна Евграфовна, теребя кухонный свой передник. — Я умею голубцы и компот...

— Перестаньте! — растерянно крикнула Женя. — Я же уйду... я не виновата, я заболела. Я скажу Сергею Андреичу, что мне пора. Я вечером сегодня уйду...

Здесь-то и наступил перелом этой неискусной комедии.

— ...не смею отговаривать вас, милая,— с новым оттенком подхватила жена, делая шаг вперед. И все смотрела, смотрела испытующе и жадно в девическую Женину грудь, прорисовавшуюся в сорочке. — И я обязана сказать правду. Он немыслимый человек, он груб, яростен, жесток. Я не слыхала от него ласкового слова, даже когда х о д и л а Сеником...

— Зачем, зачем вы мне это говорите? — почти плакала Женя, делаясь сутулой и такой же старой, как жена. Ее гипнотизировали два едких и быстрых блеска, ей было бесконечно стыдно, полуодетой, под этим недобрым, изучающим взглядом. — Я сказала вам, что уйду...

— ...у него только электроны... и вас нет, и меня, и Сеника, а только электрические бури блуждают по земле, да, да! Он сжирает людей и выплевывает кости. Он бросит вас, как меня. Он ненавидит людей и, только погубив их, пробует любить. Когда он любит — точно каблуками железными по телу ходит... Я состарилась на другой же день после венца... пожалейте свою молодость. Вы выйдете замуж за комсомольца, стройного и молодого. Зачем вам нужны чужие объедки? Он почти плешивый,— я жена, я вижу все. Его сила показная, он весь в смятении. Эта работа его — последняя, ей он приносит в жертву все. Из-за нее он забывает спать, есть, ходить в баню, этот азиатский человек...

И вдруг Женя выпрямилась,— внезапно захотелось подтвердить, что она моложе и сильнее.

— Я все-таки отказываюсь понимать вашу дерзость,— уже спокойнее произнесла она. — Какая же вы кухарка — в пенсне? Вам надо иметь очки, я выдам вам денег на их покупку. И потом я запрещаю приходить сюда без зова. Картофель на сегодня готовить! Ступайте...

Последние слова она прокричала в пустое пространство перед собою: Анну Евграфовну точно сквозняком вынесло. Ответный удар Жени диктовался вовсе не тем, что Анна Евграфовна пыталась разъяснить смысл нового ее положения, а лишь желанием вступиться за оклеветанное имя человека, которого робко издали уважала. Еще до встречи с ним ее уважение было больше той благодарности, которую испытывала впоследствии. Познакомилась она с этим именем по скудным газетным заметкам да еще по учебнику физики, который однажды удалось ей купить у букиниста; книга была распродана и становилась редкостью. Спортивной, танцующей походкой Женя несла ее по улице в один неповторимый полдень апреля, и все глядели с улыбкой в ее сияющее лицо... А то была вовсе не клевета, а лишь преувеличенная страхом правда, и в этом была сила Анны Евграфовны. Женя еще не понимала той мерзкой ситуации, в которую попала; что нужно было ей в этом угрюмом каземате, куда занесло ее обидой и волной? И вот, с быстротой зайчиков на стене от расплесканной лужицы, заиграли обрывки мыслей: учиться... путевка... зеленоватые глаза Жиженкова, которые выпихнули ее в глухую ночь, на безлюдное подмосковное шоссе. И рядом с ненавистным его именем всплыло новое, прозвучавшее как событие: Скутаревский. Когда в провинциальном воображении ее возникали неточные образы будущего — на круглых, сверкающих площадях, где снуют бесшумные электровозы, под стальными конструкциями эстакад среди сытой глянцевитой зелени и памятников, которые, того гляди, откашляются и начнут свой громовой вечер воспоминаний, в свете иллюминационных транспарантов, славословящих суровые, безулыбчатые имена,— постановление последнего, конца второй пятилетки Съезда Советов — бежит веселая, нарядная толпа. Там, посреди людского потока шел и Скутаревский, хозяин электронных армий, весь как бы в полете, дальних плаваний капитан, и волосы седовато извергались вверх, как дым над Везувием, который она видала на картинках. Возраста мечтания не имеют.

С рассказа о том растрепанном учебнике и началась их беседа, когда вечером Сергей Андреич зашел к ней; он выслушал, улыбаясь ее искренности, от которой давно отвык. Эту самую распространенную из своих книг он не любил: она была написана в пропащий год, когда Петрыгины опоили его тошным хмелем женитьбы. Он спросил лишь:

— Вы не могли написать мне? Я послал бы... Давно это было?

— Давно. Я начала готовиться заочно... давно. О, теперь я тяжелей стала на целую тонну. Я не тренировалась целый год.

— Это оттого, что вы болели, оттого. — Она не возразила. — Вы, значит... как это теперь говорится, физкультурница?

— Я бегала на сто метров. У меня только секунда до рекорда.

— Для этого надо иметь хорошее сердце,— сказал Скутаревский и посмотрел на ногти. — А книга плохая, написана для денег. Ну, как вы тут, без меня?..

В эту минуту он ничем не походил на портрет, за несколько часов перед тем нарисованный его женою. Женя решилась рассказать про посещение Анны Евграфовны,— это было непреодолимое, женское. Сергей Андреич выслушал недвижно, лишь глаза его да скулы стали как-то деревенеть к концу. Было мгновенье, когда он сделал нетерпеливый жест, точно собирался крикнуть — «хочешь, я разгоню этот сброд?..» Он не крикнул не потому, что не способен был на это, а лишь оттого, что решение не созрело в нем полностью. Итак, все шло своим чередом, и только неоднократные выступления жены надоумили его на разрыв, которого он не собирался совершать. По возвращении из Ленинграда, например, он не ответил бы — беленькая или черненькая эта самая Женя. Он создавал ее наново в своем воображении, он одевал ее сам, по своему вкусу, и девушка становилась умнее, старше и скучнее. Сергей Андреич шумно прошелся по комнате.

— Да, это, конечно, грязь. Я прошу извинить нас, прошу. Я приму крутые меры...

— Виновата, конечно, я. Эта болезнь... но я уже могу ходить. Я уйду завтра. Вот... ноги еще плохо держат и бедра ноют... — прибавила она с виноватой улыбкой.

Он рассердился:

— Но куда вы пойдете, черт вас возьми? И что вы умеете в жизни, кроме как бегать свои сто метров?.. Где вы станете жить?

Более взволнованная, чем смущенная его криком, Женя зашевелилась, и пружины под нею ворчали ревниво и глухо:

— Есть общежития... я не знаю пока. Я шла сюда учиться, но организация не дала путевки. Ну, и еще там, другое. Я буду учиться и работать, так делают сотни тысяч, я не слабее их.

Голая ее пятка выбилась из-под одеяла; она была розовая: «желтая — это потом». И вдруг, прежде чем она успела пожелтеть в его воображении, Сергей Андреич спросил грубовато:

— Вы можете секретарем? Но... у меня действительно имеются секреты, о моей работе много болтают. Вы будете как чугунный замок. Имейте в виду, я человек трудный... имейте... Ну?

Кажется, ее испугало предложение Скутаревского:

— Вы ищете личного секретаря?

Он круто отрезал, чтоб разубедить ее в худшей из догадок:

— Личных дел у меня почти нет.

И тотчас же сиделка, войдя с тарелкой бульона, сообщила, что хозяина требует в прихожей гражданин Труп. Настроенье Сергея Андреича сразу омрачилось, едва понял, кого она именовала так. Прислонясь плечиком к знаменитому шкафу с олимпийцами, ждал его собственной персоной Осип Штруф и, в добавление к неожиданности, не один. Рядом, сверкая огненными глазами и необыкновенной масти, сидел на привязи циклопических размеров пес. Он был умный и породистый: при появлении Скутаревского он вопросительно взглянул на комиссионера, кусать ли ему рыжего или это только потом.

— Довольно дурацкая повадка — ходить в гости с дикими зверьми и по ночам,— рассудительно отметил Сергей Андреич.

Штруф учтиво откланялся:

— Не бойтесь, я его придерживаю,— и тотчас шепнул псу некое магическое слово, после которого тот сразу приобрел как бы картонную наружность. — Я к вам одновременно по трем сверхсрочным делам.

— Ничего не покупаю,— сказал Скутаревский.

— Ничего не продаю,— отозвался Штруф и прибавил многозначительно: — Хотя есть вещь, за которую вы схватились

бы и которая не весит ни грамма, но я не отдам ее даже за этот мир.

— Тогда входите, черт возьми. Полкана на гвоздь! — И, впустив гостя, плотно прикрыл дверь.

Не дожидаясь приглашения, Штруф уселся на койке и с видом усталого достоинства придвинул стул Скутаревскому — так, чтобы сидеть лицом к лицу. Теперь он имел вид почти торжественный; веки его часто и чувствительно моргали; воротник густо был припудрен перхотью.

— Меня обидеть трудно, Сергей Андреич, уже потому, что я бесконечно предан вам. И хотя это преувеличение основано главным образом на полном бессилии моем, вы можете быть вполне уверены, что я не плюну вам в чернильницу, когда вы отвернетесь. Как ваше здоровье, такое и политическое? — И, не дожидаясь ответа, гнал дальше: — Я пришел извиниться. Ту маленькую собачку, которую я обещал вам в минуту слабости, я проел. То есть продал, разумеется, но горьки мне были эти деньги, как самое собачье мясо. Взамен я мог бы предложить этого совершенно прирученного дога... или притащить альбом с моими собаками, чтобы вы могли выбрать.

— Нет,— кратко высказался Скутаревский.

— ...равным образом я мог бы взамен предложить вам поммер, великолепно сохранившийся. Это древнейший предок того фагота, которым вы, без сомнения, прославите себя в той же степени, что и наукой. — Речь его звучала почти изысканно, но язык, к сожалению, заплетался. Во всяком случае, было бы варварством прервать руганью или пинком такое ученое вступленье. — Я смею догадываться, что это и есть первое творенье того великолепного мессера Афранио дельи Альбонези, каноника, который впервые догадался перегнуть трубку неуклюжей бомхарты пополам и сложить ее наподобие связки фаготто. Отсюда и название! Lei capisce? [1]

— Говоря скромно, чтоб не обидеть, вы пьяны нынче,— вставил Скутаревский, несколько потешаясь.

Гость тонко улыбнулся: гаеры, паяцы, шуты гороховые всегда бывали аристократами даже среди истинных королей!

— Исключительно из заботы о здоровье. Пью давно, и уж не один гипнотизер на мне сломался. Но... водка промывает капилляры и, по слухам, растворяет крахмал.

Нужно было все же иметь чрезвычайные основанья, чтоб для начала обнаруживать такую наглость.

---

[1] Понимаете? *(ит.)*

Сергей Андреичу стало жарко от гнева и тесно в воротничке; он расстегнул его и ослабил галстук.

— Я знал, что вы шут... но ничего, щекочите меня. Мне интересно ваше мозговое устройство.

Штруф встал, поклонился и продолжал, прокашлявшись:

— Собаку, значит, вы не хотите. А жаль: отменной марки. Медали ее родителей занимали пространство в два с половиной квадратных... и я бы советовал потому, что в плане ваших электронных теорий человек не имеет преимуществ перед собакой. Я позволю маленькое отступление. Бесконечность, полагаю я, рассчитывая на ваше снисхождение, прерывиста: волны, линзы, интервалы бытия... островки! Научному человеку это должно быть понятно. В ней висит некое извечное вселенское руно, а перпендикулярно к нему проходит плоскость, разделяя будущее от прошедшего: словом, проекции этих линий на плоскости и суть мы, люди и собаки, но вот я, Штруф, вопрошаю: кто сказал, что эта плоскость одна?.. — Он потер лоб, кашлянул и сконфузился. — Простите, я запутался, забыл один тут поворот... Поворот к бессмертию! Я хотел сказать, что ты только рябь на воде, следы от чьих-то дуновений. Все это, впрочем, к тому, что собаку эту я оставляю бесплатно, но с условием — я буду навещать ее в праздничные дни.

— Я уже сказал — нет,— засмеялся Скутаревский.

Без тени смущенья Штруф почесал верхнюю губу.

— Второе дело — серьезнее. Я собираюсь говорить о вашем брате. — Он сделал паузу, соответствующую важности момента. — С некоторого времени я живу у Федора Андреича. Он приютил меня с простотою истинно гениального человека, когда меня раскулачивали в шестой и уже в последний раз. Надо отметить, что он очень уважает вас: он считает, что вы безмерного величия человек, а он только тень ваша. Я стал, в свою очередь, его тенью, таким образом мы с вами родственники. Долгое время мы упражнялись с ним в трудах и размышлениях об искусстве. Я изучил его в подробностях. Это почти кит, но кит наполовину дохлый. Если его не поддержать, он сломается. Он задумал смешную вещь...

— Чему вы улыбаетесь? — теряя терпение, осведомился Скутаревский.

— Я отвечу словами Мотаннабия: пусть тебя не вводит в заблуждение улыбающийся рот.

— Мотаннабий — это вы выдумали сейчас!

Лицо Штруфа посуровело.

— Я читал эту книгу в девятнадцатом году, в трехдневном ожидании поезда, на станции Арзамас,— торжественно объявил Штруф. — Помню, на полу лежали вповалку люди, три сотни человек, из них, наверно, штук сорок в сыпняке и уже мертвых. Я помню также ночь, блеклое окно станционного фонаря и страницу арабской книги, почему-то закапанную стеарином. И я понял этого тысячелетнего араба...

— Мне неинтересно про араба, щекочите меня на другой манер.

— Хорошо, я умолкаю, хотя я такой же царь вселенной, как и вы... Итак, после одной шумной беседы ваш брат с маху кинул в меня ножом. Волнение помогло ему промахнуться. Мне стало жалко его: мир так тесен, что даже и Штруфа, мертвого, в нем спрятать некуда. Я извернулся и сказал: я не смею умирать так рано... и я прощаю тебя, знаменитый артист. И я намерен уйти от него совсем. Скоро я буду окончательно свободен, чтоб не присутствовать при его художнических мытарствах. Я могу быть полезен всякому в диапазоне от няни — до мозольного оператора. Если хотите, я буду жить у вас.

— Мерси, не вышло,— твердо и не без юмора ответил Скутаревский. — Кстати, смахните... у вас клоп на воротнике.

— Да? — удивился тот и, зажав в пальцах, прибавил: — Нет, это просто черный хлеб. Итак, теперь следует пункт третий... — Он нерешительно погладил колено, желвачки под его глазами дрогнули. — Вы переживаете сейчас трудный процесс распада семьи. Я вижу это, милый профессор, и страдаю вместе с вами. Я обязан прийти на помощь.

Скутаревский брезгливо шевельнулся:

— Послушайте, вы, царь вселенной... вы эти свои штучки бросьте!

— Одну минутку терпенья! — Штруф слегка отодвинулся, и в голосе его зазвенела какая-то жестянка, уцелевшая от общей ржавчины. — Итак, я имею предложить вам для удобства некоторых перемен... купить квартиру. В центре города, у застройщика. Голландское отопление, электричество, водопровод, утепленная уборная, окна в сад. Весной — совершенный парадиз. Вполне подходящее помещение для переживаний. Я бы даже мог начертить план, если бы вы...

— Ступайте вон, гадкий дармоед вы... — с непостижимой вялостью произнес Скутаревский, вставая.

Вслед за ним поднялся и Штруф; не было в нем и тени смущения за эту уже последнюю в их отношениях неудачу.

— ...если вы пожелаете,— совершенно спокойно досказал он. — Шестнадцать сажен полезной площади, ванна требует небольшого ремонта,— колонка распаяна... И думайте крепко, потому что телефона у меня нет, а конкурентов шестеро. Я не обижен на вас, потому что уважать меня — значит не уважать себя. Не смею задерживать долее... — И вышел, не разжимая пальцев, унося свое с собою.

Из прихожей донеслось урчанье отвязываемого пса, потом ерзанье калош, потом громкий шорох, точно два огромных тела одновременно протискивались в тесную дверь. Скутаревский выскочил в прихожую, когда в проходе исчезал безволосый, какой-то спиральный хвост пса.

— Слушайте, вы!.. — крикнул Сергей Андреич.

Тот обернулся неспешно и в галстук Скутаревского глядел даже величественно; он был раздающий блага жизни и, пожалуй, презирал принимающих.

— На будущее время... меня зовут Осип Бениславич,— внушительно, на всю лестницу, сообщил Штруф; на площадках лестницы к нему возвращалось достоинство, на улице же он бывал просто неприступен. — И потом прошу быстрее, я спешу: у меня дома сука родит...

— Меня интересует, Осип Бениславич... — тихо, стыдясь лестничного эха, сказал Скутаревский,— сколько стоит ваша квартира?

Штруф помолчал:

— Давеча она стоила двадцать семь. Теперь она стоит ровно тридцать тысяч, Сергей Андреич. Я должен поправить свое здоровье, расшатанное вашими выходками.

— Но это безумно... никто не имеет таких денег! — вспыхнул Скутаревский.

— Да... но и коньяк подорожал. Теперь, надеюсь, вы поняли: вопрос о вашем здоровье — вопрос о вашей кредитоспособности. Я не могу бросаться такими суммами... — И, поклонившись еще раз, с беззаботным видом сытого человека стал спускаться с лестницы.

Он спускался медленно, давая Скутаревскому время думать, и пес его помахивал хвостом так, как поигрывает тросточкой перед почтенным человеком всякий гуляющий и пули достойный прохвост.

ГЛАВА 14

Первое возмущение схлынуло, и осталась досада: общий тон и мотивировки Штруфа заслуживали, конечно, мордобоя, но Штруф ушел и унес с собою последнюю возможность покончить с этим не в меру затянувшимся семейным анекдотом: уехать подальше от шкафа с пропылившимися парнасцами стало насущной потребностью Скутаревского. Но квартир в городе не было, и средства, отпускаемые на строительство новых домов, не покрывали острой жилищной нужды. Поэтому предложение Штруфа представлялось особенно заманчивым и могло не повториться. Правда, отыскать этого щелкопера было легко,— со своими фантастическими товарами он мотался по десятку знакомых,— стоило только свистнуть. И Сергей Андреич свистнул бы, и даже с признанием застарелой вины перед Штруфом, имей он только в достаточном количестве деньги. Но вот денег-то и не было! Зарплаты его хватало лишь на утоление насущных потребностей, сбережений не было вовсе, и даже если бы раскидать с молотка смехотворные сокровища Анны Евграфовны, требуемой суммы все равно не набралось бы. Впервые Сергей Андреич с такой остротой чувствовал отсутствие денег на текущем — так, кажется, зовется это у порядочных людей — счету. И, несмотря на свою житейскую неумелость, он довольно быстро сообразил, что в таких случаях деньги занимают у приятеля; следовало только выбрать самого денежного и членораздельно объяснить ему случившуюся нужду. Дальше все шло по правилам логики, нормальной для всякого наивного, провинциального человека.

Тот выписывает чек и, игриво трепля смущенного друга по плечу, сует ему в жилетный карман бесценную хрусткую бумажку. Потом Сергей Андреич грузит на извозчика книги и чемодан с бельем, ставит между ног араукарию и, троекратно расплевавшись со своим вчерашним днем, по-студенчески перебирается на новое жилище. Женя приходит часом позже, с цветами, совсем не похожими на те, которые были в страшное утро его фактической женитьбы; она прячет их в прихожей: приличному секретарю, качества которого должны совпадать с качествами арифмометра, лирических эмоций не полагается. К концу дня все тот же Штруф, помолодевший от чужого счастья, привозит дешевую, бамбуковую, например, мебель. Он еще сердится, но лишь для вида. Стулья скрипят, гнутся, их пахучий лак прилипает к пальцам, но все это в гомерической

степени способствует ребячливой радости новых жильцов. Вечером Сергей Андреич читает Жене свое очередное сочинение о трансформаторных маслах; его изобретательность соперничает с остроумием. Длиннейшие формулы легко укладываются в прелестные ямбы и анапесты. Женя слушает с упоением, поджав под себя ноги и кутаясь в мягкий пензенский платок,— в раскрытую дверь вместе с затихающим гулом города плывет влажная вечерняя прохлада... Женя спорит, она сторонница несколько иного направленья, но Скутаревский говорит строго: «Ну, ну, пора спать, товарищ секретарь... утром потрудитесь отправить в типографию гранки...» Она уходит нехотя; ей жалко, что в прочитанном куске рукописи только шестьдесят страниц, и еще ей хотелось бы, чтобы Скутаревский поиграл хоть немного на фаготе. Он догадывается и берется за инструмент; вот он держит фагот, как ружье, наизготовку; вот он играет священную человеческую весну. Все, весь мир, видит в фаготе лишь гротескное, да и Скутаревский склонен понимать свой инструмент лишь как комический оркестровый голос; Женя впервые раскрывает в нем сходство с лирической, простодушной свирелью Пана. Кажется, это и распахивает ее душу. Играй, играй, лесной старик, шевели склеротические пальцы, пой про благословенную жизнь, которая пускай становится тысячекратно шире и разливистей!.. И вот, Скутаревский живет, но ему хочется еще больше ущемить себя железной дисциплиной, слиться с толпами, которые со сжатыми губами идут на штурм, свершать для них, бороться и... любить? Ресницы Жени дрожат, но время приказывает расходиться; тонкая фанерная дверь надежнее проволочных рогаток разделяет их до утра. — Весь этот комплекс канареечных ощущений проскочил в нем за то краткое мгновенье, пока он раскрывал перед собою книжку с записанными номерами телефонов. Он начал с А и сразу надул нижнюю губу.

На эту букву были помечены главным образом сухие казенные люди, как определил он с первого взгляда, а казенному истукану не откроешься; он перевернул страницу без сожаления. С буквы Б начинался разнобой: Брюхе был уже недосягаем, у Брасова была умильная морда ксендза и давленые клюквенные губы паяца, Бобович уехал в Туркестан на новостройку. На букву В вовсе не было людей, а лишь названия учреждений, каждое из которых произносилось так же трудно, словно напильником проводили по зубам... Логика его терпела ущерб, он залистал странички быстрее, выписывая на бумаж-

ном клочке возможных кандидатов в благодетели. Иные были отвратительны ему: у Граперонова М. Н. всегда нестерпимо пахло изо рта чернильным карандашом; Граперонова К. Н., этого цинического бонзу в шелковой шапочке, потому что зябла лысина, он вообще беспричинно презирал. Вездесущие Давильцын и Зуммер были, по существу, невежды и авантюристы, несмотря на значительные посты, куда их выбрали для заполнения новой мебели ленинградского треста; откровенная контрреволюционность Кортенки коробила Скутаревского; Мумарев, нелюдим, жадюга и заика, все равно не даст. Талицын — такой тощий и плоский, точно спать ложился в книгу и прикрывался кожаным переплетом — непременно кашлянет в кулачок и — «кхе-кхе, скажет, я подумаю...» Сергей Андреич испытал дробненький холодок в лопатках: друзей у него в наличности не оказывалось, и это было страшно. Дальше он перелистывал страницы уже с вялым любопытством, по старой привычке доводить научное исследование до конца... Его улов был небогат, на полях остались выписанными лишь две фамилии: Девочкин и Петрыгин. Иван Иеронимович Девочкин — это было смешно, весело и величественно; известный хирург, гремевший в свое время в обеих столицах, демократ, любимец студентов, надежда своего поколения и умница, всегда искренне, по-дружески и, как старший, несколько покровительственно относился к Скутаревскому. В общем, Сергею Андреичу все-таки везло,— он схватился за телефон.

К телефону долго не подходили; потом откликнулась жена Ивана Иеронимовича.

— Это я, Скутаревский... — засмеялся Сергей Андреич, заранее радуясь удаче. — Вы, наверно, думаете, что я умер. Ерунда, все-таки я пригласил бы вас на панихиду.

— Нет, я не думала этого,— без выражения ответила жена Девочкина. — Да, здравствуйте...

— Иван Иеронимович дома?.. или загулял? Мне его по делу на минутку...

— Нет, его нету... — Она помолчала и затем сказала с упреком: — Иван Иеронимович помер.

— ...как? — гаркнул Скутаревский, почти падая на аппарат, и какая-то пелена отделила его на мгновенье от живого мира. Его обожгло это известие, но как-то сразу он примирился с ним и дальше, может быть, скучал: — Когда?..

— Месяц назад, об этом было в газетах... — И, почувствовав, что незнание Скутаревского правдиво, стала рассказывать

о последних минутах мужа — обстоятельно, нудно и с бесконечными повторениями, как умеют только вдовы.

Описание последних минут Девочкина заняло более получаса. Сергей Андреич слушал ее дряблый старческий голос со стыдом и досадой; шутка, которою он в начале разговора приветствовал вдову, звучала явным балаганом. Вдове же приятно было рассказать другу покойного все мельчайшие детали болезни; потом она начала плакать в телефон, и Скутаревский принужден был произносить соответственные утешения такого банального стиля, что едва положил трубку — осталось ощущение, точно воду на гору таскал. И хотя монументальную тень Ивана Иеронимовича не так-то легко было выселить из памяти, он решился на дальнейшие поиски. Оставался только Петрыгин... Правда, он приходился родным братом женщине, которую Скутаревский покидал, но Петр Евграфович не мог не понимать, что в разрыве этом заключается и освобождение сестры из мучительной и скверной истории; кроме того, уж он-то наверняка владел свободными средствами!

Ехать на поклон к Петрыгину, конечно, было противно. Даже и в годы молодости, когда подступали официальные случаи, Сергей Андреич старательно избегал таких посещений. Консервативный, мелочный уклад шуриновой жизни отвращал его в высочайшей степени. За последние годы тот и сам не настаивал, чтобы грустное это родство трансформировалось в прежнюю дружбу,— а Скутаревский и вовсе обрадован был бы любой оказии навсегда вычеркнуть его из памяти. Конечно, тот выразил бы притворное, немножко чопорное удивление, но, в сущности, возликовал бы от возможности быть полезным заносчивому зятю: конечно, он предложил бы немедленно послать за ним машину, если только Скутаревский нуждается в разговоре наедине, а собственный его бьюик окажется, например, в ремонте. Как бы то ни было, Петр Евграфович знал, что такое гостеприимство не останется без щедрой оплаты. В общих условиях того года самый факт посещения Скутаревского представлял собою вещь, из которой предприимчивый деляга мог выцедить всяческий барыш.

Встреча их могла быть крайне любопытна. Знаменательный банный разговор так и не получил завершенья, каждый верил, что за ним осталось последнее слово. Правда, сибирская райстанция, по сведениям Черимова, работала бесперебойно, и потом по почте однажды Сергей Андреич получил резолюцию на залитой чаем, нарочито неряшливой, папиросной бумаге:

«...принимая во внимание повышенную влажность торфа, при которой котлы не дают полной своей мощности, а также удаленность от центра и слабую квалификацию местных технических сил, признать, что увеличение резервов в данном случае оправдывает себя». Без сомнения, бумажка была послана по требованию Петрыгина,— может, даже сам и в конверт заклеивал,— со специальной целью утереть нос Скутаревскому. Но Сергей Андреич, охладев к сыну, и не собирался скандалить по поводу подозрительного казуса; новые подоспевали заботы, и далекая сибирская торфянка давно закуталась в крепкие сибирские туманы. Надо сказать, что забвение далось ему без особых усилий совести. Сын — это еще болело, но уже как прошлое. Дорога к Петрыгину была свободна, и Сергей Андреич хотел думать, что поездка туда не составит для него жестокого и унизительного компромисса. И тут-то снова разыгралось потревоженное его воображение.

Старинный с бездарной декадентской облицовкой дом, где безвыездно существовал Петр Евграфович, каждым камнем своим наводил уныние. Это начиналось с богатой и затхлой лестницы, которая не мылась, видимо, со времен Октября,— со щербатых ступенек с выкраденными плитками, с мутных стен, где зияли линялые потеки плевков. Кажется, обитатели этой обширной братской могилы, разочаровавшись в справедливости, и не добивались более в этом мире красоты. И верно, жили здесь разные люди со стреляющими двойными фамилиями, старомодного покроя и безвозвратно умерших профессий. Мнемонически Сергей Андреич запомнил: дверью в дверь с Петрыгиным помещался один когда-то чудовищно знаменитый адвокат, но слава изошла из него, как воздух из резинового чертика,— скорбную скобленую кожицу его иногда встречала Анна Евграфовна у брата на лестнице, когда кожица спускалась проветриться и погулять. Жизнь спрессовала обитателей, как туркестанский изюм, в тяжеловесные тюки; давно они утратили собственную форму и цвет; они путешествовали в будущее с тем же равнодушием, с каким несется в космическое пространство весь неживой инвентарь планеты... Стоялая вонь прошлого шибала здесь в нос гостя, как из детского пугача. Распахивалась забронированная полдюжиной замков дверь, и ошеломленный посетитель видел себя во весь рост, как бы изъеденного рваными чумными пятнами: осыпалась с зеркала древняя екатерининская амальгама. Квартира Петрыгина являлась логическим продолжением лестницы. Потом начиналось

шествие по низким, как бы сужающимся коридорам, густо заселенным вещами. Иное валялось на полу, неторопливо ползя к помойке; иное, запакованное в рогожи, пылилось на самодельных полатях; иное с обезьяньей ловкостью держалось на стенах. Все это были вместительные резервуары давно погибших эмоций: люстра, вазы, аристон — большая музыкальная шкатулка, невероятная пищаль, из которой сам изобретатель не посмел выстрелить ни разу, и, среди прочего, общежитие мелких хрущовых жучков, ловко сделанное в виде чучела морской птицы. Этими вещами, как на бирках крепостных мужиков, отмечались грозовые происшествия тех лет. До войны вещи выглядели осмысленно, но вот сломалась ножка у павловского столика, и починить его было некому. В тот год, одновременно с знакомым краснодеревщиком, призвали и Платошу ратником второго ополчения. Неожиданно упала люстра и придавила любимого кота. Потом пошли черные газеты и белый снег последней российской зимы. Запасали сахар и крупу в огромные севрские вазы, которые пригодились впервые в жизни. Продавали почти даром французскую эротическую библиотеку Евгения Евграфовича, растерзанного солдатами на фронте; спекулянт, который обменивал ее на муку, унизительно долго рассматривал похабные картинки, хохотал, трогал пальцами, чтоб удостовериться, а владельцы библиотеки стоя терпеливо ждали его решения... Замерзла уборная, лед пробивали старинной пищалью, и тут бабушка Екатерина Егоровна умерла от сыпняка. Стреляли с соседней крыши по юнкерам и прострелили ящик аристона; Платошу пристрелили еще раньше. Домком отобрал пианино для детских яслей. Петр Евграфович отморозил ногу в очереди за мороженой картошкой. Продали диван, продали сервант, продали люстру, обменяли на мыло бронзового Пигмалиона... Потом переменилось: купили диван, купили буфетик, починили аристон, купили пианино, купили... это был нэп. Потом опять продали уже накрепко. Чаще приходили старьевщики, барахольщики, антикварные проныры, соглядатаи, Штруфы и просто глядуны. Ужасный дом этот лихорадило; он уже не примечал событий, но только бредовую, блошиную скачку вещей, закрутившихся в буревом смерче...

Сергей Андреич испытывал томительную скуку, когда видел икону в углу петрыгинского кабинета, повешенную на виду. Сам Петр Евграфович давно разуверился во всем, икона служила ему лишь средством вызова, протеста, своего рода

степкой, за которой отсиживался до поры. Но не скуку, а прилив ярости чувствовал Скутаревский, когда видел аристон, под который праздновали его женитьбенную сделку. Вещи стояли мрачнее могильных памятников, но, он знал, в секретном ящичке одной из этих деревянных развалин хранились бесценные тридцать тысяч, необходимые ему для вступления в новую жизнь. Запустелое место требовало к себе уважения, и следовало заранее побороть свою непримиримость. Может быть, даже придется раскланяться с адвокатской кожицей или спросить о здоровье содержимого в неряшливом капоте, которое проскользнет посреди разговора по коридору. «Редкий гость, редкий гость...» — заговорит хозяин, весь играя, как призма, когда тонкий и сочный попадет в нее луч. А сам будет думать: «Неспроста, неспроста... Скутаревский зря не пойдет к Петрыгину». Потом он заведет политический разговор, в котором пошлость искусно сочетается со сплетней, а Скутаревскому останется — поддакивать? Ну да!.. ведь это он, Скутаревский, придет к Петрыгину просить денег, а не наоборот.

Словом, Сергей Андреич трижды брался за трубку и всякий раз, точно тяжесть ее превышала его силы, не мог оторвать от рычага. Прямая необходимость, ибо бушевала на кухне жена, снова гнала его к аппарату, и он шел, презирая в себе минутную слабость. Еще неизвестно, однако, сдался ли бы он на петрыгинскую милость, когда прозвучал телефонный звонок. Трубка едва не выпала из рук: ему везло, звонил сам Петрыгин, и в голосе его, слегка порхающем, не отражалось и доли прежней неприязни. Очень спокойно, вполне с тактом, он приглашал зятя поехать за город, в деревню, в глушь и снег, на лисью охоту.

— Тебе полезно, родной: ты заплесневел, как груздь без засола. Небось и мысли скверные лезут. В наше время чаще следует думать...

— ...о спасении души? — засмеялся Скутаревский, потому что ему тоже стало жарко и весело.

— Нет, но об умственной гигиене.

— Да, ты прав,— бормотал Сергей Андреич, размышляя, что, наверное, с таким же ребяческим ликованьем обставляют друг друга жулики при дележе добычи. Разыгрывая видимость сопротивленья, он прибавил на всякий случай: — Да, но у меня завтра...

— Возражения не принимаются. Ехать сегодня,— перебил Петрыгин. — Все... валенки, ружье, лыжи... все будет на месте.

Возьми зубную щетку и полотенце. Я заеду за тобой через час.

И сразу, в разбивку, точно опасался, что Скутаревский сбежит, принялся расписывать про исключительные условия охоты, про замечательного егеря, которого держал на жалованье, про его теплую избу, про красоты зимнего леса, про удовольствие от стакана гретого вина и про вековечную мудрость мирных деревенских щей. Чтобы быть ближе к делу, Скутаревский согласился уже с первого слова. Нейтральная уединенная обстановка вполне согласовалась со щекотливой темой разговора. Кроме прямых выгод, представилась еще побочная — на сутки оставить Женю наедине со своими мыслями. Сергей Андреич замечал, что из понятных подозрений она избегает даже глядеть на него: и правда, он несколько громоздкими приемами нанимал себе секретаря.

Все происходило именно так, как пообещал Петрыгин. В назначенное время он ждал Скутаревского в машине Энерготорфа, посмеивался, потирал руки и шумел.

— Влезай, влезай... Ну, что у тебя нового? Так и не узнал, отчего рыбы светятся?

Сергей Андреич с размаху вдавился в кожаное сиденье,— машина скользнула из переулка.

— Ну, ты, вероятно, уже все слышал,— и покосился на шофера. Но Петр Евграфович не стеснялся:

— По городу ходит про тебя уйма слухов, но сплетня разжигает аппетит. Черт, прямо шекспировские страсти. Сестра рассказывала, ты даже зубами скрипишь по ночам и сервизы бьешь?.. кстати, она молоденькая? Где ты ею раздобылся?

Он спросил об этом вполголоса, сделав неуловимый жест и с тем доверительным мужским акцентом, который допустим только между старыми приятелями. И, выстрелив в него новым хохотком, уставился наивным оком — попало ли. Лицо Сергея Андреича жестко чернело на фоне мелькающей улицы. Скутаревский молчал, и Петр Евграфович понял, что стиль беседы следовало подобрать иной. Игра велась вкрупную, и требовалась повышенная деликатность к тому, кого собирался обыгрывать. Тут захватила их вокзальная суматоха. Облака сквозного пара подымались к лампионам, одышливо пыхтели паровозы у перрона, и где-то на путях, убегавших в безлюдную тьму, скупым дорожным криком перекликались отходящие поезда. Наступала зимняя ночь; она заглядывала сюда полукруглым куском неба, из которого, медлительные, танцуя и порхая, неслись снежинки. И хотя вот тут же, в двадцати

шагах, за кирпичным углом багажного домика шумел город, все обычные мысли растворились в волнении неожиданного путешествия... Еще раз Петр Евграфович попытался установить душевный контакт со спутником своим.

— ...слышал? Прогресс. Банщики единодушно идут в управление государством. Я про этого, про родственника комиссара твоего. Понимаешь, выбрали в райсовет... Я встретил его на днях в жилищной секции. Обрился, физиономия — совершенный ростбиф и с этаким морковным гарниром. Странно, как в начальство — так прыщи. «Когда попаримся?» — говорю...

— ...а он? — быстро, с возмущением спросил Скутаревский.

— Он сказал: «Не задерживайте, гражданин». Но я не уходил... Он замигал, чудак, и отвернулся.

— Радуюсь за Матвея Никеича,— суховато сказал Скутаревский.

Петрыгин дружелюбно коснулся его руки:

— Ты всему теперь радуешься, положение твое такое: тебя купили. Нет, не на деньги... но тебе верят безоговорочно, а это самая страшная монета.

— Чудно ты говоришь: совсем как твой тесть, с той же хрипотцой даже. — Скутаревский посторонился от моторной тележки, груженной ящиками. — Давай не будем об этом... Ну, как твой сахар?

Петрыгин оборвался; установившийся метод впервые не оправдывал себя. Обычно дело начиналось также со смешной историйки, со скептических намеков, с рассказа о передовизме старого хозяина, а кончалось серьезным и вполне деловым разговорцем о желательности экспедиционного корпуса на Кубани и, в случае дальнейшей удачи, восстановлении частного капитала в России. Уж он-то крепко знал по самому себе: в русском человеке всегда и всякие найдутся дрожжи. Но, очевидно, была ошибочна первоначальная установка... Охотникам удалось занять место у окна, и тотчас же Петрыгин закрылся газетой, а Сергей Андреич глядел на бегущую вереницу подорожных елей за окном и размышлял в том смысле, что наступление на петрыгинские деньги следует начать не ранее утра. Пока над бескрайним полем стояло еще застылое зарево Москвы, пока мелькали в памяти названия знакомых станций, донимали городские заботы. Потом стало бледнеть все, оставшееся позади,— сказывалась многомесячная уста-

лость, а выйдя в снежное безмолвие полустанка, Скутаревский вздохнул глубоко и протяжно, точно просыпаясь от трудного затянувшегося сна. Морозный, ни даже шорохом не засоренный воздух неприятно покалывал лицо; тишина щемила сердце и сообщала телу сознание ужасающей его неповоротливости. Да и вообще — очарование деревенской жизни, больших расстояний, птичьего щебета на заре, сурового житейского уклада и монументальной скудости впечатлений — было всегда ему чуждо.

— Вот она, великая купель,— тяжеловесно, в пустоту перед собою, вздохнул Петрыгин, едва ступив с платформы на хрусткий, незатоптанный снег.

Просторные мужицкие дровни ждали тотчас за переездом. Охотники улеглись на сено. Егерев сын, он же и обкладчик, парень в огромном промороженном кафтане, подсупонил лошадь и на ходу заскочил в передок. Путешествие началось с глубокого оврага, куда вдруг, как в сон, понеслись сани; потом наступил длительный подъем на гору и безбрежная за нею иссиня-серая ночь. Лежа на боку, кряхтя на ухабах, Петрыгин расспрашивал возницу о деревенских новостях, снисходительно — о ребенке, который родился у егеря на прошлой неделе, нажимисто — о колхозах и настроениях мужиков и, наконец, с зевком — о самой лисе.

— ...обложена. Два круга сделала... маялись с ней до вечера. Теперь не уйдет,— сказал паренек, останавливая конька и скидывая рукавицы.

По колено проваливаясь в снег, он сделал несколько шагов в поле и, наклонясь, пощупал снег. Там раскидистый, три — пучком и один в остатке,— еле приметный проходил лисий следок. Накрест захлестнув его кнутом, он молча вернулся к саням.

— ...есть? — таинственно спросил Петрыгин.

— Третья. Днем спугнули: скоком шла... — бросил паренек.

Лес наступил сразу, и с ним дремота. Крепче вина убаюкивали восемнадцать скрипучих километров по ровной лесной дороге. Егерек подстегнул, и комья снега из-под копыт полетели на седоков. Черные ветви елей со свистом хватались за дугу. В сонном сознании Сергея Андреича они уподоблялись то указательному персту, то густым усам покойного Девочкина, то — неожиданно — браунингу,— и среди гипертрофированных этих образов не уместилось ни одного, имевшего не-

посредственное отношение к ремеслу или чувству. И даже самое слово Женя растворилось без остатка в синем этом безбрежии, которое оттого стало хрупким и напряженным, как стальная струна.

ГЛАВА 15

Лиса шла краем леса.

Всю ночь она путляла у деревни, выслеживая еду. Но морозом хватило еще с полудня накануне; серый ветер ударил с севера, сдувая снег и вороньи стаи с голых, звонких вершин. Охота не удавалась,— куры задолго до сумерек забрались на ночлег... Там неглубокий овражек подступал к самым задворкам, и в нем, вкруг незамерзающих родниковых промоин, частый и непроходный теснился ивнячок. Лиса ждала терпеливо; она куснула мерзлое корье, чтоб горечью умерить истечение слюны, и опять ждала. Голод томил ее; глаза ее стали умнее. Она решилась сделать здесь лежку до рассвета, когда головатый белый петух, нарядный ерник и хлопотун, выйдет в обход своих владений. Она почти любила его, это была давняя неутоленная любовь; она начиналась от самой его шеи, одетой гибким и жирным пером, и через томительные, красного цвета ощущенья кончалась горячими, сочными костями, одно воспоминание о которых вызывало одурительный зуд в лисьих деснах. И вот она уже промяла брюхом снег, но тут въехали с разгону пошевни в овраг, и впервые за много пустых лет с убийственной удалью бренчал под дугой бубенец. Лиса вспрянула, переметнулась через ручей и легким скоком пошла в поле. Наст уплотнился после недавней оттепели, и круглая ее, полусобачья лапа почти не взбивала снега. Среди поля лиса остановилась, вскинув короткие, темно-кадмиевые уши, и слушала затихающий звук, уже на две трети разбавленный тишиной и расстоянием. Потом, когда истаял, источился он о шершавое пространство, она поднялась в лесную чащу, домой.

Здесь было глуше и надежней. Запоздалая синица с писком перелетела на ветку, роняя снег на лису,— почти грустно та проследила ее полет. Стояла зима, и ни майского жука, ни тетеревиного яйца вокруг. Сумерки густели, небо предвещало холодную ночь; ранние звезды покрупнели, стали точно вымытые, и вот в каждом лисьем глазу отразилось по звезде. Походкой ленивой, даже мешковатой с голодухи, она побрела к норе. В сущности, обширный, многоизвилистый дом этот,

вырытый в песчанистом бугре, принадлежал барсуку, но тот спал и не выражал недовольства против теплой и пушистой затычки: пронырливый зимний ветер добирался до него. Нора была совсем близко, — в просвет между деревьями виднелся громадный, синий провал обрыва. Лиса подошла не сразу; по дороге она обнюхала надломленное бурей дерево, но запахи были привычны: клейкий, четкий — промерзлой смолы, и еще сытный, маслянистый, крепко профильтрованный снегом — прошлогоднего копытня. Ничто не содержало угрозы и не таило опасности, но лаз в самую нору был заткнут снегом и хворостом. Лиса коротко взвизгнула и быстро отошла. Синие звезды падали сверху, порхали между ветвей, и в такт им начинало покачиваться тонкое ее тело. Это был голод, и он пересиливал страх. И хотя совсем не время было мышковать, лиса рванулась в другой край леса — там, на хлебном поле, у опушки, она учуяла однажды под снежной кочкой мышиный выводок. Она не ошиблась, она думала запахами; к острому аромату травы, которую надо жевать при поносной болезни, потом — кататься, примешивался тот, ершистый, востренький, каким пахнет по зиме всякий звериный подшерсток.

Весь этот путь она прошла в прыжок; оставалось лишь спуститься по отлогому скату... и вдруг остановилась, вся подавшись на хвост. Тело ее напряглось, готовое отдаться стремительному прыжку. Длинная веревка пересекала ей путь, вся увешанная красными угольчатыми тряпками. Стало уже темно, и она скорее учуяла, чем распознала, цвет, потому что именно красное есть цвет хитрости, цвет ее вкусового смысла и завершения. Промороженные, скоробленные на морозе да еще смоченные предварительно карболкой, флажки изгибались, тряпичными остриями устремляясь в глубь леса. Мирный низовой вихорек беззвучно покачивал их... Лиса смотрела: каждой шерстиной своей чуяла она это безличное, смертельное лукавство. Не трусость, а вековой опыт ее дедов, ладных огнистых, рослых кобелей, ускользнувших от помещичьих борзых, от лесных пожаров, ухромавших хотя бы на трех лапах из зубастой железной челюсти, разверстой на снегу, — проснулся в ней. Нетравленая, нестреляная, она смотрела даже весело; она еще не ведала лихих повадок Романа Ильича. Идти наперерез веревке или проскочить под нею было физически еще труднее, чем бежать против вьюжного ветра.

Летучим, неспешным скоком, потому что самая ночь сулила безопасность, она сделала две обманных петли и там, где

еще накануне изгрызла постную жилистую птицу, снова вышла на флажки. Они стали совсем черными, и это также было только цветом ее ощущения. Тогда она метнулась напрямки, в овраг, но и там, по всему спуску в низину, шелестели черные кумачные лоскутки, настриженные аккуратной рукой егеревой жены. И опять лиса не посмела перескочить через опыт своих предков и родичей; также не могла она понять, что круг этот — ее последнее смертельное кольцо; она не умела объединить в целое уйму одинаковых по качеству, но разрозненных во времени впечатлений; она догадывалась лишь, что счетом хитрость не одна, что хитростей много. Надеясь утром найти какой-нибудь незатянутый прогон, она вернулась в лес и сделала лежку прямо в снегу, под угревой рогатого палого корневища.

То был крупный зверь, двухгодовалая сука, чистая огнянка по масти. Щемило ей соски, набухающие на брюхе, а чуть солнце — она шаталась, как пьяная, посреди сверкающих снегов, и тогда звезды падали в ее глазах даже днем. Ее длинная, по-волчьему расклоченная шерсть отливала в краснину, как верховая шелуха сосен в закате. Все о ней по ее собственным следам вычитал егерь Роман Ильич; ее петли и сметки были почти волчьи, но петель было вдвое против волчьих. И когда на лыжах гонялся за ней до изнеможения, до тех же звезд в глазах, до сосулек на седеющих висках, знал, что гоняется не зря. Дважды она уходила из круга; Петр Евграфович заставал ее на третьем, и не то чтоб ему везло, просто он был самый щедрый из клиентов Романа Ильича. Но хотя Петрыгин во всем старался блюсти старобарскую видимость, не уважал Петрыгина Роман Ильич. «Мышкует, рыльца не щадит...» — говаривал он и еще ниже склонялся за каждую лишнюю пятерку — прятал глаза... Умирало старинное егерское, равно как и банное, ремесло; мельчали лисы и пропадали,— всякую осень он с трепетом выходил на порошу — прострочило ли ее следком. За последние годы, впав в ничтожество и бедство, Роман Ильич возненавидел свой тяжелый и неровный хлеб. Семья состояла из семи, приезд охотников совпал с появлением восьмого; это он оглашал ревом избу, когда Скутаревский, непривычно застегивая на себе патронташ, выходил ранним утром убивать рыжую. Впрочем, Сергей Андреич слышал только голос самого Романа Ильича, который шел сзади и бубнил с желчным и горьким хвастовством про бывалые охоты с какими-то мифическими французами.

После кислого запаха избы — то ли от роженицы, то ли от горшка вчерашних кислых щей, выплеснутых собакам,— морозный воздух одурял до головокружения. Та же лошадь, что и ночью, понесла их по раскатанной дороге к лесу. Двое старших сыновей, вряд ли в будущем егерьки, в брюках, запущенных поверх валенок, бежали за ними на лыжах. И опять Петрыгин лежал на боку, трясясь лиловым мясом щек, лицом в лицо Скутаревскому.

— ...итак, у тебя большие перемены в жизни,— сказал он, потому что глупо было глядеть в глаза приятелю и молчать.

— Да, я решился на разрыв. Выхода другого я не вижу. Я уеду сам, оставив ей все. Арсений зарабатывает достаточно...

— А ты не пробовал пойти на примиренье? — Он и сам понимал, что вопрос глуп, но дорога была длинна и слова не купленные.

Можно было не опасаться быть подслушанным. Егерь целиком был поглощен разглядываньем снега по сторонам; он работал там, где другим предоставлялось удовольствие. За поворотом стало зашибать ветром; Роман Ильич поднял узкий егерский воротник, и теперь только встречный от ветра и леса шум наполнял его уши.

— Я понимаю, конечно,— продолжал Петрыгин,— жена — это да! Это уклад, семья, сосредоточенность в работе, собственная крепость... но нельзя же двадцать лет жевать одну и ту же кашу: кроме каши, например, тонкий организм требует еще компоту, фиалок, нарзану, стихов, черт возьми! Но стоит ли сокрушать теплые обжитые стены, чтоб сделать часовую прогулку вне их? Это только греки триумфаторам проламывали стены, да и то — опившись вражеской крови... Слушай, родной: ты купи ей, девчонке твоей, брошку с бирюзой, недорогую... я видел в магазине уральских самоцветов... купи, насладись и отпусти. Еще и благодарить будет. Я тебе расскажу такие камуфлеты своей юности, что ты... А с сестрой я тебя помирю моментально. — Он был уверен, что Анна Евграфовна простит мужа вприпрыжку и даже с благоговением. — Вот вернемся, я ей позвоню, и все будет в порядке, а?

Насчет брошки — это, разумеется, была лишь пробная дерзость, но по тому, как зашевелился вдруг Сергей Андреич, по злому его взгляду он понял, что девчонка стоит внимания, а решение зятя бесповоротно: ловец человеков, он изучил его в подробностях. Когда Скутаревский ворвался в жизнь, он

один был как целый легион гуннов; в каждом жесте его трепались воинственные лоскутья, чадили походные костры, ржали стреноженные кони. Потом культура разрубила на части эту орду и срастила наново куски, но сила, толкавшая орду, еще не разрядилась. Потребность, которую свирепо подавлял работой и которую не истощило время, проснулась в нем и немедленного требовала насыщения. Видно, розовая лирическая жижица вконец залепила все извилины этого замечательного мозга.

— Примирение невозможно, потому что не было и ссоры,— сдержанно пояснил Скутаревский: соскочить с дровней было ему некуда, белое поле стлалось вокруг. — Это копилось давно — старая отрыжка, но я был просто занят эти тридцать лет подряд. И, пожалуй, ей со мной тоже бывало трудно. Моя работа казалась ей безрассудством, она устроила мне сцену, когда я отказался от преподавания в гимназии упитанным онанистам. Ей более к лицу был бы писчебумажный магазин в Париже... и потом, на другой же день после свадьбы в нёй поселился какой-то скверный микроб стяжательства, который за последнее время еще усилил свою вирулентность. Она повесила у меня в комнате паршивого короля и, кажется, Штруфова родственника. Я сообщаю тебе лишь факты, и я имею право на мое бешенство... — Именно стихийная разбросанность обвинений показывала его крайнюю непримиримость.

Наступила тишина, прерывистая и хрусткая; так искрятся щетки на роторе. Проехали деревушку, затонувшую в снегах. Дорога спустилась на пойму, и уже стал виден густой черный массив, где, мечась среди флажков, ждала своего заряда лиса.

— Словом, тебе надоела интеллигентная жизнь и захотелось остренького,— задумчиво молвил Петрыгин, смахивая снег с воротника. — Ты говорил об этом с Арсением?

— Он вышел из того возраста, когда это могло повредить ему. Мы тут как-то познакомились с ним и, надо сознаться, не понравились друг другу.

— А ты посеки, посеки молодого человека! — тихонько посмеялся Петрыгин и, так как Скутаревский ничем не ответил на новую дерзость, продолжал много серьезней: — Ты большевик стал, миляга... но ты ж пойми, социализм тебя застанет в богадельне. А по существу ты же ницшеанец, сибарит, анархист даже... черт, на какую чечевичную похлебку ты меняешь свое первородство!

— Но как ты можешь работать с такими убеждениями у них? — строго спросил Сергей Андреич.

Тот посмеялся длинно и загадочно:

— С точки зрения морали я не нахожу ничего предосудительного в том, чтобы под влиянием нагана отдать не только знания, а и кошелек.

Сергей Андреич собрался было выругаться сообразно случаю, но тут Роман Ильич остановил лошадь и бесшумно вскочил на лыжи. Лес принял их молча, точно и он был в сговоре на рыжую, — только стукнула о полоз лыжа, пока егерь набирал сена для лошади, но звук был расплывчатый, сонный, как след, запорошенный снегом. Гуськом, мимо деревьев в белых рваных чехлах, охотники вошли в чащу. Целую вечность, полную щекотных мальчишеских ощущений, шаркали по глубокому снегу лыжи, и вздрагивали, роняя хлопья, можжевелы, задеваемые ружьями. Потом, скинув куртку, Роман Ильич отправился с сыновьями в последний раз проверить круг, а Петрыгин поставил Сергея Андреича на номер, бросив предварительно жребий.

— Вот, убьешь — отдашь горжетку сделать для девчонки. Этакий жаркий пушок будет у нее на горлышке... — не сдержался он напоследок и взглядом спокойным, даже таким, каким ласкают всякую добычу, окинул Скутаревского.

...и сразу замкнулись все выходы из этой белой тишины. Скутаревский зарядил и прислонился к толстой, взводистой сосне, у которой стоял в засаде. До гона оставались минуты. Поверх ветвей, нарезанных егерем, видна была пушистая, кочкастая просека; стайка тонконогих березок, наклоняясь по солнцу, перебегала ее. Ожидание поглощало все остальные мысли; как бы в дымке дальнего плана он представлял себе ясно — бежит лиса, но вспыхивает страшный красный звук, и проворный, гибкий зверь, вертясь, визжа и умирая, кусает свой измочаленный дробью хвост... Сергей Андреич не заметил, как начался гон; в низком собачьем лае он не узнал сперва насмешливого голоса Романа Ильича. Лай раздавался теперь из всех углов леса, он переходил в лихое, нарастающее уханье. Воздух стал голый, стеклянный. Лес проснулся, и там, где стоял Петрыгин, настороженно щелкнул затвор. Повинуясь звуку, Скутаревский вскинул ружье и тотчас же узнал свою цель. В черноте стволов, неряшливо и как бы сажей нарисованных на белой холстине, мелькнула нарядная кадмиевая шкурка и пропала. Он ждал петрыгинского выстрела, но зверь,

видимо, переменил направление. И вдруг Скутаревский вторично, уже в ближнем краю просеки, увидел лису. Покачивая опущенным рыльцем и как бы вынюхивая снег, она решительно шла прямо на Скутаревского, красный хвост ее подрагивал на ходу. В ту же минуту, повинуясь инстинкту и почти не целясь, закостенелым пальцем он дернул спуск. На долю мгновения все выключилось из памяти; потом в поле его зрения снова пало гибкое рыжее пятно. Той же деловитой походкой лиса уходила в ложбинку, за пни и бурелом,— потом пропала, как бы не дождавшись второго выстрела. Из-за деревьев показался бегущий Петрыгин, и мякоть его содрогалась на бегу, как вода в пузыре:

— Эх, спуделял, мазло присноблаженное! — закричал он с сожалением. — А я уж загадал было на лису. — Он зажмурился, прижимая руку к нагрудному карману на шубе. — Погоди, сердце у меня хамит... Как же ты?.. ног-то она тебе не отдавила?

Кстати поразмело сугробистое небо, и лыжная колея заискрилась в солнце ломаным атласным глянцем. Скутаревский улыбался, опираясь на ружье; наглядевшись в детстве на мытарства отца, одно наблюдение сохранил он навеки: живая лиса стоила все-таки больше дохлой горжетки. И еще: ни мыслишки не было в голове, а только одно, огромнее леса, ощущенье — «пускай, пускай все рыжее безбольно гуляет в мире». Он улыбался собственной хитрости, в которую, правда, поверил только после выстрела. И как зверь накануне в ночь не умел обобщить наблюдений, так и ему самому неприметно было сходство лисьей судьбы с его собственной. Все теперь стало ему нипочем — и вздохи Петрыгина, и укоризненное молчание запыхавшихся егеревых сыновей. Роман Ильич искал следов дроби на снегу и, не найдя, побежал по следу, выводившему из зафлаженного пространства.

— Ни кровиночки,— сообщил он, вернувшись. — Видно, впервой на зверя-то! — Но он не сердился, потому что хвостовые все равно оставались за ним, да и лиса сохранилась в резерве для настоящего стрелка. — Ну, мчимся на второй круг.

Суждена была в тот день неудача: со второго круга лиса прорвалась до выстрела, и пока наспех затягивали третий, подступил вечер. Неуклюже и громадно день заваливался за горизонт, как простреленный и кроткий зверь, и багровеющее солнце напоминало кровоточащую рану на нем. Стрелять стало

темно, лошадь глядела назад. Возвращались в молчании, и только близ самого дома повеселил их младший егеренок. В посинелой руке он тискал варежку, которую поминутно прикладывал к уху. Там держал он какую-то подбитую зимнюю пичугу,— она ершилась в варежке, и нравилось егеренку непокорное, щекотливое ее шевеленье; так и гулял он с ней, как с песней. Вскочив к отцу в пустой передок, он искал глазами добычу и долго после того с озабоченным вниманием взирал на чудаков с ружьями.

Главное объяснение произошло только после ужина. Все происходило согласно обещаниям Петрыгина. Дымились щи, и тлели рубиновые огоньки в стаканах красного вина. Скутаревский прищуренно глядел в угол на играющих котят.

— Итак,— начал свой последний абзац Петрыгин,— ты решил уехать. Но куда?

— Об этом я и хотел говорить с тобой. Мне нужно мало, конура...

— ...но с ванной,— брюзгливо подсказал Петрыгин.

— Да, по возможности с ванной.

Топилась печка в комнате, мокрые валенки исходили паром.

— Хорошо горит,— зевнул Петрыгин, подумал и еще раз зевнул. — Любовь... диктатура материи... не знаю. Я видел однажды любовь в окне подвала. С женщины тек пот. Мужчина был волосат, и у него была тощая спина мученика. Эта двойная молекула...

— Прости, мне не нравится твоя ерницкая практика.

Тот очнулся и трезво взглянул на Скутаревского:

— Да, я не к месту. То был уже конец, а мы пока еще о начале. Все это от мудрости: вот он, безалкогольный напиток, которым все мы утешаемся в старости... Итак, конура... но конура стоит денег. А денег наличных нету. А денег надо много. Так?

— Штруф предложил мне купить квартиру. Она стоит тридцать тысяч, и эти деньги я хотел просить у тебя.

— Да, конечно, жаль упускать случай... — вяло сказал Петр Евграфович и встал.

Сделав несколько шагов по комнате, он остановился и взглянул на Скутаревского. Тот глотками отпивал вино, смотрел остаток на просвет, и тогда по губам его плескались уютные домашние огоньки. И опять Петр Евграфович принялся за свои виражи, чему-то улыбаясь и прищуриваясь. Комната

была тесна, вся заставленная пузатыми крестьянскими укладками. Остановясь у стены, он долго взирал на вылинявшую фотографию: егерь пластовал убитого медведя. Из-за рамки, точно жерла наведенных орудий, чернели круглые крестьянские клопы... Потом, пощелкав языком, он снова принимался ходить, и в стоячем шкафчике, уставленном всякой домашней утварью, откликались ему тихие перезвоны разбуженного стекла. И вдруг, когда Сергей Андреич предполагал уже, что Петрыгин, парализуя просьбу, предложит ему только треть суммы и, уж во всяком случае, не больше половины, тот туманно объявил, что ему, Скутаревскому, вообще небывало везет в жизни.

— Деньги... это большие деньги! — И жестокая нотка скользнула в петрыгинском голосе. — Но Анна сестра мне, а с тобою мы пережили длинную дружбу, от сладкой пены до ее тошного и горького осадка. Деньги я тебе достану... но деньги эти не мои.

Скутаревский перебил с горячностью:

— Я дам расписку, доверенность на получение зарплаты. Наконец, я согласен на любые проценты.

Петрыгин посмеялся:

— Э, дело не в том... но они принадлежат человеку, которого нет в Москве. Его нет в Москве, он уехал, но он вернется. Он вернется не ранее полутора лет. Срок для тебя достаточный, правда? Но если он вернется раньше, ты, конечно, не подведешь меня. К тому же... — Он сделал паузу как бы затем, чтоб разглядеть линялые, усатые фигуры на фотографии, позади распяленного медведя: — Работа твоя, наверно, будет премирована, судя по тому интересу, который она вызывает в правительственных кругах.

— Ну, Иван Петрович преувеличивает этот интерес! — настороженно и с ударением на имени отпарировал Скутаревский.

И опять Петр Евграфович не выразил и тени смущенья; безошибочное чутье подсказывало ему, что теперь, после сделанной затравки, с зятем можно не церемониться. Станция в Сибири оказывалась пробным камнем, и Петр Евграфович имел основания бесстрашно запускать в Скутаревского всю свою ухватистую руку. План его, упрощенный до банальности, в целом напоминал давешнюю облаву с флажками, но теперь судьба обернулась по-иному. Переменив направление,

лиса шла прямо на Петрыгина, не торопясь и не догадываясь ни о чем; словом, Петр Евграфович имел время прицелиться достаточно точно.

И уже на другой день, расставаясь на московском вокзале, он крепко сжал зятеву руку и поздравил:

— Ну, с новосельем, значит. Между нами говоря, завидую тебе. Но я стар, питаюсь овощами, спать укладываюсь в десять, и весь я такой, точно жидким мылом меня налили. Плоть свою ненавижу, в которой душа и тонны мертвого сахара разболтаны... вместе!.. Если хочешь, я достану тебе сразу тридцать пять тысяч: пять — для Анны, ей будет трудно первое время.

При этом он сообщил, что денег этих у него нет пока при себе, их следовало еще доставать; на секретном языке это означало, что они спрятаны в надежное место. Во всяком случае, их можно было получить на неделе, уведомясь за день по телефону.

ГЛАВА 16

Теперь оставалось только отыскать Штруфа, всучить ему деньги и договориться о покупке. О том, что обиженный в самых гуманных качествах комиссионер мог заупрямиться или вдруг полезть на дыбы, у Сергея Андреича и мысли не возникало. Он платил чистоганом настоящие трудные деньги, из которых значительная доля шла, без сомнения, на пропитание самого Штруфа. По слухам, оказавшийся полезным жулик этот по-прежнему обитал у брата Федора, и, хотя поездка сопряжена была с некоторыми неприятностями, Сергей Андреич пошел и на них,-- не поручать же было щекотливого этого дела институтскому, например, секретарю.

Братья виделись так редко, что иные считали их попросту однофамильцами, и ни один этого вначале не опровергал. Оба вылетели рано из вонючего отцовского гнезда, слишком разнились их оружие и философические установки, с которыми они вышли на большую дорогу жизни. И, как все люди, сделавшие сами себя, оба мало нуждались в родственниках... Федор Андреич начинал крепко, не хуже брата Сергея,— не зря называли их тогда братьями-разбойниками. Его академическая работа *Аввакум в Братском остроге под Байкалом* была откровением для своего времени, даже, пожалуй, манифестом. Это была грубая, почти натуралистическая повесть о некоем

абстрактном, поруганном человеке, переданная с небывалой для начинающего живописца силой. — Стиснув зеленые цинготные губы, огромный распоп сидел на гнилой соломе, вкомпонованный в угол тесной земляной ямы; в этих удручающих зеленых тонах была выдержана вся картина. Зажав скуфью в кулаке, он одним, горящим глазом следил за крохотным серым зверьком, обнюхивавшим его дырявый сапог. Зверек был голоден, распоп — огромен. Кажется, эпиграфом служило то самое место его жития — «мышей много, я скуфьею их бил, только и было оружья...» Сверху заглядывало краснорожее пашковское воинство. В общем, неясно было, на что намекал художник этим яростным бунтовщиком, который с автократом Никоном и с зубатыми придворцами его хотел биться и которому довелось воевать с мышами. Но, должно быть, на этой работе скрестились общественные настроенья тех лет. Реакция давила, русская интеллигенция, беспрограммно приветствовавшая первую революцию, искала всякой формулы своим смутным метаньям. Федор Скутаревский получил заграничную командировку, медаль в атласном футляре и выгодный заказ на портрет одного почтенного старца, который собирался умирать с минуты на минуту.

Перед отъездом в Италию братья-разбойники встретились; молодой физик приехал проводить молодого художника. Сергей Андреич сознался откровенно, что ему не нравится распоп даже в большей степени, чем модный, с широкими отворотами летний костюм брата. Оба петушились, ни один не желал из родственности пойти на уступку.

— Это не картина, а сплошная аберрация пространства и твоего таланта, — пояснил Сергей. — Всякое вдохновенье... только пойми меня правильно!.. следует десятикратно фильтровать разумом. Эта безумная кобыла в такой овраг сослепу закинет, что и костей не соберешь.

Сергей исходил из правил своей науки, Федор смеялся, — костюм приятно обтягивал ему талию. Успех научил Федора Андреича смеяться чуть свысока.

— Ну, милый, наука открывает только то, что душа уже знает. — Не без щегольства он выдернул на ладонь золотые часы: поезд отходил через минуту. — Милый, человечество дошло до предела познанья. Странно, что оно еще не летит во всех смыслах. Что ж, прыгни в этот голубой омут вселенной, и ангел знания пусть поддержит тебя!.. — Он был молод, дерзок, многословен, шумен и еще по-артистически, священно, глуп.

Расстались надолго, от Федора не приходило вестей. Единственное письмо его содержало путаные и пошловатые разглагольствования об итальянском Ренессансе; он писал о чудесном, густо наозоненном воздухе его и даже, видимо после чересчур сытного банкета, что-то о восстании мертвых; он подчеркивал кстати, что когда мысленно покидаешь Ренессанс, то как бы уезжаешь из столицы; за восторженной словесной шелухой слышалось, однако, его смущенье. И правда, по возвращении он первым делом отправился взглянуть на себя в академическую галерею. Было так, точно после солнечного утра он вернулся в затхлый и темный чулан; Аввакум показался ему неуклюжим ублюдком варварской северной фантазии. Это обширное и слишком быстро ставшее знаменитым полотно старело так же быстро; черной кисеей подернулись угасшие краски, но все это только потому, что и самая тема успела выцвести. Реакция породила в искусстве бесплодный и вычурный эстетизм; новое поколение истерически громило Скутаревского за литературщину; газеты по-разному, но в общем сочувственно описывали страдания молодого прыщеватого человека с Балчуга родом, якобы задержанного у картины с ножом; но была в том и доля правды,— прямая пластическая цель была подменена безвкусным рассказом о никому не нужных отрепьях протопопа. Федор Андреевич объявил друзьям, что он решил драться за подлинное искусство; вторая его работа — Женщина за туалетом — была принята с недоумением, хотя дело объяснялось просто: объектом послужила одна знатная апеннинская синьора, обожавшая начинающих живописцев. Но некоторые по старой привычке искали скрытых намеков и в этой стареющей, торжественной и печальной особе. Последующие работы, мрачная Смерть Петра, идиллический Сенокос и окончательно безличные Рекрута показали всем глубокий и преждевременный кризис художника. Никто уже не утверждал, что автор хитрит и прячется, но все при встрече с художником участливо опускали глаза. На выставку пришли друзья — вся эта недобрая шпана, обрадованная явным провалом сильнейшего соперника, шумно и неопрятно целовала Скутаревского в щеку, поздравляя с успехом... и всем было немножко стыдно, а больше всего ему самому, виновнику торжества; в конце концов ему хотелось сбежать, захватив свои изделия под мышку. Долгое время никто не покупал картин Федора Андреича.

Вынужденное трехлетнее молчанье помогло молодому ма-

стеру собрать силы,— и, так могуч был первый его успех, о нем еще не забыли. Новая его небольшая картина — Забастовка, сделанная как бы с закушенными губами, едва не была забракована жюри. Адвокаты боялись скандала, который, разумеется, нарушил бы пору либерального того перемирия. В тени низких фабричных корпусов теснились рабочие, а посреди двора, в кольце их, стоял некрупный человек в чесучовом пиджаке. Солнце припекало его округлую, взмокшую спину. Он ждал. Взгляд его, чуть скошенный назад, на открытые ворота, выражал озабоченное нетерпение. Туда же с хмурым тяжеловесным любопытством смотрели и рабочие. Кучер за воротами торопливо отводил в сторону вздыбившихся фабрикантских коней; в коляске сидела нарядная девушка. Она была испугана; она уже видела то, чего не видел никто из стоящих на дворе. И хотя все там было спокойно — только востроносенькое облачко плыло над чахлой землицей,— уже чудился зрителю дробный, на всем разгоне, топот казацких копыт. Мастерская палитра и ироническая светотень делили эти две группы выпуклее и злее, чем любая листовка, которые обильно раскидывались в ту пору по царской провинции... Картина наделала шуму; на нее взирали, как на дурное пророчество о грядущем, и спешили пройти мимо. Сюжет ее почитался почти неприличным посреди безоблачной, казалось бы, политической погоды. Интеллигенция страшилась того, в подготовке чего сама участвовала в течение полутора веков. Один журналист записал разговор, подслушанный у картины: «Пора, пора, батенька, деньги в заграничные банки переводить!» И хотя по мотивам ущемленного самолюбия Федор Андреич назначил баснословную цену, картина была продана в первый же день.

На чеке та же, что и на предыдущих, таких же розовых и емких, стояла подпись. Он попытался разобрать имя своего неизвестного мецената. «Жирей и старься!» — прочел он по первому разу, и ему стало не по себе, точно на ухо шепнули правдоподобную пакость. Совпадением транскрипций объяснился этот сокровенный намек: фамилия мецената и петрыгинского тестя была Жистарев. Умный, жилистый этот старик, внезапный любитель живописи, покупал и все последующие работы Скутаревского. Он чувствовал его силу и не торговался никогда; впрочем, делал он это через своего доверенного, скопца, с личиком, похожим на горсть спрессованной шепталы. Жистарев предпочитал действовать внедрением роскоши, тем

самым способом, каким доисторические китайцы усмиряли воинственных северных соседей... Незадолго до объявления войны, после пьяной пирушки, утром однажды Федор Андреич ворвался в квартиру мецената,— кажется, он собирался потребовать отчета. Не снимая шляпы, высокий, лысеющий, с челюстью чуть набок, потому что держал в зубах нечто потрескивавшее и дымучее, похожее на бризантный шнур, он шатко вошел в просторную комнату и ждал хозяина, опершись на рояль; на пороге стонал пожилой жистаревский камердинер, поглаживая вывихнутую руку... Потом Федор Андреич увидел человека с лицом мыслящего лакея и с бескровным лбом, сутуловатого и корректного,— такого никогда нельзя застать в халате; может быть, он даже и спал в этом несмятом, как бы чугунном сюртуке, в который в скором времени должна была бы облечь его история. Он вошел тихо; водянистые глаза смотрели более чем равнодушно.

— Пришел познакомиться и объясниться,— прокричал из табачного облака Федор Андреич, распространяя вокруг себя алкогольную суматоху своей мансарды. — Скутаревский!

Тот скрытно улыбнулся куском лица, видимо предназначенным только для этой цели. Он все понимал наперед и скуку предстоящего разговора мог побороть лишь повышенной снисходительностью.

— Слушаю вас. — Он поклонился, морщась от скверного дыма.

— Вы буржуа, я артист... — громово приступил Федор Андреич; расплывчатая тень сигары, которую он жевал, неряшливо двигалась по его щеке.

Тот перебил его:

— Погодите, снимите шляпу, вам легче станет думать. — Он сказал это просто и совсем не обидно. — При этом подобная сигара, сконструированная из окурков и торфа, может скомпрометировать художника даже большей славы, чем вы. По своему дарованию вы имеете право на лучшее. Курите! — и открыл ящичек особенных, каждая в золоченой бумажке, папирос. — Я слушаю вас...

Он бережно взял за краешек сигару Скутаревского и, не меняясь в лице, выкинул в сад. Было утро несравненной голубизны, зеленая прохлада плескалась за окном, а желтое лицо Федора Андреича блестело, точно парафиновое.

— ...а я артист! — уже с гораздо меньшим апломбом начал Федор Андреич. — Вы покупаете все мои произведения. Я тре-

бую... я требую... — Несколько протрезвясь, он забыл, в чем именно состояло его требование. Жистарев поклонился:

— Я согласен, что цены были непомерно низки. Вы хотите переоценки?

— Нет, я требую объяснить, что это значит... — тише и даже как будто теряя в росте, бросил Скутаревский.

Снова кусок лица, пришитый к скуле, под глазом, задвигался в улыбке:

— Мне нравятся вообще раскрашенные картинки,— с якобы бестактной искренностью сказал меценат. — Сделанные кисточкой мне нравятся больше, чем сделанные карандашом. — Еще не старик, он старчески качнул головой. — О, мне бы ваш темперамент! Вы, наверно, безумно нравитесь женщинам... но если бы у меня была вторая дочь, я не отдал бы вам ее! Вы всегда останетесь нищим.

Федора Андреича даже в жар бросило:

— Я не понимаю... — бормотнул он.

— Вы находитесь на опасном пути, молодой человек! — Право называть так Федора Андреича давала ему разница не только возрастов, но и состояний. — Надо служить кому-нибудь одному: искусству или... или заниматься социальными реформами. Ваша Забастовка организовывает, вы понимаете это? Это улыбающееся, на переднем плане, обращенное к публике лицо рабочего — это вызов! Словом, я умоляю вас, молодой человек, вернитесь к подлинной красоте!

— Это толстая чековая книжка или количество лакеев в доме дают вам право советовать художнику? — снова, бледнея во лбу, взыграл Скутаревский.

— Тогда я уничтожу вас,— суховато сказал Жистарев, и ящик с папиросами закрылся. Он переждал минуту крайнего художникова ошеломления. — В балансе у меня имеются на сегодня восемнадцать ваших полотен. И они отлично горят. Они не блещут, но в них заключена ваша творческая юность. А вы не так уж молоды, молодой вы мой человек!

Федор Андреич сидел тихо, с паршивым ощущением, будто ему не слишком больно, но достаточно явственно дали по загривку.

— Это варварство! — сообразил он наконец, впервые проникаясь страхом перед священным правом собственности.

— Это всего лишь общественная гигиена,— скучно и тоном взрослого поправил собеседник, а ящичек с папиросами медленно стал раскрываться. — Вас ведет безудержная рез-

вость в ногах. Попридержите их в молодости, они больше пройдут в старости. Курите, курите... я люблю дым хорошего табака!

Уже другой, рослый и надежного сложения лакей принес им кофе. Лакированный китайский подносик дрожал в неимоверных дланях, созданных для иной, более грубой и решительной работы. От хорошего кофе Федор Андреич стал как-то смирнее и общительнее. Вдобавок драка с лакеем повела бы единственно к порче светлого летнего костюма, который он впервые надел для предстоящего визита. Хозяин также прояснел, разошелся, показывая коллекцию своих Тинторетто, очаровал, проводил до дверей и, хотя это было уже слишком, сунул на прощание в карман художника весь ящичек с папиросами. При этом он предложил поехать с ним вместе за границу. «Вам, как творцу, должно быть понятнее это поспешное, но все же недурное творение господа бога. Я говорю про мир! Художники — как дети, они ближе к богу. Коммерция мне мешала до сих пор заняться изучением этой не вполне добросовестной махинации с человеком как он есть. Поездка ничего вам не будет стоить, но вы обязаны будете разъяснять мне смысл некоторых встречающихся явлений...» Комплимент и самое предложение были туманны и шероховаты, но меценат от века владел правом на чудачество, и Федор Андреич согласился на эту сделку, хотя, по существу, она значительно превосходила те пределы, до которых он мог опуститься.

Позже, уже в дороге, к ним присоединился Штруф, тогда еще мот и хлыщ, предпринявший обширное путешествие для изучения расовых отличий у женщин всех стран; денег хватало у него также и на собирательство предметов искусства. И уж, видно, суждена была такая пакость: Федор Андреич не умел отказаться вовремя и от его деликатной и расточительной щедрости. Роковое пророчество на чеке сбывалось в несколько измененном виде: он лысел и старел. Он даже как-то обурбонел, по его выражению. На самую работу времени почти не оставалось; безрассудно было трудиться над тем, что возможно было купить в гораздо лучших образцах. Творческая струйка порвалась, как у гоголевского портретиста. На протяжении нескольких лет он сделал портрет одного сенатора и еще два громоздких пустяка: Шествие сатиров, этакую нетрезвую перекличку с Рубенсом, да еще Творение Евы — вопрос, который его в высшей степени занимал. Именно такими, грамотными и бесполезными вещами определялся дореволюционный путь в академики, но тут застигла его война.

Свирепая и бесполезная, по внутреннему убеждению Федора Андреича, бойня эта отрезвила художника.

Он задумал холст, который был бы как крик, как выстрел в тылу. Тогда-то Жистарев, своевременно заметивший идейное отдаление художника, и заказал ему свой портрет: размер, замысел и цена его были чрезвычайны.

...По-видимому, еще не распалась в Скутаревском от благополучия его творческая желчь, которую всякий из нас в своей пропорции примешивает в краски и без чего не бывает художника. Не случись война, этот портрет, застрявший в петрыгинском кабинете, поставил бы имя Скутаревского в первом ряду общественников-живописцев. Он писал его долго: старела модель, и портрет тенью следовал за нею. Но революция опередила художника; к тому времени умирающий класс уже поднял забрало, и всему миру ясно стало одряхлевшее его лицо... — Произошло это под Полтавой, в имении Жистарева. Одетые в кумач клены заглядывали в окна; багровые блики играли в глянце дорогих обоев, в зеркальных библиотечных стеклах, в столовом хрустале, в водянистых зрачках Жистарева. Шла осень. Старик ежился, кутал ноги в плед, больше от предчувствия, чем от недугов: пружина жизни его была долгая. Иногда в окна моросил дождь и вкрадчиво, умоляюще царапались ветви; трещал дуб в камине, да еще надтреснуто, точно ломаемые пальцы, похрустывал голос старика. Сеансы проходили в неровных, вспышками, беседах; к этому периоду и относились судорожные афоризмы Жистарева, вроде — «хорошие люди — это те, которые не знают, что люди дрянь» или «окончательным героем окажется тот, кто на обломках культуры станет отпускать человечеству обеды по четвертаку и с горилкой». Его фабрики были уже отобраны, его лакеи разбежались, его зять предусмотрительно забыл о тесте, а вокруг последней его резиденции, именья, уже похаживали, хозяйственно присматривались деловитые окрестные мужички.

Он говорил еще,— застопоренная мысль его текла толчками:

— Я переполнен впечатлениями и опытом, как виноградным соком гроздь. Ее форма закончена, ее семя созрело. Я не знаю, кто выпьет ее и, охмелев навеки, сотворит вещи, которым нет наименованья. Я знаю лишь, какие причудливые формы принимают пространство и материя в бреду. Нет, я слишком стар, чтоб говорить утешительные комплименты даже моей собственной орде...

Работая молча, Федор Андреич не показывал своей работы до самого конца, но однажды этот день наступил, и старик подошел к холсту. Последнее солнце бабьего лета ударяло в окна, и черная тень старика легла к приножью портрета. Вряд ли это была биография класса, скорее памфлет, порою сдержанный и почти правдивый, сказанный с запальчивостью все еще не созревшего мастера. Человек Жистарев стоял во весь рост, с чековой книжкой в протянутой руке: этот человек покупал. В его бесстрастном, чуть асимметричном лице разболтаны были все страсти мира, но они уже нейтрализовали друг друга,— процесс в этой колбе закончился. По замыслу автора, то был бы лучший канцлер своему классу, но лекарь этот пришел слишком поздно, когда класс уже издыхал. Весь фон портрета, чуть зеленоватый, как в аквариуме, был записан сценами, представлявшими попытку коллективного социального анализа. В сущности, это была многопланная записная книжка художника, комплекс его замыслов и социальных представлений, не всегда проверенных точными знаниями, но блестящих по форме: смесь недоумений, осуждения, вопросительных упреков. Родословная эта начиналась сверху; с грузных, теплых, почти фламандских кусков, заливных луговин, тучных коров на них, беспечных и пьяноватых бюргеров с круглыми, засаленными бородами; в них оставалась пища, ее выклевывали жирные, с курдюками, птицы. Казалось, сам мужицкий Брейгель гнал оравы своих персонажей по изломанной диагонали холста. В этой эпической, изобильной процессии, ликуя, вопя и поедая друг друга, двигались караваны, лошади, купцы, гуси, обжоры, облака, деревья, похожие на беззаботных толстяков, куры, смешные и как бы пьяноватые жуки, толстобрюхие ребята и какие-то рогатые, наверное съедобные, улитки. Ничто не сокрывалось от взгляда Федора Андреича: дома распахивались, чтоб показать свое уютное пахучее чрево, мягкий полусумрак и угарное тепло патриархальных очагов; воды разверзались, обнажая тяжкое гибкое серебро рыб; в призрачных, залитанных благополучием полях на глазах у всех прорастало жирное, истекающее маслом зерно... Дальше, еще не забывшие озорных песен предыдущего века, торжественно и монументально шли отцы и зачинатели ремесел, цеховые ордена — кузнецы, чеканщики, пивовары, гранильщики, типографщики со своими станками на квадратных плечах, медники, бочары с лекалами и правилами, цирюльники и наемные солдаты, увешанные несложным еще инструментарием для военного убийства. Задние

еще тащили на себе неуклюжие горны, точила, мехи, бочки, клещи, тигли, первобытные бомбардоны, а передние уже останавливались у машин, которые все грузнели, множились, уплотнялись в темные массивы, становясь лейтмотивом и даже философским тезисом. Чем дальше, тем тяжелее обычного становилось атмосферное давление. Лица бледнели, все более однообразясь и походя друг на друга: сплетение частей делалось теснее, но краски гасли, и происходило это вовсе не от бессилия художнической палитры. Изнеможенные, мглистые люди несли распятья, румяных мадонн и жилистых страстотерпцев; иное из этой гвардии святых, истерзанное, измочаленное, в непотребстве тащилось еще в рубищах, иное в непристойной божественной наготе с нимбом, а иное, уже бритое, приоделось в сюртуки, а кое-кто ехал даже в рессорных колясках. И чем заметнее серели лохмотья рабов, испачканные копотью, разъеденные кислотами, тем ярче расцветали — темная киноварь кардинальских одежд, разбавленный ультрамарин полицейских мундиров и фиолетовые краплаки чиновничьих воротников,— повторялся живописный прием З а б а с т о в к и. То был, пожалуй, расцвет; все отличалось полнотою и крайним благолепием; только у Схуабрука можно было б отыскать такую действенную во всех частях, цветистую множественность человеческой мошкары. Тех, которые валились, просто перешагивали; кричавших заглушали литавры оркестров; он действительно гремел и оглушал, медный кадмий Скутаревского... Поток увеличивался, обиходный инвентарь совершенствовался, пушки удлинялись, армейские штыки обогатились знаменательными желобками... Городская площадь, расшитая бисером, вызвала бы меньшее удивленье у зрителя, чем эти бесчисленные толпы, разделанные с тщательностью старинного миниатюриста. Ликованье становилось судорогой, вожди в крахмале и цилиндрах уже не осмысливали дальнейших маршрутов человечества, и не хватило бы всей меди в земле — заглушить крик и отчаянье путеводимых ими. И здесь-то, на переднем плане, стоял человек, последний в ряду... и ч т о покупал он? На его отечных, дрябловатых щеках еле приметный играл багрец; это клены за окном окрашивали картину; это и было то, чего недосказал из ложного целомудрия художник.

Жистарев смотрел долго, покусывая губы, и резвая склеротическая струйка на его виске билась и двигалась, как голубой разорванный червячок.

— Да, это уже не вполголоса,— раздельно сказал он потом. — Я зря возил вас за границу, Федор Андреич. Художника из вас не получилось. Вам следовало продолжать ремесло вашего отца. Всякий честный хлеб сытен. Это даже не пасквиль, это безграмотность... вы не знаете истории. К тому же и я не Филипп, и вы не Веласкес! Я сожалею, что оплатил эту плохую литературщину!.. — И он с тоской осмотрел стены, уже не принадлежавшие ему,— он бежал из них неделю спустя.

Его бешенство звучало великолепно; позже, увеличенное в гомерической прогрессии, оно вылилось в свирепом напоре интервенции. Ярость врага должна была воскресить Скутаревского, но он испугался ее. Никак не давался ему второй слог уже задуманного и наполовину произнесенного слова. Он не разгадал еще умной в отношении себя игры Жистарева. Много позже, после первого тура истории, Федора Андреича вызвали на таможню для получения посылки. Штемпель Медоны закапан был сургучом, и сперва ничего нельзя было понять. Таможенный агент распорол упаковку и заглянул вовнутрь. Его лицо стало озабоченным,— на такой товар нигде не разъяснялась пошлина. Объемистый ящик доверху был полон мелкими обрезками картин; искромсанное лицо девушки из З а б а с т о в к и склеилось с отчищенным сапогом одного из Р е к р у т о в. Так отсылают свою продукцию профессиональные головорезы.

Агент ждал объяснений. Федор Андреич попытался дать их: «Я художник»,— сказал он.

— Несите так... — ответил тот, разводя руками. — Это и не текстиль, и не краски, и не картины. Забирайте ваше счастье и... Следующий!

Притащив посылку к себе в мансарду, Федор Андреич стал распутывать свои воспоминанья. Теперь это был художник всего о двух полотнах: А в в а к у м а, о котором не хотел и думать, и К а н ц л е р а, пропавшего в безвестности: у Петрыгина в гостях он не бывал никогда. Кроме того, Осип Бениславич по секретному заказу Петрыгина замазал сиенной весь фон и вымарал чековую книжку; человек на холсте стал иным. Казалось, он утомленно, вторично на протяжении всего христианского периода истории то ли просил о хлебе жизни, то ли вопрошал об истине; рука его была до жалостности пуста... Федор Андреич от гнева подумывал даже пойти в добровольцы, но тогда не было никакой подходящей войны. Ночью он достал папки своих последних работ и наедине, пока храпливо бурчал во сне его ужасный нахлебник, разглядывал их.

Тот же уверенный, почти офортный штрих вводил, однако, в заблуждение. Правда, он и теперь мог служить образцом для молодых живописцев, подменявших живопись ходовой темой, но рука мастера стала тяжеловесна, в ней не оставалось прежней дерзости, которая, как вешний ветер, яснит небо творения. Он листал эти незаконченные картоны и кидал на пол, к ногам; то были эскизы и композиции, детали задуманных полотен, листья дерева, не прошумевшего никогда; красноармейцы с винтовками, а также и без оных, почтительные и равнодушные наброски наркомов и героев труда — а он знал, как это можно сделать! — кроки зверей для зоологического атласа, иллюстрации к халтурному роману, обложечная шелуха для популярных брошюр, открытки... Все это были только талоны на суровый хлеб художника, недолговечные лохмотья таланта, попавшего в приводной ремень.

Он разбудил Штруфа и, тряся его за плечи, сипло шептал ему, полузадушенному:

— Где мой талант, а? куда ты его дел?

А тот не понимал спросонья, в отускневших зрачках отражался ужас перед расправой:

— Я не брал, я не брал... ты поищи!

Месяцем позже Штруф простил Федору Андреичу его выходку: он знал и сам, как трудно даются первые годы гибели. Кроме того, ему негде было бы жить. Федор Андреич замкнулся в себе; он ничего не понимал, никто не приходил ему на помощь; вещая черимовская фраза, сказанная однажды при нем,— «так платят за сращение с классом, который умер»,— ничего ему не объяснила. Он соглашался только внешне, потому что нечем ему было возразить. Так среди бела дня заставала его ночь.

Тогда он вспомнил о брате; со времени той мимолетной размолвки они не беседовали как следует ни разу. В памяти Федора Андреича свежее был образ рыжеволосого Сережки, с которым вместе, бывало, босыми ногами разминали мех в мастерской отца. Это было давно, может быть — на заре мира. Величественные нагроможденья его уже тогда звали к себе юного мастера, но в те времена банки ваксы, горсти мела и флакона ядовитых красных чернил хватало ему, чтоб рассказать о чудесном своем пленении. Он рисовал горы, которых никогда не видел, реки или неохватные пространства, еще не заселенные человеком; потом он стал размещать на них то смешное племя, которое его окружало — заказчиков, мастеро-

вых, провинциальных пьяниц — они блаженно леживали в канавах, и за позированье им не приходилось платить,— старух, чиновников, слепцов и, наконец, отца, нелюдимого отца, битого нуждою так, как не бьют на ярмарках конокрадов... Теперь имя Скутаревского нес один Сергей Андреич, а Федор жил в его обширной могучей тени. По-видимому, Сергей отыскал тот самый ключ к жизни, который Федор так бесшабашно утерял. Итак, Федору Андреичу понадобилось вмешательство разума; однажды он пришел к брату — высокий, торжественный, в стареньком черном галстуке,— так идут на капитуляцию, а Сергей Андреич собирался в концерт, и у него был свободный билет. Брата он принял радушно, но с той родственной небрежностью, как будто они расстались только вчера.

— А, птаха вольная!.. ну, как, все благополучно? — спросил он, как бы заранее предписывая ответ, и тут же предложил на музыку поехать вместе.

Благополучие было явное: Федор Андреич явился на собственных ногах, в том же несокрушимом телесном здравии; штопаный костюм его выглядел вполне пристойно, лысина по-французски была прикрыта беретиком. Совместная поездка в концерт избавляла от нудных расспросов о прошлом.

— У меня есть разговор к тебе, значительный и единственный,— виновато объявил Федор в первом же антракте. — Закончился какой-то существенный цикл моего развития. Сделай милость, удели часок, больше мне не с кем.

— В каком же это смысле? — покосился старший.

— Может быть, это будет исповедь.

Сергей Андреич согласился на просьбу Федора скрепя сердце, подозревая, что тут, по-видимому, предстояла развернутая исповедь художника по традициям доброго старого времени, то есть по душам, с призывом человечества во свидетели, с признаниями во всяких тухлых секретах, со всеславянским надрывом, с сосанием пуговицы на жилетке собеседника,— тошная словесная мазня, от которой у обоих надолго остается душевная изжога. Сергею Андреичу, очевидно по грубости души, недоступны были такого рода удовольствия. Он осведомился, озабоченно наморщивая лоб:

— ...а может, тебе просто денег надо? Мильон я, разумеется, не смогу... но, возможно, на днях премийку одну клюну. Бери пока, а? Все одно, по секрету говоря, жена Тициановн накупит, по рублю за штуку. Тут у нас жулик один завелся... —

Он передернулся от веселой внутренней издевки: — Кстати, а малярии у тебя, братец, нет?

Тот отклонил подачку с негодующим благородством истинного артиста. Правда, былые роскошества его истаяли; брюки стали вдвое тяжелее от заплат; со Штруфом, который пришел однажды ночевать, да так и застрял на диванчике, он проживал уже остатки... но тогда-то, на безденежье, хитроумный сожитель и вовлек его в занятия на промежуточной ступени между чистым искусством и неприкрытым мошенничеством. Произведения старых мастеров всегда были дефицитным товаром, но всякому обывателю с фантазией лестно было повесить Корреджо у себя над кроватью. Затея Осипа Бениславича в том и состояла, чтоб восполнить этот вопиющий пробел. Действовал он как будто даже из высоких побуждений — «классиков живописи в широкие массы!», но Федору Андреичу приходилось крепко зажмуриться, чтоб не видеть истинных основ нового предприятия. Дело вскоре наладилось, деньги потекли, среди дураков оказалось множество очень почтенных, и Анна Евграфовна охотно стала первой клиенткой... Может быть, впервые на земле ограбленные были счастливы. И, понятно, Сергей Андреич не догадывался ни о чем, если соглашался как-нибудь при оказии навестить брата в его логове самолично... На этом обещании дело надолго оборвалось, и можно было думать, что нужда в беседе с глазу на глаз отпала. Тем временем обстоятельства заставляли торопиться с покупкой комнаты, но телефона у Штруфа не было, а переписываться с ним почтой Сергей Андреич благоразумно избегал, приходилось самому отправиться к Осипу Бениславичу.

Нужно было входить через двор и дважды перелезать через пирамиды саней: здесь помещалась транспортная база райсовета. Уже при входе, где в убийственную для носа помесь скрещивались примусная вонь и кошачьи воспоминания, чувствовалась концентрированная нищета. Это был не особый какой-нибудь дом, а просто дом с жильцами малого или вовсе никакого значения. Словом, дом этот был уже обречен, уже имелся проект нового нарядного здания на этом самом месте и твердый список будущих обитателей в нем. Сергей Андреич шел в прошлое... Значительную часть дома занимал лестничный пролет: огромное пустое пространство, а по стенам его, взвиваясь к этажам, лепилась железная ступенчатая галерейка. Электричество не горело. Ввинчиваясь вверх, Сергей Андреич остановился передохнуть. Было тихо. Держась за шаткие пе-

рильца, он глянул вниз, в теплый жилой мрак. Видимо, в полуподвале помещалась прачечная, она также вливала свою долю запахов в этот без того переполненный каменный сосуд. Все вместе создавало впечатление, словно неизвестный солдат, рябой и огромный, как война, сушит внизу свои изопревшие ноги. Сергей Андреич решил, что даже в случае безвыходной нужды он повторит свою вылазку сюда не раньше года. Но пока все-таки приходилось претерпевать все эти неминуемые неудобства большой перемены. Сергей Андреич торопился повидать Штруфа на мгновенье, попросить о придержании комнаты до получения денег и бежать без оглядки. Вдруг какой-то человек, перемахивая через ступеньки, налетел на Сергея Андреича, и, покуда, бранясь, отыскивал спички, тот спросил его о Штруфовом жилище; оказалось, что это сам Федор Андреич и есть.

— Тут у тебя ногу сломаешь!

— Пробки перегорели. Каждую неделю так. Ты ко мне? Тогда нам еще один этаж остался...

— Председателя домкома надо тянуть: заелся, значит. Они, голубчики...

— Так это я и есть председатель! — радостно сообщил Федор Андреич и за руку, как добычу, тянул наверх брата; оба дышали тяжело.

И так был силен напор одного брата, так глубоко виноватое чувство в другом, что сбитый с толку Сергей Андреич тотчас забыл про Штруфа и лишь рукой махнул на потерянный вечер.

— Итак, мы расстались с тобой... Когда это было?.. на чем мы остановились?

— Пойдем, пойдем... у меня свечи есть,— торопил младший.

И верно, свечей отыскалась у него целая пачка. И едва три из них загорелись, сразу стало видно, что панические настроения старшего Скутаревского были преждевременны. Вместо ожидаемого вертепа налицо была обычная художническая мансарда,— в широчайшем и низеньком окне мерцало смутное поле московских огней. Много холстов, один к одному, стояло у стеклянной этой стены; один холст стоял еще на мольберте,— драный кусок простыни не прикрывал его целиком, и левый невообразимо зеленый уголок отточенно блестел из-под ее края. На рояле, по черному лаку деки, рядом с палитрой и пузырьком сиккатива, поблескивала тонкая селедочная чешуя; самой селедки уже не было.

— Вот давно все собирался просить тебя,— по ассоциации вспомнил Сергей Андреич, глядя на разбрызганную чешую; перламутровым воспоминанием дальней юности отливала она в колеблющемся пламени свечи. — Напиши, если сможешь... напиши мне стол, наш длинный стол, накрытый с одного конца, помнишь? И вокруг мы, все шестеро — Егор, Антоша, Поля, Никифор, покойники, потом ты и я. И на углу отец... но только ты помнишь его руку?

— Я напишу, я напишу,— заторопился навстречу его желанию Федор.

— ...руку, всю в коричневых ожогах, жесткую руку его. И на столе селедка. Ее съели, осталась голова. Она почти лилова, потому что сумерки; и у нее круглый рот, будто в пении. Ты не забыл, как, бывало, она похрустывала на зубах? Жалко, запаха краской не передашь. Я оплачу тебе холст и краски.

— Конечно, конечно... я передам и запах. Но ты садись, садись! — И придвинул порожнюю табуретку. — Тут сквозняки, ты не снимай шапки-то, не снимай. Спасибо, что пришел меня послушать. Хотя теперь я уже спокойнее: кажется, я изобрел выход...

Он еще долго стоял перед шкафом, шаря по полкам, заваленным бумагой; потом с озабоченным видом выставил на стол бутылку красного вина и хлеб; ничего больше не было в доме. Сергей Андреич из деликатности отвел глаза. «Эк, натюрморт,— словно в Эммаусе! Ну вот, начинается!» — подумал он с непостижимым нытьем в челюстях.

— Собственно, я пришел узнать насчет... — начал было он. — Видишь ли, у меня...

— Я все, все расскажу, я не утаю ни крупинки,— перебил Федор. — Итак, ты щедро даришь мне свой вечер. Ведь мы с тобой не говорили столько лет, но ты пришел, доверился, а совсем, совсем меня не знаешь. Ты спросишь, что я такое нынче? Но ведь, чтоб понять — чтó есть человек, надо спросить — чем он был. А именно прошлого-то я и стыжусь. Ты молчишь, не задаешь вопросов — спасибо. Оно у меня бесплодно, как пустыня, и каждый вчерашний день в ней лежит, как падаль... до сегодня, до этого чердака преследует меня этот заразный смрад. Я кричу туда, назад, но даже эха нет: мертвое не откликается!.. Дай я налью тебе вина, и выпьем за детство, милую сообщую нашу страну, из которой исходят все дороги. И еще, отдельно, за будущее, куда они ведут...

Он отхлебнул жидкой, терпкой черноты из стакана, и тотчас же с обезьяньей уверткой передразнила его тройная на стене тень; она как бы замахивалась на неподвижную тень брата. Стало очень печально и совсем удаленно от жизни. Тем суровее покачивались и коптили высокие огни этих трех свечей. Украдкой Сергей Андреич разглядывал брата; желтое, почти натриевое пламя огня делало его лицо безжизненней и, во всяком случае, старше: как-то не верилось, что он способен был произнести сейчас большие слова. Слишком явен был его тупик... и вдруг обостренным беспокойством рук он напомнил ему мать, но когда та уже не поднималась с постели. Впрочем, только последний ее месяц и помнил с особой четкостью Сергей Андреич; лицо ее он уже забыл. Ее знобило; отец накидал ей в ноги пушистых соболей, лисиц и белок,— она умирала в чужом роскошестве, и какое смертное отчаяние блестело в ее глазах, когда обращались они на шестерых оборванных и нищих детенышей! Дети не резвились, они догадывались; они щурко и затаенно глядели то на тоскующие, ищущие бескостные руки матери, то на быстрые руки отца, колдующие руки мастера. Сутуловатый, молчаливый отец метил мелом и машинально сшивал свои шкурки: он ждал. И тогда мать начинала говорить — вот так же горячо, бестолково и сбивчиво, потому что за время болезни мысли ее слежались даже до иероглифической плотности. Но было в Федоре и еще нечто, что, по ребячеству, проглядел в матери Сергей.

— ...не знаю, с чего начать. Я ведь не философ, и я не растрогать попусту тебя хочу... ты поправь, если заврусь. Знаешь, художники думают лохмато! Все на других хочется свалить вину, в прятки с собою играю... и ненависть к прошлому у меня сочетается с растерянностью перед будущим. Черт, а ведь в том и гениальность, чтобы осознание насущных нужд эпохи связать с предвидением будущего. Значит, наши октавы не совпадают, постой!.. В чем же дело? Я осудил, я же знаю, как несчастно, как нечестно жили люди. Брат, всю жизнь мне хотелось написать одну книгу — о прошлом. Ее надо напечатать на алюминии: бумага станет прогорать от слов. Она начиналась бы с истории одного чудака, который призывал человечество к братству и с этими словами, крича их, пошел на площадь, но его поймали, избили в полицейском участке и выдавили глаз... именно глаз, правый! И он угас, умолк навеки, как Абеляр. Но и опять я отстал, как со своим Канцлером. Они обогнали меня! Так повествуется в Библии: но

правда извергласъ и поглотила ложь. По предъявленному счету уплачено сполна. Но сам-то я до сих пор остался неоплаченным и в стороне от общего потока. Но чушь, конечно, я не Абеляр. Ты понимаешь, понимаешь меня?

— Н-не совсем,— точно втягиваемый в водоворот, признался Сергей Андреич. — Ты проще, проще. Ты вообрази, что я монтер, пришел звонки проводить!

— Ну, монтеру я не стал бы этого говорить, и потом это же совсем просто,— усомнился тот в его искренности.

— Нет, нет,— ухватился другой. — Ты не хитри, ты нараспашку иди, не застегивайся. Ты дайся ветерку! — А втайне подумал, что это относится и к нему самому.

— Ладно, тогда я иначе. Слушай, братан милый. Мир этот громаден, и я полагал, что без благоговения или наглости в нем ничего не поймешь. В том и суматоха моя, что я потерял одно и не приобрел другого. А про волю к преодолению и преобразованию его я забыл. Не знаю: может быть, я слишком поддался на успех, а всякий истинный художник жаден. Я брался за все, я писал сенаторов, архиереев, великосветских шлюх... и всякую иную пыль и моль с гнилого николаевского горностая. Я писал картины, на которые следует глядеть только после сытного обеда с ликерами. Я боялся заставить думать других, потому что это обязывало думать и меня самого. Ну, понятно теперь? Мне платили, меня хвалили, меня приглашали на приемы... черт, даже пробовали оженить на одном печальном останке великокняжеской любви. Нужно было сочинить абстракцию, чтобы жить,— вот я и старался. Я искал краску и форму, чтобы наготу свою одеть. Э, да и мало ли теперь еще г о л ы х ходит по земле! Словом, мне нечем оправдаться, брат...

— ...и еще надо узнать, чем он стал,— на давешнюю его мысль отозвался Сергей Андреич. — Ты покажь мне его, нынешнего. Вот, например, что у тебя тут?

Он сдернул простыню с мольберта и, взяв подсвечник, долго, чуть исподлобья, глядел в условное четырехугольное пространство перед собой. «Во, точно из самолетной кабинки смотришь!» — была первая мысль Скутаревского. За лугами, в тонкую прочернелую полоску леса садилось солнце. Оно уже скрылось, но все еще длилось воспаление неба; сумерки были — точно осыпался огненный цветок: и на всем — на листве ближнего дерева и на одинокой кровле за ним, на облачках и даже в самом воздухе еще тлели пламенные его лепестки.

Федор молчал, он ничего не мог прибавить к этому, уже сказанному.

— Что это? — спросил брат, ткнув свечкой в направлении холста.

— Это?.. закат. — И смутился.

— Нет, я не о том. Краска какая?

— Это кадмий.

— Хм, не узнаю кадмия,— грубовато отрезал Сергей Андреич. — С чем ты его мешал?

— Может быть, со старостью моей? — тихо спросил Федор.

— Нет, но почему ты боишься ощущения в целостном его виде и замазываешь сажей, чтоб не узнали? Ты сказал однажды, и мне тогда это показалось напыщенным, что кровь в революции смыла со слов и понятий их истрескавшуюся пошлую лакировку. Ты сказал тогда, что к образам вернулась их первичная суровая чистота. Вот и покажи!

Стеарин стекал ему на пальцы, он не замечал, Федор ответил не сразу.

— Прости... я, конечно, преклоняюсь, у тебя великое право зрителя. Но ведь это было бы грубо.

— Ага! — подхватил Сергей. — А где ты видел такое количество пустующей земли? Это не картина, а обвинительное заключение. Пошли к прокурору, указав район, и председатель этих мест вылетит к черту из партии!.. Молчишь — значит, это ложь!

— Ты хочешь, чтобы я изобразил комбайн на этом поле? — настороженно спросил Федор и костяшками пальцев постукивал в стол. — Но тогда я обману тебя же, мой зритель. Моя картина состарится прежде, чем высохнут ее краски. Тогда ты будешь глядеть на свой вчерашний день и вопить об отставании искусства. Я даю тебе золотую монету, эталон, человеческое ощущение, а ты хочешь иметь купон от облигации внутреннего займа!.. прости, я не умею иначе.

— Значит, ты полагаешь, что там, за перевалом, не родится новое искусство? — Сергей Андреич и сам понимал, что употребляет во зло безропотное уважение брата. В конце концов, то, что составляло мильон терзаний для одного, было только предметом отдыха для другого, который требовал вдобавок, чтобы отдых этот убаюкивал, как удобное кресло.

— Так продолжать, значит? — спросил Федор, накидывая простыню на мольберт.

— Да, да, изложи в популярной форме, изложи,— дернулся Сергей, сковыривая с ногтей застылые блестки стеарина.

Неуловимый сквозначок бродил по чердаку; самое наличие такого широкого окна производило термические перемещения воздуха. И хотя все было мирно — о, как сражались и безумствовали тени на стене!

— ...меня познакомили с Гонельбергом. Ты, наверно, слышал про его банкирскую контору. Это был скромный с виду, сутулый даже, но вполне железный человек. Представь себе майского жука, но только в пиджаке искристого умбрового цвета. Видимо, и его железа коснулась любовная ржавчина. Женщина, прямо сказать, стоила своей цены, я видел ее: ошеломляла ее хрупкость... С такими, много позже, могуче и небрежно играли в Питере загулявшие матросы с восставших кораблей. Что-то французское было в ней, я даже помню одну ее фразу — «...но птицы убитые поют никогда». Гонельберг с ума сходил, ржавчинка-то, она бегучая. Он выстроил ей роскошный особняк в уединенном месте,— сумасбродная по замыслу вещь, которую даже и взорвать нельзя, потому что это была уйма очень скверно огранизованного, но тщательного человеческого труда. Словом, подрядчик сколотил себе каменную громадину из материалов, которые успел скрасть; Гонельберг видел и смеялся, его как бы щекотала людская подлость. Расписать и оформить ванную комнату пригласили меня. Что ж, я пришел и заломил, потому что банкиры — сукины дети... Слушай, брат, именно теперь, после всего этого, ужасно хочется жить. Хочется и... как-то совестно. Признайся, тебе тоже совестно меня?

— Нет, почему же... живи, не возражаю,— второпях отпихнулся тот и усмехнулся,— ведь вот, и самокритика как будто, а ловко выходит у тебя, точно хвастаешься!

— Гонельберг сказал — «вы цены себе не знаете!» — и удвоил сумму. Я осатанел, мне захотелось перекрыть его хамскую щедрость. Я заперся и два месяца не впускал никого. Я обложил комнату розовым мрамором. Я сделал весенний сад,— эскизы у меня валялись для одной задуманной работы. Ветви, тяжелые от лепесткового серебра, набухшие цветами ветви обнимали это место шатром; бежали ручьи, и радужные птицы, которых не было и у Ноя, которых забыл сотворить Ягве, пели в высоте... ты понял мой умысел? Но когда этот Адам увидел, он испугался, и даже пиджак на нем повело. «Что вы наделали! — шепнул он. — Уберите, уберите это..., ма-

дам любит только осень!» Я обозлился и выругал его, я крикнул ему: «Это стоит денег, господин Гонельберг!» Он ответил мне, что не собирается торговаться. Итак, они железными когтями содрали со стен мою весну, а мрамор выковыривали ломами. Помнишь, Медичи однажды приказал гению изваять группу из снега, но там...

— Погоди ты, не отвлекайся, Федор,— жестко прервал Сергей и вино, которое собирался пить, поставил обратно на стол, точно дохлую муху увидел в нем. — И ты, вдохновясь, переделал на осень?

— Нет, слово даю, нет! — закричал Федор, искательно хватая руку брата. — Я ушел, клятвенное слово даю,— и дрожал весь. — Тогда я и сделал З а б а с т о в к у. А потом жизнь пошла наперегонки с самой собой; в единицу времени событий протекало больше, чем может уловить медлительный глаз художника. Усложнялось самое вещество искусства. Мы же не зеркала, к которым можно подойти и подкрутить усы сообразно вкусу и разумению, а тоже фабрики, брат. Самые насыщенные происшествия только сырье для нас, даже не полуфабрикат. Но я очень хотел понять, и я искал... я искал на ощупь. Я меньше тебя, и у меня нет общей дисциплины. Ты имеешь метод, ты ведешь большую науку,— я делал это кустарно. Одно время я служил в музее; я охранял камни, которые ненавидел; ежедневно я смотрел эти знаменитые холсты в бесценных рамах, которые презирал, не понимая. Я все искал: в какой пропорции эпоха примешивалась в их краски. Я изучал разлитую по холсту желчь Кея, падение складок в таких будничных шелках Терборха, могучую пасмурь Рейсдала, кровавые, словно ростбифом писанные натюрморты Снейдерса, шекспировские мяса Йорданса, я искал в полотнах...

— Незнаком, незнаком... — строго бормотал Сергей Андреич, и все хотелось крикнуть ему: не играй, не играй, не прячься... разве перестала течь в твоих жилах мужицкая кровь?

— ...я смотрел часами на Питера, который звучит из рамы, как колокол,— наконец закончил перечисленье Федор, вытирая испарину с желтых залысин лба. — Потом, оглушенный, я бросился к книгам... ведь и раньше, случалось, валились древние боги, когда наотмашь ударяло их гневной человеческой волной. Я дошел до того, что находил сходство с веком Феофила, разрушающего библиотеку Серапеума, с эпохой Абу-Бекра и Омара, на десятки тысяч верст опустошающих окрестности Мекки, Алариха, черт нас всех возьми, которому ночная из-

мена открыла Саларийские ворота... Но верь, брат, я их не открывал! Позволь, я путаюсь, но ведь не законов же ищем мы, а лишь своеобразия в их процессах и чередованьях. Тогда я бросился туда же, но другим путем. Я шарил по сухим, точно на меди вырезанным трактатам Пачоли, Леона Альберти, да Винчи и других, этих Эвклидов старой живописи. Там было много о функции центрального луча в зрительной пирамиде, о движении сочленений, о светотени драпировок, даже рецепты, как делать драгоценные кисти из усов котят, но там ничего не было о движениях восставших к социализму масс, о взаимоотношениях формы и содержания, о роли искусства в общественной жизни, о пятилетке... Книги умерли... вот они, эти жирные трупы! — и гневно тыкал кулаком в толстую книгу, одетую в потрескавшуюся шагрень. — Конечно, я не там искал; истина всегда впереди, всегда за пределом взгляда... и надо безостановочно идти, чтоб надеяться догнать ее, постоянно убегающую. Я растерялся совсем,— а может, выход в том, чтоб стать участником жизни и половину поступающего сырья перерабатывать самому в суровом переднике чернорабочего? Но с чего начать, в стенгазете рисовать Чемберлена? — Он сделал передышку и скрипуче прошелся по комнате. — Я осудил, но этого мало; сейчас могут жить только люди, способные служить, как провод, без износу: суровые времена, брат милый. В эту острую мою минуту пойми меня правильно, брат. Бывает и другое, бывает, когда художник перерастает свое могущество и вчерашних красок ему не хватает. Все мне понятно теперь, от шелеста газетного листа — через сотни лирических обвалов — до грома народных демонстраций. И тогда, глядя в одряхлевшие холсты, которые ежегодно почтительно кроют лаками, чтоб не осыпались, я чувствую себя мальчишкой, фанфаронишкой и неудачником. Бывает и так: виноград жуешь, а точно веник жуешь — ощущение. Может быть, в стали при последней закалке выгорел весь углерод, и воспоминанья — вот пузырчатый, негодный шлак их. Тогда и вкус познанья, и зоркость взгляда — все ни к чему. Должно быть, я стал глупее: тенденция, схема, цель, содержание... я запутался; слушай, быть может, я сгнию, но то, что вырастет на мне, будет велико. Порою мне казалось, что я умру от этой растерянности...

— Пустяки, ты погибнешь от разрыва сердца,— все больше веселел Сергей Андреич, по мере того как тот бился и кидался в него обломками самого себя.

— Почему ты думаешь так? — угрюмо воззрился тот.

— У тебя сложение такое,— засмеялся Сергей.

Федор Андреич посмотрел на просвет бутылку,— она была пуста.

— Вот, ты издеваешься, и ты прав. Брат, я пришел в последнюю ничтожность: надо было жить. Конечно, я апеллировал бы к народу, если бы они знали меня. Я зарабатывал хлеб мой как умел, но я не умел льстить, как Рафаэль, и лгать, как Веласкес: я бездарнее. Я писал брандмайоров, спасающих горящий газолин,— на меньшем не мирился заказчик; мне приносили подозрительный локон волос и просили сделать образ супруга, попавшего под трамвай; я работал с фотографии, со слов, с заочного письма и, наконец, просто так, по наитию. Я утешался тем, что это будет висеть в нахальной раме, засиженное мухами, а история не любопытна к побежденным! Меня кормил мещанин своим кислым, с клочьями нечесаных волос, хлебом. Тогда я взбунтовался против него! Тебе было весело и раньше, теперь ты станешь хохотать. Я пустил в ход накопленные знания, и, знаешь ли, так вниз по плоскости скатывается шар, следуя законам ускорения. Подводя итоги, мы сообща с жуликом, которого ты, кстати, знаешь, стали выделывать классиков. Мы скупали старые паркетированные доски и трудились. Я научился делать любого старика быстро и в любой манере; из десятка картин одного мастера я компоновал одну, новую, и, черт, сам Остроухов бледнел от потрясения при виде моих работ. Они превосходили подлинники и в сыром виде, а подписи, копоть времени, старинку, трещинки, все эти кракелюрки искусно производил мой компаньон. Иногда мы записывали эти произведения варварской мазней, а потом ножом и скипидаром открывали на глазах у бледнеющего мещанина, и он за доступную цену видел чудо, смел прикасаться к нему, тащить домой и вешать над комодом с клопами. О, война так война! Сюда приходили жадные люди, крадучись и как бы в одышке от волненья; им хотелось за грош купить солнце, и, дьяволы, они уносили его, завернутое в газетный лист. Мы только рекомендовали им в течение пяти лет не показывать никому по сложным политическим причинам: о, Штруфовой фантазии хватило бы на десяток современных писателей! Мещанин платил, он голову пожертвует за тайну, потому что душе его еще более, чем желудку, нужна прочная, питательная жвачка... Одно время мы так же изготовляли греков; кустарь сдавал нам свои горшки по трешнице, а мы слегка гравировали их под дряхлость, я расписывал богами и героя-

ми, а Штруф ставил их в сложные химические компрессы и держал в зависимости от пористости и возраста. Вот, ты хмуришься, а ты сможешь объяснить мне, почему это нехорошо? Разве слепому не будет и в ненастную ночь светить луна, если ему об этом сообщит любимая девушка? Мы делали людское счастье, черт возьми, и брали ровно столько, чтобы иметь нищенский хлеб — делать его и завтра. Один мой Буше висит в частной галерее за границей; владелец прислал мне ящик красок в прошлом году и копию музейного сертификата о подлинности моей подделки; в другой раз я продал в миниатюре Творение Адама из Сикстинской капеллы, и дурак вывихнул ногу на лестнице, торопясь от страха, что я раскаюсь и побегу отнимать... — Он смущенно поглядел на брата, потрясенного столь откровенной философией и все еще не смеющегося. — Сергей, прости меня... того Рембрандта, что у Анны Евграфовны в комнате, я делал вот на этом мольберте.

— Неплохо, неплохо... — неопределенно удивился Скутаревский и при всей своей отдаленности от искусства понимал, что так оно и должно быть, когда любимое ремесло скомпрометировано в самой своей основе. — Ну, а Франциск... этот носатый хлюст с собакой?

— Тоже я делал. Мне Осип и позировал. Я не люблю твоей жены, Сергей.

— ...и долго? — невпопад спросил Сергей Андреич.

— Этот долго, этот две с половиной недели. Матерьялы долго подбирал.

Вечер явно затягивался, а незадавшаяся, свернувшаяся на водевиль исповедь все еще не подходила к концу. Следовало еще ждать пространный абзац про Жистарева, но Федор уже устал; он дышал тяжело,— так выходит воздух из проколотого мяча. Все-таки удобнее было бы списаться со Штруфом по почте, и теперь Сергей Андреич мысленно костерил себя за неуместную подозрительность. Стало ясно, что Штруфа не дождаться, что покаяние грешника незаметно вырождается в бахвальство загнанного человека, что пора уходить. Да тут еще толчками стал зажигаться свет: где-то ввинчивал пробку монтер. Эффект исповеди разом пропал, свечи горели тускло, и черные волокна копоти струились с набухших фитилей. Сергей Андреич откровенно зевнул. За дверью раздался громоздкий шорох, точно слон шел на цыпочках. Покраснев, Федор Андреич привстал навстречу. Саженный мужчина в бобре спросил секретным голосом про какой-то портретик. «Готово,

готово...» — засуетился хозяин, бросаясь в угол. Сергей Андреич отошел к окну. Позади шелестела газета и сопел посетитель; нужна была повышенная любовь к искусству, чтоб, при такой комплекции, вползать на Штруфов чердак. Скутаревский ждал минуты, когда тот уйдет,— чтобы уйти самому. Уши его рдели; нечаянно он становился как бы сообщником достаточно скверного дела.

Рама, вделанная в обширный проем окна, обмокала; пухлая плесенца ползла с нее на самую стену; известка становилась дряблой и синеватой на цвет. Трескалась, гибла эта древняя человеческая пещера, и пока еще страшно было выйти из нее художнику под голое суровое небо... Сергей Андреич легонько оперся рукою о выступ стены, и кусок известки, точно положенный со стороны, остался у него в ладони; в изломе, если поднести к глазам, вполне различимо было его грубое, крупитчатое строение. Может быть, когда-то это дышало, двигалось и росло в гибких, еще студенистых телах горбатых рыб, зубатых птиц и трусливых волосатых человекоподобных. Природа непостоянна в капризах, она все шарит чего-то совершеннее и скаредно экономит на веществе. Может быть, со временем и собственный Скутаревского позвоночник, державший так надменно его сухую спину, войдет составной частью, смешанный с глиной, в монументальный, еще не родившийся, еще неизвестного назначения предмет. Но и это не выпадало из стройной логической цепи. Старый человек уходит из жизни, его молекулы образуют новое социальное и биологическое вещество, и самая его форма становится чуточку пародийной в сравнении с будущей, более совершенной. Пускай!.. и в эту минуту не было в нем сопротивленья закону: вся его порода поляжет плотным геологическим слоем на берегах будущих величественных рек, детство которых он удостоился видеть. «А рисунок?» — шелестело позади него из бобрового воротника. «Вы торгуетесь, точно покупаете подержанные брюки, гражданин!» — издевательски холодно шептал Федор Андреич... Потом, когда дверь захлопнулась за любителем искусства, Сергей Андреич обернулся.

— Они знают твою фамилию, эти... покупатели? — спросил он враждебно.

— Нет, только Штруфа! — догадался тот, вспыхнув.

— Кстати, Штруф скоро вернется?

— ...Штруф? Но его нету. Я выгнал его. Он питался мною. А зачем тебе Штруф?

ГЛАВА 17

Запутанная эта тропка приводила, таким образом, к довольно сомнительной авантюре, но Скутаревскому и в голову не приходило, что все это можно было устроить гораздо проще. Несомненно, наркомат помог бы в поисках жилья ученому, работой которого крайне дорожило общественное мнение страны, но Скутаревский стеснялся обращаться туда с личной просьбой. Это была даже не ложная чопорная деликатность, не опасение поставить себя в бытовую зависимость от начальства, а прежде всего стариковский стыд за тот образ жизни, которым просуществовал столько лет. И уж, во всяком случае, разговор этот подтвердил бы в полной мере те сногсшибательные слухи, которые ползли по городу. Началось с пианиссимо: будто Сергей Андреич в связи с семейной и идеологической перестройкой бросает академическую работу и идет — по одной версии — директором строительства будущего электромашинного комбината, по другой же — якобы уполномоченным по хлебозаготовкам на Северный Кавказ. Этим хотели сказать, что от Скутаревского можно было ждать чего угодно в тот период. К подобным явно дурацким выдумкам присоединились другие, круто посыпанные более пахучим перцем.

Никто не знал, откуда они, ибо Петр Евграфович никому не передавал своей беседы со Скутаревским, и, разумеется, не его была вина в том, что пара старых его приятелей оказались пошлыми болтунами. Фривольный шепоток, пущенный во благовремении, приобрел вскорости сверхъестественную резвость. Поговаривали, что Сергей Андреич подобрал себе дочку одного ликвидированного нэпача просто на бульваре, куда выкинула ее классовая судьба, и сразу же накупил ей платьев, контрабандных чулок, уральских брошек и еще чего-то, почти преступного при строгих советских нравах. И, наконец, такую шапочку приобрел слушок, будто любовная добычка Скутаревского не достигла еще совершеннолетия... Погуляв по городу, сплетня постучалась в институт под видом плоского разговорца, которым крайне приятно было перепихнуться где-нибудь в буфете или в уборной. Научному авторитету директора высокочастотного института стала сопутствовать слава отъявленного сердцееда и даже любителя молодятинки. Кажется, эти ходячие мертвяки, потому что вонять с успехом можно и стоя, старались просто свалить Скутаревского домашними средствами, ибо — вставши на труп — все на полголовы выше станешь.

Потом наступила благословенная тишина, и в ней, точно вдруг в барабаны ударили, объявилось, будто кто-то и где-то не подал Скутаревскому руки. Сергею Андреичу разом припомнили все его ужасные революционные суждения, которые, будучи до детскости смешными в глазах истинного большевика, способны были, однако, распугать многих из его среды. Словом, социальная прослойка извергала Скутаревского как инородное тело; он оставался совсем одинок, щепка на высокой прибойной волне, а травля не уменьшалась. Черимов видел все эти мелочи и молчал, выжидая какой-то особенной минуты. Но дело заключилось все же редкостным для научной среды скандалом. Как-то в начале февраля, в один очень роскошный полдень, Черимов присутствовал при беседе нескольких молодых сотрудников института; ели бутерброды в буфете, разговаривая о разном, и тут Иван Петрович рассказал между прочим о своих наблюдениях над Скутаревским. Лукаво поигрывая омонимами — жена и Женя, причем открыто именовал последнюю любовницей, он преподнес один драматический узелок: того, что при возрасте Скутаревского хватало для жены, не хватит, разумеется, для Жени. Это могло оказаться и правдой хотя бы потому, что слово Женя звучало во сто крат нежнее.

Все даже перестали жевать от неловкости; один Черимов, сидевший на подоконнике, продолжал улыбаться. Потом он протянул руку... и сперва все поняли его движение так, будто он хочет вынуть бутерброд изо рта Ивана Петровича; именно улыбка черимовская ввела всех в заблуждение. Только по сочности звука поняли, что произошло нечто более существенное. Получилось понятное замешательство, причем Иван Петрович казался более перепуганным, чем оскорбленным выходкой Черимова. Всем были известны их частные встречи, начало несомненной дружбы, чего Иван Петрович, к слову, никогда не опровергал; должно быть, дружба эта была очень своеобразна, раз она столь эффектно начиналась с мордобоя. Мгновенно оживив в памяти свои беседы с этим колючим коммунистом, Геродов вспомнил кстати, что при встречах всегда особенно много говорил он сам, а Черимов только слушал да улыбчато поигрывал в молчанку. Пожалуй, не было ничего удивительного в том, что ученик вступился за учителя, но зато и не было спасительной уверенности, что только это было причиной скандала. Молчание угнетало, надо было сказать что-нибудь.

— Я старше вас, Николай Семенович,— произнес Геродов, берясь за очки и оглядывая их: стекла чудом остались целы. — Вам должно быть стыдно за эту неуместную... и вовсе не позволительную шутку.

— У меня такое предчувствие,— тихо ответил Черимов, улыбаясь одними глазами,— что в ближайшем времени я еще раз дам вам по морде.

Тут прозвучал звонок, и представление кончилось.

Происшествие означало или скандальный уход обидчика, или немедленную отставку обиженного, но Иван Петрович медлил. Представлялось ему неразумным в такое ответственное время из ложного самолюбия покидать институт; Иван Петрович никогда не слыл мелочным человеком. Притом, если бы Черимов употребил полную меру негодования, а следовательно, и удара, то, при его физической силе, от Ивана Петровича остались бы... как это называется? да, ошметки. Следовательно, сила гнева была неполная. Черимов просто рассердился, что может случиться со всяким. В душе Геродов расценивал, конечно, иначе смысл буфетного события; Черимов был до точки организованный человек, и немыслимо было, чтобы он порешился на избиение научного сотрудника, так сказать, без согласования с инстанциями. По врожденной догадливости этот молодой человек мог пронюхать что-нибудь глубже, и тогда обещание Черимова повторить удовольствие принимало совсем иные очертания. В суматохе Иван Петрович упускал из виду прямолинейную, вспыльчивую черимовскую молодость. Внешне-то, пожалуй, внюхиваться было не во что. Правда, за неделю перед тем произошел один невинный, не лишенный забавности эпизод в институте, но нужна была маниакальная подозрительность, чтобы вывести из него какие-либо заключения.

Вечером однажды, вернувшись в институт на ночную работу, Сергей Андреич не нашел у себя в кабинете одной тетрадки. Он искал везде, спрашивал у заместителей, лазил за шкафы, волоча за собой электрический шнур, громил уборщиц, но утерянного так и не нашел. Тетрадка была клеенчатая, вроде тех, с какими мучаются школьники, из плохо проклеенной, линованной бумаги, сплошь исчерченная формулами и небрежными набросками от руки; в этой цифровой неразберихе заключалась суть многолетней работы Скутаревского. Уже собирались сделать заявление в соответствующую инстанцию, но через сутки тетрадка оказалась на прежнем месте, в запертом

ящике, который Сергей Андреич старательно обыскал накануне. В это утро Иван Петрович проявлял повышенную суетливость, даже услужливость и, неожиданно, на целых сорок рублей взял билетов осоавиахимовской лотереи.

— Вы верите в нечистую силу? — спросил у Черимова Сергей Андреич; кроме Ивана Петровича, в кабинете присутствовал и Ханшин.

Привыкнув к витиеватым вступлениям учителя, тот молчал. И тотчас же Иван Петрович разъяснил превесело, что речь идет о чертях, колдунах, суккубах, оборотнях и прочей рогатой чепухе.

— Нет, я имею в виду нечистые силы, вполне доступные для советского суда,— в раздраженье поправил Скутаревский и тут же рассказал про историю пропажи и появления тетрадки. — Я не знаю, может быть, следует поставить солдата с заряженным ружьем, но охраните меня, товарищи, от непрошеного любопытства.

Несколько мгновений длилось довольно пакостное замешательство; потом Ханшин сообщил, становясь добротного красного оттенка:

— Я должен извиниться, Сергей Андреич. Делая доклад третьего дня, я нечаянно захватил ее вместе с бумагами, но наутро принес к вам на стол... Вас не было, я положил ее сбоку, рядом с двумя колбами... отчетливо помню их. Потом я ушел.

— Очень смешная история, товарищ Ханшин,— ехидно заметил Скутаревский и смотрел, ища сочувствия, в сторону Геродова. — Детектив какой-то... пропавшая грамота. Где же она могла быть сутки после этого?

— Фотографирование ее требует времени, а в ней много страниц,— резко сказал Иван Петрович, решаясь на разрыв с Ханшиным, который продолжал стоять с опущенными глазами.

В тетрадке, даже если бы попалась специалисту, все равно было бы ничего не понять; на том дело и кончилось, но вечером, тотчас после пощечины, прямо со службы, Иван Петрович зверем бросился к Петрыгину. Свиданья их происходили нередко,— оба они, как уже выяснилось, входили в ревизионную комиссию того кооперативного дома, который совместно с другими заканчивали стройкой в текущем году. У Петрыгина сидели еще две каких-то сконфуженных личности, назвавшиеся нечленораздельно: Иван Петрович впервые видел Арсения Ску-

таревского. Хозяин поил их чаем с медом; тут же на столике стояло блюдо антоновских яблок — одни они, щекастые, бородавчатые, восхищали взгляд в этой скорбной комнате. Свет многосвечной настольной лампы падал на них, и желтые светящиеся блики играли на усталых лицах гостей. Иван Петрович с нервным беспокойством смотрел, как обстоятельно обсасывал ложку один из них, облепляя ее губами, причем губ становилось сразу как бы впятеро; этот гость был шаровиден, и даже брюки на нем были какие-то круглые. В силу некоторых секретных обстоятельств Иван Петрович предпочел бы, чтоб замышленный разговор произошел без свидетелей. Заговорили сначала о нехватке кирпича, кровельного железа, цемента — обыкновенный обывательский конверсасьон, как определил Петрыгин, с жалобами на советскую власть, которая все строительные материалы отдала целиком индустриальным предприятиям.

Прямо над гостями нависал в тяжелой раме вострый, сухопарый, стриженный под бобрика, человек с повелительными водянистыми глазами и в сюртуке. Весь свет сосредоточился на яблоках, и оттого глаза человека смотрели как бы из темной, беспредметной пустоты; изредка и вперемежку все взглядывали на него, и у всех осталось ощущенье, что именно портрет этот, сделанный с предельной выразительностью, председательствует на случайном петрыгинском совещании.

— Кто это? — озабоченно спросил Иван Петрович, пристраиваясь, однако, к медку.

Петр Евграфович поднял глаза:

— Да, ведь вы не встречались... Это тесть мой, Сергей Саввич, член городской думы и... — Он умолк, давая время гостям припомнить все остальные чины этого незаурядного человека.

— Он и теперь в Москве? — басовито осведомился шаровидный.

— Нет, он в Медоне. — Петр Евграфович не пояснил, что это такое: они отлично знали это парижское предместье и без него. — Великий человек, а вот закатился тускло, как башмак за койку.

— Великий человек — это тот, шестерни которого совпадают с шестернями века,— учтиво подхватил Иван Петрович, мысленно отказываясь от задуманной беседы. — И уж если...

— Ловко сделано,— еще обмолвился шаровидный, прищелкнув пальцами. — Такой не задумается целый класс растворить в кислоте и спустить в реку.

Петрыгин улыбался, поглаживая колено:

— Работы Федора Скутаревского, вот и подпись... — с удовольствием, как в улику, он ткнул пальцем в место на уголке, где четкое, без инициалов, стояло знаменитое имя. И странно, всем стало легче при упоминании этого имени. Петр Евграфович помолчал и вдруг сказал твердо и солидно: — Послушайте, родной Иван Петрович, нам необходимо привлечь и Ханшина.

— Я не понимаю вас,— вздрогнул Геродов и, как ужаленный, взглянул на Арсения, но тот неопределенно опустил глаза.

Игра в недомолвку не удавалась.

— Ничего,— успокоил его Петрыгин. — Жена уехала в Кисловодск. Никто не слышит.

— Но ведь Ханшин не пойдет без Скутаревского,— сквозь сжатые губы процедил Иван Петрович.

— Ну, Скутаревского я, по-родственному, беру на себя,— засмеялся Петрыгин.

И вот тогда-то произошло э т о.

— ...а я не желаю! не желаю! — неожиданно, фистулой визгнул Геродов и сам испугался своего визга; нервы его не выдерживали. — Я не хочу больше... эта дурацкая история с тетрадкой походит на провокацию. Я...

Его истерическое вступленье прервали часы; сперва в них захрипело, будто спрятанный в ящике кто-то расправлял молодцеватые металлические усы; потом торжественный и самодовольный начался бой. Глухое звуковое колыханье до последней щели наполняло комнату. Одна волна не утихала, пока не начиналась другая, которая также не торопилась, а всего ударов последовало одиннадцать. Оборванный на полуслове, Иван Петрович с ненавистью глядел то на этот подлый продолговатый предмет, то на его владельца, иронически созерцавшего гостеву ярость.

— Гнусные часы,— вымолвил он потом.

— Философические часы,— веско поправил Петрыгин. — Но я слушаю вас.

— Словом... я ухожу и порываю все. — И прежние высокие ноты заметались в голосе Ивана Петровича. — Они уже бьют меня по щекам, и стоит, стоит. Я стал седой пакостник, я стал чехол с вас, просиженный, старый чехол, из которого пыль выбивают кулаками. Лицо... вы видите, какое у меня

стало лицо?.. у меня уже неделю ночует Штруф, и я не смею его выгнать. У меня черные руки стали, руки черные стали у меня... Я боюсь, я слушаю все шаги на лестнице, я сплю не раздеваясь. И у меня жена! — кричал он, глядя в померклые глаза Арсения.

Кстати, жену он помянул лишь от слепой ревности к тому непременному усачу, который, в случае провала, заменит его в супружеской кровати. Он кричал, и двое остальных также начинали волноваться, у них дрожали пальцы и выплескивался из стаканов чай. Кучка намелко изжеванных окурков в пепельнице и вокруг нее свидетельствовала о крупном разговоре, который состоялся перед появлением Ивана Петровича. Клубок вредных сомнений, завершившийся сегодня истерикой Геродова, грозил перекинуться и на остальное петрыгинское войско,— и вот хозяин гневно закусил свой круглый ус. Лицо его стало жестко, один глаз уменьшился против другого, а пальцы сами собою складывались в кукиш.

— А Гастона Галифе хотите?.. — тихо спросил он, и эхо отдаленного пушечного выстрела раскатилось в его словах.

Только магией, только колдовством можно было бы в такой срок добиться подобных превращений. Иван Петрович укрощенно склонил голову. Арсений закрыл глаза, а толстый похудел неузнаваемо: слово вонзилось ему в самые внутренности. И опять, в тишине, Петрыгин жевал свой ус. Половину двенадцатого звонили насмешливо часы. Человек в золоченой раме выглядел суше и пронзительней; возможно, он выжидал, следует ли и ему произнести веское свое слово. Петрыгин по очереди оглядел свою паству; изредка балуя их необходимыми подачками от высокого лица, которого не называл ни разу, он время от времени избивал их страхом. Взрывчатая смесь трусости и злости, на которой он вел свою машину, могла когда-нибудь погубить его самого, и он никогда не перегревал ненадежного человеческого котла; но никогда раньше и не случалось такого смятенья.

— Интеллигенты, боборыкинское слово... — твердо сказал Петрыгин. — Вам следует вылить по стакану брома за шиворот. Но мне жаль вашего костюма, Иван Петрович. Кстати, это тот заграничный, который я привез вам? Прекрасно сидит. С такою внешностью вам бы только девушек обольщать, а вы хныкаете.

— Мы не хныкаем, но, в конце концов, эти пять драг заказывали не мы! — выпалил шаровидный и весь разрядился, и губы его повисли, как уши.

— Вы обыватели по преимуществу. Ну, что же, nolenti baculus![1] Мне нужна сернокислотная промышленность, а вы партизаните на районной торфянке. Я даю задание по коксобензолу, а вы мне о производстве суспензориев. Где чертежи аргуновских разведок? — И он загремел без опасения быть подслушанным в соседней квартире: вся конспирация его и состояла в том, что он действовал в открытую.

Трудно было предположить подобный темперамент в этом оплывающем сахарном человеке; не было здесь ни патриотической елейности, ни истерических призывов к активному героизму; презрение фонтанировало из него обжигающим словесным фейерверком. Вероятно, в приливе прозорливости, видел он, как из пыльного этого кабинета фразы его выпрыгивают в учебники истории для будущих классических гимназий; скучную политическую отвлеченность он умел вскипнуть до степени латинского разящего образа. То была ясновидческая феерия или припадок старческого слабоумия, демагогическое шаманство или откровение в грозе и буре... И вот, как в сказке, еле поспевая за судьбой и словом, плывут иностранные вымпела к ленинградским воротам революции, топочут грузные сапоги интервенции, шумят казацкие плавни на Дону и колышется мужицкая Сибирь. Турбины вчерашней пятилетки десятками выходят из строя, лопаются маховики, сбиваются с такта моторы. Эта грозная забастовка машин переходит в стихийное помешательство промышленности. Интоксикация государственного организма повышается работой отраслевых центров, кровообращение между городом и деревней нарушается, и вот уже сорок тысяч человек стоят в очереди за куском сохлой кукурузной булки. Все проявляют необычайную самодеятельность, все произносят слова, семян которых вчера еще вовсе не подозревали в себе, в каждом шевелится по Мак-Магону. Имена, обстоятельствами истории растертые в геологический ил, восстают, смыкаются разрозненные пылинки, и вот под гром военных оркестров стройный тридцатилетний генерал в треуголке и ботфортах шествует от моря до моря... — Должно быть, он видел и карту перед собой: иначе попросту нетрезвы были бы его вполне осмысленные жесты. Его импрови-

[1] Не желающему — палку *(лат.)*.

зация, однако, вряд ли доступна была для серьезного обсуждения.

— ...мы отдадим здесь, вобьем клин сюда и сдвинем там. Мы окажем помощь восстаниям, купим лимитрофы, само небесное воинство и, наконец, луну... Луну, черт возьми, и устроим на ней мировую бордель для православных воинов!..

Иван Петрович сидел смирно, как в парикмахерской, с замираньем сердца вслушиваясь в рокотанье хозяина; кажется, у него начиналась мигрень. В присутствии Петрыгина он просто растеривал себя, а заодно с волей и свое ученое достоинство. Шаровидный вообще чувствовал себя так, точно Петр Евграфович просунул ему руку в живот и чугунною пятернею тискает ему желудок. Арсений щурил глаза: пожалуй, так не разговаривал даже Минин, да и дядю он заставал впервые с этими словами на устах. Разгром был полный, оставалось праздновать победу.

— Вы... вы безумный старик! — шептал Иван Петрович, трусливо вытирая петрыгинские брызги с подбородка, и голова его тряслась; было ему так, точно на прыгающем лафете везли его куда-то в грохочущую, полную жерновов глубину. — Но кто тот, под кого вы наряжены?.. но ваша программа?

— Ненависть! — в ураганной тишине шепнул тот, и в эту минуту было в нем даже от самого Питта.

В полном безмолвии Петр Евграфович поднялся и пошел к этажерке; и Катон не уставал так после словесных погромов Карфагена. В узком зеркале, поставленном в простенок, Иван Петрович, сгорбясь, наблюдал, как небрежно, почти вслепую хозяин заводил аристон. Потом он нажал сбоку рычажок, и тонкие зубцы внутри ящика заиграли отрывистыми, мелодичными звуками. Сразу стало так, точно в прошлое отворилась замурованная дверь. Старая спокойная цивилизация с наивными идеями и неповоротливой техникой вступала в это затхлое пространство, замкнутое, как магический круг. В памяти странные происходили сдвиги и расщепленья, а вещи выглядели новее. С плавным шепотом проходили нарядные пары котильона, шуршали жесткие юбки с турнюрами и платья со смешными буфами на рукавах; застыло гнулись мужчины в складчатых брюках и усах, требовавших дорогих фиксатуаров и ежедневного присмотра; механически хохотали перетянутые жеманницы с проволочными валиками в волосах. Петр Евграфович молодел под это треньканье; сахару в моче не

оставалось и в помине; юностный, как озимь, пушок покрывал одряблевшие щеки, но глаза оставались грустны и неподвижны. Он сидел скромнее всех, глядя в расшитый экран у камина; вещь была итальянской работы, она изображала охоту на кабанов,— ликуя и смеясь, охотники били зверя, изогнутого, как пружина. Вдруг он обернулся и сказал с лаской, которая как удар бича:

— Кушайте яблоки, господа.

Но Ивана Петровича среди гостей уже не было, и, странно, никто не заметил его панического исчезновенья. По лестнице он спускался бегом. Адвокатская кожица, возвращавшаяся с прогулки, сочувственно посторонилась: гражданин мог спускаться от дантиста, который, кроме исключительной физической силы, славился зверством врачебных приемов. С тем же лицом, распугивая прохожих, Иван Петрович вернулся домой. Действие петрыгинских чар проходило, но еще порядком потрясывало от одного воспоминанья. На всем — от крыш до островерхих уличных фонарей — мерещились ему надетые разных размеров треуголки; то именно и страшно было, что лица под ними были угловаты, бездушны и множественны. Теперь для успокоения требовалось ему только услышать голос Скутаревского; этот не умел фальшивить, и самый тон его разъяснил бы несчастное положение, в котором очутился Иван Петрович. Не раздеваясь, он кинулся к телефону; номер был занят. Сердце до мозолей колотилось в ребра. Весь осунувшись, Иван Петрович почти в истерике колотил по рычагу, звонил еще и еще, все с прежней удачей. Потом, обессилев, он сутуло сидел под аппаратом, выжидая, пока отцепится от Скутаревского не в меру разговорчивый абонент. Позже, когда его соединили, он услышал голос Черимова, и уже одно это служило недобрым предзнаменованием.

— Сергеандрейча! — в одно слово прошептал Иван Петрович, губами прижимаясь к эбониту, и когда того не оказалось дома, прибавил отрезвев и с зевком, наспех придуманным для пущей убедительности: — Это вы, Николай Семенович? Добрый вечер... Передайте ему, что я достал наконец скерцо для четырех фаготов. И если только вечер у него свободен...

— Ладно! — неопределенно коротко сказал Черимов и прекратил разговор, а Иван Петрович долго еще прислушивался к шелесту в трубке.

Все рушилось. Там, в секретном свидании заочно решалась его участь; Скутаревский прятался от человека, с которым

годы работал вместе. Не оставалось сомнений, Черимов нарочно поехал к нему на квартиру, потому что не в институте же, не близ чужих ушей было вести подобный разговор. Где-то на особой страничке черимовского блокнота, куда, наверно, в порядке самокритики заносит свои партийные грехи, жирным карандашом записано было: разъяснить Ивана Петровича. Ну да, так и возникают пухлые казенные дела, так пишутся доносные бумаги. И вдруг представлялось иное: поверх домов, пронзительно скрипя в рессорах, качаясь на незримых глазу ухабах, мчится за ним черная герметическая карета... И тут со страху окончательно мутилось у Ивана Петровича в глазах. Но эти неописуемые пантомимы трусости кончались у него обычно протрезвлением. Улик явных не было, значит, ничего существенного не грозило; самое большее — могли выгнать со службы с волчьим билетом; и уж на крайний случай оставалась спасительная возможность донести самому ровно за сутки до того, как все откроется. История с пропавшей грамотой, как ее ни интегрируй, ничем не указывала на его причастность. Опять же умный вор спустился бы этажом ниже, где помещались лаборатории особого назначения. Следовало держаться до царственности неприступно,— вот как следовало держаться! Случись на месте Геродова сам Петрыгин, он не постеснялся бы и в суд подать, ибо вовсе не такими методами полагалось вести работу среди ученых.

Все произошло иначе. Расписываясь накануне в ведомости по зарплате, Черимов увидел там и расписку Геродова. Буква со славянским витиеватым росчерком показалась ему знакомой. Пошарив в жилетном кармане, он выудил оттуда истлевшую окончательно бумажку; на уцелевшем клочке та же самая буква встречалась четыре раза подряд. То была анонимная записка о Бебеле, которую он получил в памятный день своего появления в институте. И когда, в довершение всего, аноним оказался вором да еще сплетником, тут-то у него и вазудело в руке.

ГЛАВА 18

Дело заключалось в том, что ученик решился вмешаться наконец в судьбу учителя, который теперь, очумев от любовных эмоций, мог наделать непоправимых глупостей. Правда, старик несколько запоздал, и, задержись Иван Петрович у Петрыгина на полчаса, произошла бы смешнейшая, просто воде-

вильная встреча, которая в один мах рассеяла бы все геродовские страхи. Черимов приехал без предупреждения; в случае неудачи представлялась возможность взглянуть краем глаза на самую виновницу многих предстоящих бед. Задолго до встречи он испытывал враждебность к ней, потому что, хоть и питал отвращение к сплетне, только на основании ее и мог составить мнение свое о таинственной девице. Он увидел ее сразу, едва вошел. Низко склонившись под лампой, она правила гранки.

— Меня зовут Черимов,— грубовато сказал гость. — Сергея Андреича нет дома? Ничего, я подожду.

— Хорошо, тогда сидите.

— А ваше разрешение требуется? — с некоторой уловкой пошутил он, намекая на нечто, им обоим известное.

Она удивилась:

— Ну, тогда постойте... или ходите, все равно.

— Я предпочту посидеть, товарищ... товарищ?..

— Зовите меня просто Женя, если понадобится. — Она рассеянно взмахнула на него ресницами, и было так — точно птицы взлетели на плечи ему синей стайкой. «Эге,— подумал Черимов,— начинается».

Девушка молчала. Работа была спешная; девушка торопилась. Ничем не соответствовала она тому образу совратительницы, который Черимов составил себе по романам дореволюционного образца. У тех бросалась в глаза явная, так сказать, товарная ценность; их неукротимый запах приманивал с достаточного расстояния; походкой балованной кошки, с перехватом в талии, как гитара, они проходили среди усатых и вполне семейных мужчин, и эти усачи, владельцы фабрик, железных дорог и поместий, бросались в самоубийства, разоренья и дуэли... Девушка, сидевшая за столом, напоминала переряженного мальчишку; совсем не девическая угловатость сквозила в каждом ее движенье. Стриженые кудряшки падали до самой бумаги, закрывая лицо. Черимов видел лишь острое, не вполне сформировавшееся плечо да еще старательные ученические пальцы с обгрызенными ноготками... Несоответствие это дразнило его и сбивало с толку. Необходимо было со всей строгостью разоблачить неискусную маску инфантильности, хотя бы это повлекло ссору с самим Скутаревским.

— Вы правите гранки. Значит, вы знаете предмет?

— Я сверяю по рукописи.

— Отлично, а вот зарплату вы получаете или просто так? — Подняв голову, она морщила переносье и не понимала; он смутился: — Я объясню. Я предан Сергею Андреичу и еще не решил своего отношения к вашему появлению в его жизни.

— А зачем вам это нужно?

— Чем торговал ваш отец? — вопросом на вопрос, со следовательской прямотой настиг он ее.

Действительно, она оказалась сбитой с толку.

— Все-таки не понимаю,— и рассеянно перебирала гранки. — Правда, он продал шкаф, когда отобрали лишнюю комнату... — Вдруг она рассмеялась, точно насмешливый бубенчик забился в ее горле, а Черимов обратил внимание и на то, какая настороженная тишина отвечала ей из-за двери, с половины Анны Евграфовны. — Вы чудак, Сергей Андреич рассказывал, как вы пришли к нему в первый раз. Не обижайтесь, он любит чудаков. — Пожалуй, она уловила что-то из черимовского намека. — Кстати, вы всех секретарей допрашиваете таким образом?

Но Черимов на ответную уловку не поддался: тот же Скутаревский отказался наотрез, когда Черимов предлагал ему в секретари испытанную работницу, активного участника девятьсот пятого года и гражданской войны. И во многом этот молодой человек был прав, хотя и не представлял еще полностью, в какие смешные формы уложилась здесь жизнь... Фронтовая линия не стиралась; подобно снайперу у амбразуры, жена караулила каждое движенье на неприятельской территории. И там, где понять не хватало ума, приходила на помощь изобретательная мелочная ревность. Вещественной плотности мрак навис над этой нескладной семьей: десятки самых сокрушительных догадок предоставлялось жене накроить из него... В ее новом унизительном безделье они служили ей злыми, линючими игрушками. Сперва она кинулась к сыну, но детям всегда тягостна и непонятна огромная, страшная, как библейский ковчег, кровать родителей. Арсений сторонился интимных подозрений матери; вдобавок период этот совпал для него со временем острого душевного разлада. И тогда, чтобы подсчитать перед войной свои резервы, Анна Евграфовна пошла продавать часть своей коллекции. Она понесла большое, золоченой глины, мавританское блюдо; такие появились, когда христианская реставрация запретила испанским маврам употребление столового золота... В магазине, полном хрупкой и вычурной выдумки, стыдясь и волнуясь, она долго

развертывала проношенную простыню, в которую была завернута вещь. Приказчик ждал, отвернув глаза в сторону: он понимал философические причины суетливого и совершенно независимого от людской воли блуждания вещей.

— Сколько гражданка хочет за эту неудобную разрисованную тарелку? — спросил он потом с учтивым равнодушием, которое цепенило.

Второпях она назвала ему сумму, преувеличенную в сравнении с той, которую задумала. Впрочем, она не смутилась: вещь была редка, а с них всегда надо запрашивать. Приказчик сдержал улыбку; инструкция предписывала максимальную вежливость с клиентами. Он взял небольшой, килограммов на семь, бюст Наполеона, что валялся на полу, вытер ему лицо тряпочкой, как бы помогая высморкаться, не спеша поставил на место и ответил только после всей этой донельзя обидной процедуры. Он посоветовал хранить на дому это блюдо, которое, будучи парижской подделкой, являлось, повидимому, бесценной семейной реликвией. «Вы положите на него фруктов, когда придут гости,— это будет самое недорогое и изысканное украшение стола».

Никакое иное оскорбление не могло сравниться в силе с этим снисходительным сочувствием. Но первая неудача не сразила ее; слишком трудно было примириться с мыслью, что целая жизнь, со всеми заботами, усилиями и беготней, шла насмарку. В другой раз уже в сумке, с какими ходят на базар за овощами, она понесла две итальянские майолики; они были тяжелы, до магазина их тащила на себе домашняя работница. Труды ее пропали зря; приказчик подтвердил, что вещи — почти шедевры прекрасной флорентийской, но уже позднейшей, к сожалению, подделки. И опять, было бы гораздо менее обидно, если бы он попросту ответил ей в глаза: «Идите вон, вы только безвкусная дура, мадам». Но Анна Евграфовна не сдавалась; деньги у нее еще имелись, и продавать она шла вовсе не потому, что не хотела жить на средства сына; с тем большей настойчивостью, хоть и таяли в ней запасы мужества, она продолжала идти на приступ. Серебряная допетровская панагия, с сертификатом о принадлежности одному из Филаретов, оказалась просто медальоном работы современного вологодского мастера по черни; птичья фамилия этого искусника, названная приказчиком, вызвала в воображении некоего тощего человека с острым носиком и вороватым хохолком бородки. В бесценном Броуре, которым Анна Евграфовна собиралась

потрясти музейных экспертов, отыскали манеру одного ловкого жулика, который заканчивал свою художественную деятельность на рыбных промыслах в Соловках. Потом удары посыпались чаще: персидская, царственная по краскам миниатюра объявилась раскрашенной фотографией, врезанной в слоновую кость, а редчайшая, династии Мингов, китайская курильница — просто берлинской пепельницей. Как в старинной легенде, золотые червонцы на глазах у нее превращались в гадкие вонючие черепки. Линяла бронза, кость оказывалась деревом, фарфор — лакированной терракотой. Мадам уходила вся в пятнах, близоруко натыкаясь на посетителей, иногда грозясь жаловаться, а ее уже признали в магазинах и ждали, как развлечения, ибо поистине явление становилось необыкновенным. Здесь, у прилавков, она познакомилась со знаменитыми историями поддельных румынских медалей, чешского эпоса, петровского стекла и, наконец, с сатанинским именем Леона Хохмана, одесского ювелира и автора прославленной скифской тиары. Тот же самый приказчик, сжалясь однажды, предложил ей продать целиком ее смешную коллекцию фальшивок в какой-нибудь провинциальный музей... Катастрофу следовало сравнивать только с горным обвалом. Минутами Анне Евграфовне как будто даже становилось стыдно: Скутаревский работал, как лошадь, втаскивая на подъем неуклюжую семейную колымагу, и целая куча прохвостов сидела в ней, кормясь от неумных щедрот его жены. В действительности каждая вещь окутана была для нее драгоценными эмоциями, но магазин платил деньги не за эмоции, а за вещь. Как в бреду, проходили перед ней образы — Курцмана, неутомимого антикварного ловкача всех времен, потом седоватого черноглазого Кара-Бушуева, поставщика великих князей и всесветного авантюриста, который, слегка попользовавшись, передал покупательницу Штруфу; теперь самое имя Осипа Бениславича вызывало в ней острые приступы мигрени.

Была удивительна быстрота, с какой Анна Евграфовна приспособилась к новой роли; по утрам она привычно уходила из дому в обход знакомых магазинов, зная все наперед. Она блуждала до изнурения, нагруженная вещами, — по ночам и усиленные дозы веронала не доставляли успокоения. Единственный сладостный смысл этого самоуязвления представлялся лишь в том, что, унижаясь так, она унижала *жену* Скутаревского. Еще быстрее сбежала с нее чопорная, хваленая ее интеллигентность. Иногда, впотьмах открыв свою дверь и не

поднимаясь с кровати, она с бьющимся до боли сердцем ловила ночные шорохи. Старые двери, которые не смазывались никогда, эти сторожевые деревянные псы семейного очага, неминуемо взревели бы, если бы Сергей Андреич по-воровски, крадучись, отправился в ночную охоту на любовь. Только это разъяснило бы ей, вдова она уже или нет, но ничто, ни писк, ни стон не нарушали ровного дыхания ночи.

Утомясь от книг, которыми даже в чрезмерном изобилии снабжал ее Скутаревский, Женя спала без всяких сновидений. Она готовилась в вуз и, конечно, нигде не успела бы сделать столько за такой короткий срок; усиленные занятия служили единственным оправданьем ее нового положения. Вовсе неспроста Сергей Андреич рассказывал ей о Черимове, которого когда-то приютил; о поспешном бегстве его он умалчивал. Ему хотелось создать видимость обычности для редкостного случая, каким являлось вселение Жени в семью. Впрочем, живя в одной квартире, они зачастую не виделись неделями; встречи их происходили главным образом вне дома и сперва в общественной столовой, куда сходились в конце дня,— время установилось само собою, без сговора. Здесь не было опасений встретиться со знакомыми; обеспеченные люди его круга даже и случайно не заглядывали сюда. Вряд ли это походило на свиданья. Пыльная пальма, на войлочной шее которой висело откровенное приглашение платить вперед, свешивала лакированные космы,— украшение несвоевременной этой дружбы! Пределы их бесед суживала сама обстановка: за торопливой едой, составленной из серого хлеба и сурового стандартного бульона, недоступны были никакие лирические отступленья.

Иногда, впрочем, им давали компот.

— Это бунтует старичье,— сказала она по поводу одного шумного судебного процесса, которым долго питались газеты.

— Я тоже старик,— усмехался Скутаревский, вылавливая сладковатые тряпочки урюка. — Вы еще молоды, ноги ваши, как молодые березки, а руки... — должно быть, возраст давал ему право говорить это... — а руки, как трубы, по которым струится нежность.

Смутясь, она грызла скользкую, сладкую косточку.

— Но о вас столько говорят, вас хвалит даже молодежь.— «Требовательная, нещедрая молодежь» — прозвучало в ее голосе.

— Ну... стариков она хвалит, лишь когда они безопасны для нее.

Конечно, он ждал возражений, горячих и убедительных, а Женя не знала, что именно так принято в его кругу. И так уж установилось, беседу вела она, а Скутаревский, стремясь изучить ее, не перебивал и полусловом. Привыкнув к нему, она не стеснялась высказываться даже там, где требовались знания, которых она не имела. Зато всегда как бы свежим ветром дуло от нее; он сдувал слежавшуюся пыль с привычных понятий предшествующего поколенья, и тогда в особенности становились видны раковинки времени на них, трещинки и червоточинки. Всякий раз это звучало для него по-иному. Она говорила: «Сперва младенец, потом старик; это глупо организовано, следовало наоборот. Я представляю себе так и почти вижу: вход в пещеру, и все следы близ нее ведут в одну лишь сторону. Дело начинается с костей, с россыпи, с оскорбительного и смертного тлена. Что-то происходит, я не знаю — что, но вот старики выходят из своего подземелья поодиночке или же настолько крепко слежавшимися парами, что на каждом еще видны отпечатки его супруга». — А он понял так, что это она про Анну Евграфовну. — «В их морщинах еще лежит время, земля и ночь. Они начинают с великого знания, свершений и мудрости. Они расстаются именно потому, что любят, и они молодеют тысячекратно в награду за все несделанное. И так, ликуя и смеясь, они постепенно растворяются в голубое ничто...» Он молчал, ему была любопытна эта, не додуманная до конца фантазия юности. Она говорила: «Послушайте, Сергей Андреич, я прочла наконец. Илиада — это очень скучно. Никто не прочел ее два раза, но почему об этом стыдно говорить?» А он переводил ее слишком искреннее признанье на тяжеловесный язык собственных научных рефлексов: «Что ж, вот умерла Ньютонова механика... угасли, отвердели достижения Лагранжа и Декарта. Омрамореет все, и самый мрамор источится зеленым ветром новых весен. Храните жизнь!» И хотя старая культура на его глазах становилась знаменем реакции, он взирал подозрительно и недоверчиво на ростки новой, для которой уже освобождалось место.

Изредка совсем другие ветерки выбегали из этого ясного, ни морщинкой не прочерченного лба:

— А вы знаете, Сергей Андреич, когда происходил Первый съезд партии?

— Видите ли, у меня крайне странная голова: цифры держатся, а вот даты... — И уже самому было неловко, что осведомлен хуже нее о таком почтенном дне.

— Я буду взамен ваших давать вам уроки политграмоты... хотите?

Он обеспокоенно двигался:

— Прекрасно... даже непременно. И мы начнем... вот, у меня послезавтра совещание, а потом сессия академии... вот, после сессии и начнем, идет? Да вы просто из поколения французских просветителей. Впрочем, теперь это в моде: я на театре видал — пионерка просвещает профессора-зубра. И все плачут, публика, директор и даже кассир внизу трешницами утирает слезы...

С удивлением, которое перерастало в отчаянье, он замечал: привязанность к этому бездомному существу крепла в чувство, которое он всегда поносил и от которого отрекся бы публично, на площади; у него нашлось бы уменье средствами самой математики доказать всю неосновательность этих обвинений: впервые она солгала бы, эта правдивая и в общем неприятная старуха. С тщательностью, которая определяла его старорежимную совестливость, он все глубже прятал в себя, как в землю, это робкое зерно. Тем больше становилось шансов, что когда-нибудь оно вырастет в дерево, тяжелое от песен, птиц и ветвей: была еще плодородна скутаревская земля. Существо его раздвоилось; никто, пожалуй, не поносил себя так за эту запоздалую страсть. «Это маразм!» — кричала одна половина, и свистящим эхом отзывалась другая: «...или эпос». Как человек с нечистой совестью, он краснел и злился в присутствии Жени, а она робела от его внезапной грубости, которую, по неопытности, не понимала. Но, кажется, он молодел; кажется, он начинал верить в обратимость процесса, о котором шутливо фантазировала Женя. Гора его, этот окостенелый горб, сглаживалась; он забывал о ней; его душевное существо выпрямлялось. И прежде всего это сказывалось на работе: сборка аппарата подвигалась к концу, и в ближайшем месяце следовало ждать первой пробы.

Помянутые обстоятельства не были известны Черимову, и уж, во всяком случае, об этой девушке он знал гораздо меньше Скутаревского, который хоть пространные гипотезы составлял в изобилии на ее счет. Пребывание Жени в семье Скутаревского стоило размышлений, а Черимов, как и следовало

ожидать, относился порицательно ко всяким психологическим выкладкам. Он помолчал, потом взялся за трубку телефона.

— Мне надо позвонить в одно место,— нерешительно объявил он.

— Моего разрешения не требуется! — засмеялась Женя.

Он нахмурился:

— Но вы работаете.

— Да... но вы же не уверены, получаю я за это или просто так...

Он отвернулся.

Номер телефона принадлежал одному его приятелю, капитану хоккейной команды. Неоднократные победы связывали их подобьем особой дружбы, с тою существенной разницей от обычной, что время не действовало на нее никак. Там, в команде, Черимова и знали не иным, кроме как в белой фуфайке и с клюшкой, сдержанного и за счет сдержанности своей меткого парня, всегда послушного команде капитана. Наверно, к телефону подошел он сам; Черимов называл его по фамилии, прибавляя официальную частицу товарищ. Разговор затянулся; по-видимому, в этот именно час Иван Петрович безуспешно добивался Скутаревского. Черимов объяснял, почему за последние месяцы он ни разу не заявился на тренировочные занятия; таким образом, он не мог участвовать в розыгрыше междугородного первенства и, в крайнем случае, просил исключить его из команды совсем. Кажется, это была размолвка. Женя спросила:

— Почему вы бросаете команду? — Взгляд ее выразил одновременно и упрек и сочувствие.

— Занят, мне не хватает суток. Кроме того, у меня образовалась своя, очень спешная работа. — То было первое упоминание о его собственной работе.

Она помолчала.

— Я тоже. Я хотела взяться за лыжи,— вдруг доверилась она. — Но мне нельзя.

— Есть и женские команды,— настороженно прищуриваясь, возразил Черимов.

— У меня... Мы грузили ящики на субботнике, и я сломала ключицу. Потрогайте... вот тут узелок. — И вся потянулась к нему, а он не сдвинулся с места, подозревая и в этом неловкий женский маневр. «Читал, читал, бросьте эти штучки»,— хотелось сказать ему. Поверить в сломанную ключицу — означало поверить и в субботник, то есть отказаться

сразу от удобной, всеразъясняющей гипотезы. И, может быть, он протянул бы руку, недоверчивую руку Фомы, если бы в эту минуту не вернулся Скутаревский... Он вступил, высокий, чуть сутулясь от своего роста, шумный, и тотчас же ясность и как бы примирение наступили среди молодых; он казался веселым и довольным,— часовой разговор с Петрыгиным никак не повлиял на его самочувствие. На улице вдобавок у него произошла встреча, которую сам он почитал почти чудесной. По сыпучему переулочному снегу тащился воз, полный ящиков; прошлогодние яблоки перевозили со склада. Среди переулочной тишины, в оттепельном воздухе текла волнительная река пенистого яблочного аромата. И, так уже совпало, было возу и Скутаревскому по пути. От самого петрыгинского подъезда он шел следом, как бы посреди обширных яблоневых садов, тронутых слегка рыжеватинкой осени; негибкие уже ветви тяжело клонились под тяжестью спелых и нежных плодов. А грузчик шел рядом, счастливый хранитель московских гесперид, и напевал о своем. И все это — и минута и ощущение! — было неповторимо и недоступно никому другому, как слово, сказанное наедине с собой.

Самое свидание с Петром Евграфовичем, происшедшее почти тотчас же по уходе Ивана Петровича и остальных петрыгинских гостей, не могло, конечно, содержать сколько-нибудь увеселительных моментов. Утром Петрыгин, со слов Штруфа, сообщил Скутаревскому в институт, что квартира с окнами в сад все еще стояла непроданной, хотя покупатели якобы осаждали комиссионера день и ночь; ванну за это время успели починить, а Осип Бениславич, хоть и почитал себя обиженным, соглашался уступить тысячу с общей суммы; он благородно шел навстречу семейным затруднениям знаменитого ученого. «Свой уголок ты уберешь цветами и пригласишь друзьишек на коньяк»,— намекнул Петр Евграфович: уже хромая всеми своими колесами, он продолжал поддерживать установившуюся репутацию всемирного выпивохи. Мимоходом, возвращаясь из института, Сергей Андреич зашел за деньгами, которые уже давно ждали его; поднимаясь по лестнице, он мысленно порешил даже не снимать пальто. Но Петр Евграфович, дабы не уронить славы своего гостеприимства, втащил его в комнаты и потчевал чаем — предыдущие посетители не успели вылизать всего меду.

— Я, батенька, не чумной, ты меня не бойся,— говорил он, вводя его под руку туда, поближе к тестеву портрету. —

У меня тело чистое, даже без пупырышков. И потом, насколько я понимаю в анатомии, я не девушка... так что обольщать тебя не стану.

— Э... а лису-то как я промазал! — наобум сказал Скутаревский, ибо не знал, с чего начать.

— Ничего, пускай пока ходит: через недельку я до нее доберусь! — успокоил Петр Евграфович.

Все было тихо и чисто; окурки вымели и даже комнату успели проветрить; ничто не напоминало о бурном шквале бунта, страха и угроз, который прокатился здесь совсем недавно. Все улеглось, и на лакированную крышку аристона успел осесть тонкий налет пыли. Скутаревский, взволнованный, прошелся по комнате, и, едва увидел эту старомодную музыкальную игрушку, разом, расщепленное на тысячу мелких ручейков, вспыхнуло в нем воспоминанье. Уж он-то помнил, какая зловредная жеманная усмешка записана там, на острых зубцах и пронзительных иголках машины. Он помнил с юношеской ясностью все и, кроме прочего, помнил — студент с продранными локтями сидит в коляске с молодой женой, стыдясь нищего, позорного своего торжества. «Итак, Серж, запомни этот час на всю жизнь: мы отъезжаем в будущее»,— сказала жена по-французски, с носовым пономарским прононсом, от которого еще блевотнее стало во сто крат. Стояла и без того засушливая пора, да еще этот живучий пес, которого он насилу извел впоследствии, почти обжигал колени. Сергей Андреич сидел молча, втянув голову в плечи и весь потный от чрезвычайных переживаний. В его положении лучше всего было не оглядываться... О, как он ненавидел теперь это будущее, которое стало прошлым... и тем сильнее все существо его сжалось к предстоящему прыжку. Ему хотелось верить, что гора его остается позади, а с нею — напрасное, долголетнее клубление силы и хмельная, погиблая пена славы, поглотившая его молодость.

...И еще, если всматривался зорче, видел он теперь тонкую опушку березового леска и насыпь, убегающую в тусклую, робкую еще весень. Видел еще редкую малокровную травку на нефтяной земле между шпал, видел смыкающуюся в математической неизвестности пару рельсов, уже дрожавших от приближающегося поезда. И на них, лицом вниз, видел он Анну Евграфовну с черным, как бы обуглившимся лицом: *она ждала*. Образ этот, сложившийся из бытовых, книжных и всяких прочих наслоений, и был центром его интеллигентского

страха; этот вполне выдуманный образ цепенил ему мысль и служил шлагбаумом на пути к будущему; он повторялся, с каждым днем обогащаясь новыми подробностями. Так, однажды он узнал эту травку между подгнивающих шпал; то был кочеток, пастушья сумка,— его треугольные семенные коробочки служили неотъемлемой деталью детства: возле отцовской скорняжной, между крыльцом и заборчиком, был один метр глухого пространства, густо заросший этой беззатейной живностью,— там прятались, играя в жуликов, ребятишки... Несколько позже, тотчас после петрыгинского звонка, он рассмотрел еще одну подробность: в руке Анны Евграфовны, зажатое последним рефлективным движеньем, поблескивало ее пенсне, которое прежде всего должно было разбиться в возрастающем гуле колес... Но стоило только вздохнуть глубже, во всю грудь, и дурманящий тот мираж прекращался. Он не только пугал, он и возмущал Скутаревского, как жестокий, ростовщический процент к его традициям, привычкам и культуре.

Потом в выдвинутом ящике стола он увидел самые деньги. Они лежали аккуратной стопкой, перевязанные ниточками, захватанные сальными пальцами нэпа, банковские пачки, дряблые тусклые лепестки, из которых он собирался свить свой любовный шатер.

— Это они? — спросил Сергей Андреич. — Грязные какие!

— Да: деньги. Портфеля ты не захватил с собой? Придется рассовать по карманам, и сразу станешь толстый, как я. Уж тогда тебя и пулей не прошибешь.

— Можно забирать?

— Разумеется,— деловито подтвердил Петрыгин. — Но ты хотел расписку написать... хотя, в сущности, это не обязательно.

— Нет, зачем же... давай бумагу,— сдвигая в край стола чайную посуду, перебил Скутаревский, и тотчас же Петрыгин подал ему листок глянцевитой прочной бумаги и автоматическое перо.

Вздымаясь вверх, побежали крупные, быстрые строки: «Я, Сергей Скутаревский...» Он только это написал, а потом остановился:

— На какую сумму писать?

— Как условились. Тридцать минус одна, но зато, полагаю, тебе следовало взять для Анны, ну, тысячи три... на пер-

вое время. Потом я стану давать ей периодически. Всего пока тридцать две тысячи. Ты хочешь пересчитать?

— Нет, это не важно... — И писал дальше, что вот он, Скутаревский, берет тридцать две тысячи с обязательством...

Вряд ли возможное при трезвом дневном свете испытал он ощущение в ту минуту. Будто, видимый изовсюду, сам он бежит по бескрайному снежному полю, а за ним, спрятанный в укромном кустарничке, следит один, только один, немигающий, без блеска, черный глазок. Беспокойство овладело им и уже вовсе не понятное томление; а объяснялось это, может быть, тем, что в ручке не оставалось чернил, перо раздражающе царапало бумагу. И пока Петр Евграфович торопливо набирал в нее чернил, у Сергея Андреича сам собою придумался новый вопрос:

— Кстати, я так и не узнал, чьи это деньги?

— Ты берешь их лично у меня, потому что они доверены были мне.

— Но если с тобой случится... я не знаю что. Если, к примеру, тебя счавкает автобус... Я же не могу согласиться на уплату предъявителю.

— Но ведь ты и пишешь, что уплата производится не ранее полутора лет,— брюзгливо возразил Петрыгин.

— Это безразлично. Предъявитель может оказаться щелкопером, которого я и на порог к себе не допущу.

Петрыгин действительно начинал сердиться, как всякий, впрочем, охотник, которого перед самым выстрелом отвлекает посторонняя, недостойная вниманья мелочь.

— Пустяки, родной. Переезжай со своей красоткой, наслаждайся и в счастье свое не подмешивай сомнений; и без того оно горькое. Мне верится, что после переезда ты даже начнешь писать сонеты... то-то посмеемся. — Но тот все еще медлил с распиской, и Петр Евграфович понял, что необходимо разъясниться полнее. — Деньги принадлежат вот ему. — И он небрежно ткнул в портрет тестя. — Поэтому тебе придется возвращать монеты только ему, а вернется он, по моим расчетам...

Портрет казался много живее, чем в тот последний раз, когда Скутаревский с женой сидел в гостях у Петрыгина. В его пожухлые было краски воротилась прежняя жизненная яркость, а в водянистые глаза — надежда, которая тогда почти угасла. Кроме многих явных и секретных специальностей, Осип Бениславич занимался также реставрацией картин, и

Петр Евграфович нанял его промыть загрязненный лак на тестевом портрете. В тот именно час, когда распластанный тесть лежал на столе и по нему ерзала смоченная в скипидарной эмульсии губка, принесли хозяину телеграмму. Она кратко сообщала, что старик умер в Медоне,— старик этот и был тесть. По-видимому, в одно и то же время, в Москве — посвистывающий Штруф, а под Парижем — плачущие родственники обмывали покойника. Была поэтому отточенная и знаменательная ложь в словах Петрыгина, когда он уславливался о возвращении долга мертвецу.

И он промахнулся, утомясь, должно быть, на усмирении Ивана Петровича. Он сказал это зря, он стрелял слишком рано, он напрасно понадеялся на твердость своей одряхлевшей руки: красный зверь уходил. Следовало открыться много позже, уже после переезда Скутаревского на новый парадиз, когда он испил бы хоть глоток от сладостей уединенья. Теперь оставалась единственная возможность всучить эти деньги зятю — признавшись, что промышленника Жистарева уже не существует на свете. Но тогда пропадала бесплодно золотая эта дробь и весь предварительный умысел, хитроумный, как охота с флажками... Тут Сергей Андреич поднял взгляд и понял, что черный испытующий глазок, чуть расплющенный веком, принадлежит именно Петру Евграфовичу; лицо шурина было асимметрично, одновременно лицо пройдохи и мудреца.

— Если тебя затрудняет расписка, можно обойтись и без нее... — дрогнувшим голосом пробасил он; басил,— значит, все еще сердился. — Мне достаточно твоего слова...

— Нет, ты погоди,— молвил рассудительно Сергей Андреич, откладывая в сторону перо. — Кажется, я раздумал брать эти деньги... кажется.

— Как, ты отказываешься от квартиры? — вяло спросил стрелок, который стоял на номере. Он дышал тяжело, неравномерно: зверь уходил, охотник понимал это, и становилось скучно.

— Нет... но я, знаешь ли, обойдусь.

И, намелко разорвав записку, вспомнил очень своевременно, что Черимов уже давно ждет его дома. Поспешность, с которой он стал прощаться, показалась Петрыгину просто неприличной:

— Оставайся хоть чай-то пить. Не берешь денег — ну и черт с тобой: в другом месте достанешь. А такого меду... Эх, оба мы старики, а о ревматизмах-то еще и не поговорили!

— Нет уж... там у меня, дома, делегация еще ждет, забыл совсем.

Он лгал, не заботясь о правдоподобности: лишь бы выбраться из болота; он лгал,— он уже перешагнул, зажмурясь, через то красное и спутанное, что громоздилось на воображаемых рельсах... Уходя, он оглянулся в последний раз. Комната была квадратна и казалась нежилой. Тусклый свет еле пробивался сквозь матерчатый абажур. Мертвый корректный человек внушительно смотрел из рамы вослед уходящему, и у Скутаревского надолго осталось клейкое впечатление, точно спина его измазана известкой. Вот тогда-то, на его удачу, точно дождичком спрыснуло, и подвернулись сани, нагруженные яблочным ароматом.

ГЛАВА 19

Женя скоро ушла. И как только остались одни, Черимов прямиком пошел на беседу, которая вдруг по наитию пришла ему в разум. Долго и сперва беспорядочно он вьюнил по околицам и начал издалека — о той же сибирской торфянке, но с тем различием, что секреты были, хоть и без его помощи, уже разгаданы. Пожалуй даже, секрет разгадался сам собой: крайние, почти штурмовые формы принимала в стране классовая борьба. Правда, многое объяснялось пока или дурачеством, или анекдотическим головотяпством, которое, конечно, также входило в организованный план интоксикации народного хозяйства. Черимов выразился приблизительно так:

— Я уловил наконец то, на что вы намекали тогда Кунаеву, Сергей Андреич. Я выверил все и нашел ту дырку, куда частично утекала наша энергия и деньги. — Слово «я» прозвучало здесь множественно. — Все расчеты и варианты в сметном и материальном планах были составлены теоретически правильно, но у меня имеется целая вереница особых фактов, которые я могу представить в любое время. А если принять во внимание, что Брюхе дал некоторые указания... — и стал закуривать, и спички у него не зажигались.

— Этими вещами не шутят, товарищ! — строго вставил Скутаревский и сам удивился, как искренне это у него вышло.

— ...дал указания на Ивана Петровича, который является частым гостем Петрыгина.

— ...и вашим! — вставил еще Скутаревский; он ничего еще не знал о происшедшем мордобое.

Возможно, Черимов и впрямь не слышал его реплик.

— Арсений же доводится племянником инженеру Петрыгину и, больше того, по службе подчинен ему.

— А я ему довожусь отцом. А вы мне приятелем, как преждевременно толкуют некоторые. А Матвей Никеич дядькой вам... Этак вокруг земного шара объехать можно в поисках злодея, молодой человек.

— Арсения видели в театре с одним дипломатическим, так сказать, человеком.

Скутаревский вспыхнул:

— Вы... вы сами следили за ним, товарищ заместитель мой, или поручали третьему лицу?

Как бы утеряв свою дерзость, Черимов угрюмо разглядывал рыжие, всегда рыжие ботинки Скутаревского. Глупо было рассчитывать на интимную близость с этим тяжеловесным чужаком. И не то чтоб обида, а просто стыдно ему стало за прежнюю искренность, которая родилась в его неизвращенном сердце. Потом, прищурясь, он перевел глаза в окно, но скулы его дрожали.

— Я ничего не покрывал,— глухо сказал Скутаревский. — Мнение свое я записал особо.

— Да, но вы зашифровали его... чтобы впоследствии иметь отговорку.

— Чушь! — завопил Скутаревский, сжимая кулаки. — Вздор... я только не делал выводов, но это мое человеческое право.

И хотя бесконечно тошны были Черимову такие собеседованья, он шел на все, только чтоб добиться уверенности в чистоте самого Скутаревского.

— Давайте в упор, лицо на лицо, Сергей Андреич!.. думаете, меньшая на вас лежит ответственность, чем на мне? Потомками с вас спросится больше, потому что вы можете больше, и вы это знаете. Я говорю на том самом языке, на котором вы настаиваете. И кроме всего... — он усмехнулся почти вызывающе,— вы достаточно скомпрометированы в глазах всей этой шпаны своей работой для Советской власти. А ведь всегда труднее платить по запущенному счету.

— Я не понимаю,— заворочался Скутаревский, увертываясь от пронзительной этой откровенности. — Я хочу сказать, например, что всего полтора часа назад я сам был у Петрыги-

на, имейте это в виду. — Все недоставало в разговоре какой-то последней точки, и он с маху поставил ее: — Вы сознательно включили в эту темную... да, темную цепь Арсения?

Подтверждалась давняя черимовская теория: старая мораль, основанная на рабском, нечестном сострадании к человеку, весь комплекс старинных и ложных представлений о дружбе, родстве и общественных отношениях мешает Скутаревскому вести свою, правильную, линию в этом деле. Порою трудно приходилось старику, как четвероногому — сразу ходить на двух, и вот, вглядываясь в учителя, почти шептал ему ученик: «смелее, милый... сегодня ты еще споткнешься, но завтра это станет твоим рефлексом». Теперь все становилось ясно: «сын мой, он сын мне и даже больше, чем я сам...» — кричали сухие, как скоробленные листья по осени, скутаревские слова.

— С Арсением я буду говорить особо, если он захочет. Сперва я хотел о вас. Передавали, что вы собирались опротестовать станцию?

— Да... но, к сожалению, я мало смыслю в этом деле.

— А если бы вы, при равных условиях, были в партии? — резво бежал Черимов, и собеседник одышливо следовал за ним.

— Но я и не состою в партии.

— А почему, что вам мешает? Вот Петрыгин, например, подал же заявление о приеме.

Скутаревский дико взглянул на Черимова; теперь он сидел, весь накренясь вперед, точно врытый в землю по пояс, он рвался из нее наружу. Чаще, чем могли предположить окружающие, он задавал себе тот же вопрос, когда пускался в некоторые мысленные странствия за пределы своего ремесла. Должно быть, в том и состоит трагедия всякого учителя — с радостью и ужасом взирать на опережающего и вот уже ведущего ученика.

— Не принимайте, не надо... гоните его! — Он спохватился и закусил губу. — Я могу отвечать только за себя. Видите ли, для вас смолоду не было другого пути; для меня же это только завершение огромных бурь, смещений и катастроф... которые, черт возьми, может, и не произошли? И потом, разве вы думаете, что партбилет оправдает мое научное бесплодие? — Он сводил проблему опять-таки к личной своей драме. — Но, странно, я волнуюсь сейчас, как тогда, когда говорил с Лениным! — заключил он потерянно.

То была, конечно, правда — для него, для Скутаревского, каким он был, и штурм прекратился. Черимов умолк, чтоб

позже — а теперь он знал наперечет уязвимые минуты Скутаревского — возобновить атаку. Потом он спросил тихо, потому что это нужно было не только для него, и он не надеялся получить ответ:

— Это не допрос... но зачем вы все-таки ходили к Петрыгину?

...И вот тогда-то случилось — выслушав до конца, Черимов предложил учителю переехать к нему во флигель. Сергею Андреичу доставались две, вернее — полторы комнаты, потому что одна была совсем плохонькая и угловая, вполне пригодная, однако, для человека, который дни свои проводит вне дома. Сам он соглашался потесниться в соседнюю такую же; при том ограниченном количестве вещей, каким он обходился в жизни, это не составляло для него затруднений. В его конфузливом предложении, сделанном легко и с дружескою прямотой, заключался блистательный выход из положения. Сергей Андреич заволновался, жал ему руки, отдавил ногу впопыхах, допытывался — какой ему смысл вселять к себе такого живучего беспокойного старика, и, в заключение, сунул ему в карман коробку сигар, подарок одного заморского коллеги. Черимов сигар не курил и коробку взял с намерением порадовать при случае Федьку.

— Все-таки странно... разумеется, таково их положение в мире, но большевики ничего не делают без умысла. Полагалось бы отказаться, но, будучи хитрее, я принимаю: жена по ночам подходит к моей двери и нюхает: я слышу ее сопенье. Крайне раздражающий фактор, знаете ли. Но по дряхлости своей я поеду не один, а с секретарем. — Он пытливо взглянул в лицо молодого, но тот ждал: в глазах его сиял невинный день.

— Я вам как раз две комнаты и предлагаю.

Скутаревский задумчиво посмотрел на стену:

— Между прочим, как вам известно, я играю на фаготе. И, надо сказать, я неплохо играю, но к фаготу, вообще говоря, надо привыкнуть, я бы даже сказал — притерпеться. Помните стишонки: «хрипит удавленник фагот...»

Черимов смеялся:

— Ничего, я тоже заведу что-нибудь гремучее: мне нравится барабан, я непременно куплю и для полноты впечатления увешаю колокольчиками, но, к сожалению, его негде поставить. Кроме того, я исполняю некоторые уссурийские пес-

ни, казацкие думки. И, по отзывам, пою неплохо, хотя, надо признать, голос у меня в высшей степени самородный.

— ...самородный...—раздумчиво повторил Скутаревский.— Кстати, вы уже написали донесение на Ивана Петровича?

Черимов ошеломленно пожал плечами.

...Итак, наконец это произошло. Предупрежденная всего за час до переезда, Женя куда-то исчезла. На обнаженных стенах обнаружились гвоздевые дыры и летучие космы пыли. Черимов с видимым удовольствием перетаскивал поближе к себе тяжелые книжные связки. Грузовик, взятый из института, одним колесом наступал на тротуар. Колючая тишина стояла на половине Анны Евграфовны. Извозчик, синяя личность в заерзанном халате, нес на вытянутых руках электрический прибор и приговаривал: «почтенная вещь, почтенная». Вытащил он ее вполне благополучно и грохнул о пол только на новой квартире. Араукария, едва ее подняли, сразу осыпала всю свою хвою,— двадцатилетний процесс закончился; так и оставили ее торчать сохлой вешкой на скутаревском пути. Сергей Андреич торопился: в окна глазели рожи. Черимов поехал на трамвае. Валом валил снег. Пассажир в бобровой шапке плотно сидел в санях, держа инструмент свой между колен, на манер старинного мушкетона, и сопел в поднятый воротник. Прицепившись сзади, мальчишки разных размеров гирляндой ехали за ним на коньках. Было чудно Сергею Андреичу начинать все сызнова, со студенчества, с одиночества, с некрашеного соснового стола. Будущее было смутно и влекло к себе скорее не радостью, а тайной... Внедрение в черимовский флигелек произошло только к сумеркам, книги свалили в институтскую библиотеку, и час спустя уже квакал фагот на новоселье. Его мелодия звучала непонятно, вся в каких-то психологических бемолях, срывах, мнимостях: походило, будто, просыпаясь, большой волосатый человек бубнит что-то с закрытым ртом. И еще: несколько раз мелодия подкрадывалась к одной и той же высокой ноте и всякий раз обрывалась,— так задают вопрос, на который не бывает ответа. Сергей Андреич не преувеличивал: только черимовские нервы способны были выдержать в один прием такое количество звуков. Чертя свое, набирая тушь на рейсфедер, он слушал за перегородкой и покачивал головой: «Новое место обживает. Вот и объясни Федьке эту чертову механику — в чем тут дело и какие тому суть косвенные причины». Женя появилась к вечеру, робкая и настороженная; у

Черимова, который открыл ей дверь, нашлось такта встретить ее шуткой и не расспрашивать ни о чем.

...Через неделю все вошло в норму. Новое место обусловило и новые обычаи, и, пожалуй, самым примечательным было то, что жить теперь можно было с незапертыми дверьми: красть у них стало нечего. Первому просыпавшемуся приходилось готовить чай, и Сергей Андреич, после нескольких, не вполне удачных, опытов дружбы с примусом, стал подниматься позже обычного. Пили чай, потом расходились до ночи; зачастую Скутаревский оставался в лаборатории и на ночь, когда никакие посторонние разряды не мешали его экспериментам. Однажды, вернувшись невзначай, он застал у себя гостей. В каморке его, затканной слоями табачного дыма, подобно жукам в коробке, гудели люди. Горячась и грызя окурок, Федор Андреич спорил с Черимовым и Женей, которые сомкнутым строем нападали на него. В стороне, сохраняя строжайший нейтралитет, с монументальностью горы возвышался Кунаев. «Но... — на потеху своих собеседников вещал в лирическом припадке художник,— вот я прохожу по земле, как тень от облака, и истлевает тень, а почему?.. и кто мне ответит?» — «Все дело в том, какого облака вы были тенью». И уже в том одном была их правда, что Федору Скутаревскому впопыхах нечем было возразить. Приехавший со строительства на побывку, как солдат с фронта, Кунаев расширенными глазами взирал на смятенное тыловое существо, не понимал, не сердился, но и не доверялся целиком на запальчивую декларацию художника. «Вот черт... а почему, действительно, приспичило ей истлевать? Занятно... ну вали, вали еще». Черимов, который уже догадывался о наличии в мире Жистарева, улыбался и рассеянно, почти рефлективно рисовал профиль Ленина на столе. Оказалось, Федор Андреич заходил много раз в отсутствие брата; оказалось,— заручившись согласием Жени и Черимова позировать ему, он задумал новый холст, Лыжников, который, по искреннему его убеждению, должен был послужить ключом к новому искусству. Сергей Андреич постоял в дверях, задумчиво потирая переносье, потом отправился готовить чай.

С терпением истинного ученого он мыл посуду, которая проявляла гнусное намерение выскользнуть в раковину. Дверь стояла неприкрытой; слоистый дым табака и рваные клочки беседы достигали его и тут. С вялой и необычайной для него скукой Черимов добивал Скутаревского-художника, и слова

представлялись Сергею Андреичу тусклыми, как из прошлогодней газеты. Он подумал: «Сейчас изречет об ампутированной ноге, которая долго болит после того, когда ее уже и нет вовсе». И верно: тот сказал. Кто-то вошел сзади, и Сергей Андреич, обернувшись, застал взглядом Женю.

— Ну, зачем же вы... — смущенно заговорила она. — Идите к ним, я домою посуду.

Он шутил:

— Ничего, я сам... обрабатывайте там этот лысый полуфабрикат. Я в этих делах бесполезен, Женя. Кстати — вас зовут!..

Черимов повеселевшим голосом кричал в дверь: «Женя, идите скорей... послушайте, что он только говорит!»

— Я сейчас,— откликнулась Женя и притворила дверь за собой. — Давайте мне блюдце. Я моложе, давайте.

Усмехаясь, он отвел мокрые руки за спину:

— Я это слышал. Притом же вы опоздали, это блюдце последнее. Чего вы хмуритесь?.. ну, о чем вы думаете теперь?

Она подняла голову, и свежестью пахнуло ему в глаза:

— Я давно хотела говорить с вами, Сергей Андреич. О, как неправильно живете вы и... разве вы не видите, что делается вокруг? О вас много говорят, но... я не досказала тогда,— и много смеются.

— Кто же этот смешливый и насмешливый — Черимов?

— Нет, нет же! — с горячностью заступилась она. — Он славный... и он талантливый...

Он улыбнулся ее вспышке, а мысль метнулась: девчонка, девчонка, старься скорей!

— В его годы я сделал больше. — А еще подумал: «Ага, ты становишься уже несправедлив». — Что же они говорят?

— ...что вы никогда не кончите своей работы, потому что это и невозможно; что вы растрачиваете народные деньги, спекулируете своим именем и из упорства обманываете Совет Народного Хозяйства.

— Я не виноват... мои электроны не подчиняются декретам правительства, они разбегаются прежде, чем я успеваю запрячь их.

Дверь отошла, стал слышен артистический,— и только брат с гримасой боли услышал в нем судорогу,— вопль Федора Андреича: «...вот так, живем и цедим сквозь себя текучее время и засариваемся». Его перекрыл могучий и честный хохот Кунаева, который, в простоте душевной, полагал, что тот выколенивает все это нарочно.

— Вот, и вы точно так же,— скороговоркой, не помня себя, шла ему навстречу Женя. — Почему... почему вы не бросите свой драндулет? Иван Петрович, я слышала сама, говорил, что вы играете, как рыжий в цирке...

— Позвольте, что такое драндулет? — нахмурился он.

— ...они говорят, что слушать вас можно только под хлороформом... нет, это еще не все! Почему вы оставили меня у себя? Ведь я не Черимов, правда?.. Я не умею ничего, мне только в билетерши с моими знаниями. И все думают, что вы...

— Ну, ну, что они думают по этому вопросу? — спросил он грубо, и щеткой привстали его усы.

Она стояла к нему вплотную, глаза в глаза: лицо раскраснелось, а брови двигались, как бы рефлектируя раскидываемые слова. Его ноздри раскрылись, он с любопытством вдыхал ветерок с ее волос, который пахнул дешевой, с детства знакомой карамелью. В сущности, происходило крушение; свирепую аварию терпели привычные его установки. «Сенька-то был прав!» — полоснулось в голове, и даже покраснел, хотя никогда раньше не стыдился своих воззрений, внушенных ему великим знанием. Перерождался в нем тот самый мир, который он воспринимал именно как безличный комплекс электромагнитных явлений; лишь протяженность и время играли направляющую роль при этом. Никогда в мысленных его тайниках не возникало тревоги, что завтра же совсем иную форму — дерева, облака или девушки! — примет это уплотнившееся пространство. Но вот карамелистый и уж вряд ли электронный только ветер подул со стороны из-за хаотических кулис материи, и беспредметный туман, в котором жил до сегодня, заколебался; рваные клочья его оторвались, поплыли, на лету принимая неожиданные вещественные очертанья. Как бы заново, но только преуменьшенное до крайней мелкости, происходило зарождение мира. Глазами прозревшего еретика он увидел блюдце, осколки его у своих ног, лоб девушки, очень простой, никем не целованный лоб, увидел смешной пушок на дрожащей от негодования губе и, в приближенном зрачке ее,— помолодевшее отражение самого себя. Он тянулся к нему: оно стояло такое легкое, несбыточное былое!

...Его губы как бы склеились; неравная то была борьба, потому что трудней всего преодолевать себя. Казалось: неоспоримое какое-то право имел он на нее: вот он хотел, вот он достиг. Он шел с горы и на пути встретил последнее дерево, за которым предстоял спуск в прохладную, бесплодную и су-

меречную долину; тем более стоило продлить это бесконечно малое мгновенье, отдохнуть в его тени, хотя бы и сопровождалось это многократно оклеветанным ритуалом любви. Кстати, он достаточно смутно представлял себе, как все это происходит. Кажется, теперь уже не играют на лютнях; теперь проще, теперь ходят в кино и, подслеповато щурясь на плоскую, всем телом мигающую красавицу, жуют пакостные, липучие леденцы; потом целуются в подворотнях, по-собачьи, наугад тычась губами в мокрые от снега воротники; потом следует обычная химия любви, пока дело не втекает в законное русло судопроизводства и алиментов. В суматохе он даже забывал разглядеть — не стоит ли перед ним только кургузая портняжная болванка, наделенная им теми же мнимыми эмоциями обожания и любовного трепета, какими, хоть и в малой мере, он одевал когда-то и старую свою жену. Женя молчала, она требовательно ждала ответа. Тогда, подумав, он тяжеловесно переступил с ноги на ногу, и осколки блюдца захрустели у него под подошвой.

— Я очень мудрю, когда касаюсь этих тонких дел. — А смысл был иной, а смысл был — «ведь теперь же не ночь, а ясный день, Женя. Видите ли, мой день и ваша ночь не совпадают».

— Но я постараюсь понять вашу мудрость! — кивнула она, принимая вызов.

— Нет, но, помните, у Фауста... «вся мудрость мира меньше одного твоего слова». Я не хочу говорить банальностей, потому что, если они не испугают вас, я расстанусь с вами, Женя.

Она прислушивалась, сурово сдвинув брови.

— ...я уже старый воробей. Слушайте меня: я изучил эту материю в пределах, доступных нынче человеческому мозгу. Я видел электронные души тел, Женя. Мои пальцы утончались по мере того, как обострялось зрение и повышалась жадность... прекрасная человеческая жадность — знать! Держа атом в руке, я уже пытался — хотя бы любопытства, а не власти ради! — отколупнуть ноготком его электроны. Я окружил материю капканами, и вот, в крайнее мгновенье, когда я ею овладевал средствами ее же силы, она взорвалась, она ударила меня в глаза, и там, где витали в пустоте невесомые частицы, я увидел лужайку, какой-то декларационно-наивный курослеп на ней и девушку в белом платье... — Конечно, понятие девушки в этом месте следовало толковать расширительнее. —

Это случилось задолго до того, как я встретил вас на шоссе. Так всегда: название приходит потом! На старости это всегда несчастье, но кто же смеет противиться попыткам своего воскрешения? Больше того, я до немоты рад, хотя и выражаю сие длинно и нечленораздельно. Видите ли, девочка, сейчас я даже моложе и глупее вас. — Ему так и не удалось подобрать слова, чтобы передать свое тогдашнее ощущенье: оно походило на одно место вагнеровской увертюры к Фаусту; есть там некий исполинский всхлип, точно разрезают медного человека, чтоб сделать заново, и он кричит, потому что рвутся его медные сухожилья... Он выразил это по-своему: — Я знаю одно место в музыке, где есть радость и знание всего вперед и благословенпе всего, что неминуемо приходит за ними следом.

Почти испуганной теперь казалась Женя. Минуту назад она еще не знала, какую пещеру открывает детским ключиком, каких призраков, десятилетья запертых в неволе, выпускает наружу; и вот они дикостной толпою ударились в нее,— она зажмурилась и отступила. Ей стало холодно, в ее потемнелых зрачках отражалось лишь расплывчатое смущенье.

Он заключил иронически эти медные стенанья:

— Вот видите, а меня еще в директорах держат. Гнать таких надо железной метлой. Рекомендую посечь меня в стенной газете. Ну, пойдемте, а то я вас перепугаю вконец. Неофит Федор уже готов, и пора его отпаивать чаем.

Из чайника со свистом выбивалась струя пара. Он взял его и торжественно понес; Женя следовала за ним со стопкой посуды в руках.

Отсутствие их никто не заметил. Держа руку на колене Федора Андреича, Фома Кунаев врубал в него свои слова, и каждое слово надолго оставалось в памяти, как зарубка, сделанная топором.

— Чертило ты! Я дам тебе клуб, через который проходят в сутки двадцать девять тысяч человек. Строители... армия, армия... я дам тебе лучшие краски нашего производства, дам тебе стены, на которых никогда не было еще написано ничего,— голые, грубого штукатурного зерна стены. Ты влезешь на леса и... и вали, действуй. Милый, да не трактора от тебя требуются, а ты своими словами дай, чем мы дышим и побеждаем чем. — Он передохнул и с конфузливым изумленьем подмигнул Черимову: — Во, Николай, здорово я говорить стал... прямо без запинки и даже по вопросам искусства, а?

И, видимо, столь велик был его запал, что и после появления Сергея Андреича, которого он дожидался давно уже, он продолжал мять так и эдак вялую художническую руку, как бы затем, чтоб или приласкать, воодушевить, или уж взять ее поухватистее, вырвать из сустава, да и написать ею все это самому. Федор Андреич сидел неподвижно, глядя в пол, и какая-то сокрытая жилка чувствительно пульсировала в его лице. «Да, да,— думал он,— уйти надо, прикоснуться к основам всех тех вещей, из которых складывается жизнь будущего века».

ГЛАВА 20

Так, спускаясь с горы, он оставлял друзей, семью и старинные привычки. Полагалось радоваться, что вот спадают стеснительные обручи, мешавшие росту человека. Но все представал почему-то иной образ: с раскидистого и шумного дерева облетали скоробленные листья, а для новых еще не наступило весны. Напрасно, простерши голые сучья, шарило оно по зимней пустоте и цеплялось за ускользающий ветер,— крепко держала корни промерзлая земля. Попутно вспоминались такие стишки у Арсеньева князца: «Человек ухватился за бурю, а она ему руки напрочь!..» И еще бился на ветке когда-то полновесный и звучный, сохлый теперь и последний листок — сын. Слово это росло, тяжелело, принимало не изведанную еще форму, слово это могущественней оркестра сопровождало первый его крутой житейский поворот, и вот умерло, и вот повисло на последней нитке. Но, значит, сыновьям прощают и большее! — Тотчас после черимовского сообщенья Сергей Андреич готов был лично поехать к Арсению, предупредить об опасности. И хотя ему нравилось, что Черимов с таким упорством стремится к обнаружению черного сибирского дела, Арсений был ему роднее по веществу; и даже целиком разделяя черимовское намеренье, он тем не менее хотел, чтоб только одного Арсения миновала горькая последующая участь. Впрочем, через сутки обстоятельства переменились, Черимов наткнулся на разъясненця второй, уже петрыгинской экспертизы, и Скутаревский счел за лучшее объясниться тем временем с бывшим шурином своим непосредственно.

Вечером, по окончании работ, он позвонил ему из институтского кабинета, и, показательное обстоятельство, в той же степени, в какой происходила здесь хлопотливая душевная

суетня, голос Петрыгина звучал с сытой и уверенной ясностью:

— А, это ты, советский Фарадей!.. читал, читал про тебя. Бросай к чертям своих рыб и приезжай. Вали как есть. Будут все свои и еще... — Он назвал знаменитого иностранного пианиста, застрявшего на гастролях в Москве. — Что он делает из Листа, если бы ты слышал! Ах, подлец... Аналитиков не терплю, но у этого если буря — так это трактат по метеорологии, соловей — так ведь каждое перышко на нем разберешь. Ну, приезжай, будь душка! И потом, чуть не забыл, как ты устроился с квартирой? Осип пошел на уступки и скинул еще четыре тысячи... я его прижал, стрекулиста!

Слова его, разбрасываемые с торопливой и подозрительной щедростью, засорили весь провод; Сергею Андреичу некуда было вставить даже восклицания.

— Перестань,— впихнул он наконец одно. — У меня деловой разговор.

— Вот приезжай, и поболтаем. Погоди, я уронил запонку... где же она, черт! ах, вот... нет. Да кстати: лису-то я убил — богатейший зверь! Шкурка за мною!

— Дело в следующем,— энергично приступил Скутаревский. — Я настоятельно и уже в последний раз прошу оставить Арсения в стороне от твоих предприятий.

Последовала краткая пауза, Петрыгин молчал, но не клал трубки: возможно, он все еще искал отскочившую запонку.

— Не разумею, о чем ты... во всяком случае, этот разговор не для телефона.

— ...или я расшифрую тебя к чертовой матери! — с бешенством заключил Скутаревский.

Петрыгин несколько оправился от первого удара:

— Мне трудно говорить с тобой в таком блатном тоне. Ты что, запил, что ли?

И опять чрезвычайная по напряженности наступила тишина. Провод был чист, и, представлялось, неисчислимые электронные орды на нем ждут лишь сигнала, чтобы ринуться криком или бранью в ту или иную сторону. Порывами было слышно в трубке одышливое кряхтенье Петра Евграфовича; возможно — уже стоя на коленях, он шарил по полу свою запонку. Кто-то пришел к нему, и хозяин пробурчал в сторону: «А, входи, входи, не наступи только... я потерял одну вещицу». И затем снова нуднейшее длилось молчанье.

— Так вот,— без прежней благозвучности заскрипел петрыгинский голос. И если бы на амперы и омы перевести его

ярость, провод докрасна нагрелся бы от перегрузки. — Ничем не могу помочь тебе, ты уж сам... Я уже советовал тебе: ты — голову меж колен, да и посеки, посеки молодого человека веничком: на то и власть родительская!

Спектакль прекратился в самом интересном месте. Действительно, экзекуция, производимая строгим родителем над провинившимся инженером, могла рассмешить в иное время даже самого Сергея Андреича. Петр Евграфович уже вдел на место галстук поверх отысканной наконец шейной кнопки и уже разговаривал с племянником, потому что именно его он просил об осторожности, а Сергей Андреич все стоял у телефона; спазма мешала ему крикнуть достойный ответ на дребезжащее петрыгинское остроумье... Петрыгин, в меру позабавясь с Арсением над сумасшедшим стариком, перешел к темам, более для него любопытным,— но временами все еще тянула внимание его назад непобедимая паническая сила:

— Вздор, у меня тоже есть заслуги, я тоже важный. Но все-таки, как подлеют люди... ты извини, что это я про твоего отца. Впрочем, ты, конечно, напрасно в открытую поссорился с ним. Помирись, пойди к нему первый, ты моложе, помирись: при желании он может быть очень вредным. А как ты думаешь, способен он на какую-нибудь т а к у ю низость?

Арсений не отвечал, а дядя пристально вгляделся в племянниково лицо. Тот казался больным, но это происходило скорее от запущенной и неожиданной для такого щеголя неряшливости в одежде, чем от явных каких-либо признаков нездоровья. Лицо его было плоско теперь и невыразительно; надо было вглядываться, чтоб рассмотреть, какое судорожное раздумье вписано в это колючее, небритое пространство. «Проигрался!» — определил Петр Евграфович, хоть до него доходили только очень смутные слухи о беспутном Арсеньевом поведенье. И оттого, что это был самый благовидный предлог платить члену организации, как племяннику, он тут же порешил дать ему денег еще, кроме той тысячи, которую вручил в предыдущем месяце. «А все-таки, как быстро лысеют все Петрыгины,— подумал он потом. — Гормона, что ли, в них волосяного не хватает?» И правда, лысина на Арсении заметно расползалась со лба, и потому оставалось впечатление, будто желтое его лицо занимает слишком много места на голове.

— Ну, как мать? — вскользь спросил дядя.

— Мать ничего. Она странная.

— Ты присматривай за ней! Утрата не велика, но привычка в старости... Она обезумела совсем.

— Да, я замечал.

— Постой, а с чего ты-то мрачный?.. проигрался или по службе что-нибудь? Я слышал, тебя зовет к себе Кунаев. Воспользуйся, это марка. Я тоже получил на днях занятное одно предложение...

— Что-нибудь опять по шпионажу? — тихо спросил Арсений.

И сразу стало очень нехорошо. Петрыгин раздумчиво почесал за ухом, искоса вглядываясь в племянника. Все-таки, хоть на четвертинку, но было в том и от скутаревской темной крови. В горячечных условиях времени можно было и от Арсения ждать всякого. Петр Евграфович от изумления даже забыл, какое именно занятное предложение выдумалось у него по ходу разговора. Никогда в их среде деятельность его не называлась так. Реплика Арсения прозвучала бы совсем грозно, если бы, однако, он сам не засмеялся первым. Впрочем, смех его не звучал никак,— то были просто нервные и недобрые подергивания губ при обнаженных деснах.

— Я пошутил,— смеялся Арсений. — Мне любопытно стало, испугаешься ты или нет.

— ...но ты стал плоско шутить, милый. И ты вообще не нравишься мне за последнее время. Ты совсем распустился. Побриться, например, следовало тебе, направляясь в гости, а? Если это от желудка, а именно он — отец всяких пакостей, так его чистить надо, мыть его, сукина сына, как носовой платок. Я почти вдвое старше тебя, но, гляди, держусь.

— Тебе легче,— опять еле слышно молвил племянник. — Ты скоро умрешь, дядя, и все счета уплачены, а мне еще жить надо.

— Ну вот, поперло скутаревское! — захохотал Петрыгин, суеверно косясь по сторонам.

— Нет, ты не смейся. Я нарочно пришел пораньше, чтоб обсудить все. Слушай, я знаю, ты не веришь мне. Тонешь и тянешь... ты приставил ко мне тень... она прячется, но я-то знаю, что это Штруф. Он ходит за мной везде, но ведь он дурак, пойми же это. Ты убери его от меня, мне противно.

— Ерунда,— вспыхнул тот. — Это ты сам смотришь за собой, это совесть твоя, Арсений. Но ты же болен, Сеник, болен! — Защурив один глаз, он с фальшивым равнодушием прощупывал взглядом этого окончательно чужого и даже враж-

дебного человека. «Черт, они демобилизуются!» — билось сердце. — И вдобавок, если бы я тебе не верил, я не пригласил бы тебя сегодня.

— Я пить буду, дядя.

Петрыгин ласково гладил его по голове.

— Ничего, в молодости все сойдет. Запрись и пей.

— ...я изобью его! — навскрик, со сжатыми кулаками рванулся Арсений, и крик его совпал со звонком в прихожей.

Петр Евграфович поднялся и принялся торопливо надевать пиджак; хитрить больше становилось некогда.

— Избить?.. — Он подумал. — Ничего, избей. Штруфа можно.

Кто-то раздевался в прихожей,— так шумно, точно фанеру сдирали с краснодеревой мебели. На всякий случай Петр Евграфович потрепал племянника по плечу, и в этом жесте сказалось все — и уверение на ближайших днях обсудить все в подробностях, и обещание убрать Штруфа, и безусловное согласие на уплату карточного долга. Разговор прекратился; в комнату просунулась волосатая фигура Бакулина, в прихожей пискнул тощий голосок младшего Граперонова, а за ними, точно пользуясь открытием двери, полезли и остальные. Но вот вступал уже и сам артист, герой торжества, щуркий, сверкающий, снисходительный и любезный, как фокусник, едва слышно, потому что богатый курдский ковер устилал эту часть комнаты. Не задерживаясь нигде, он обходил выстроенный ряд этих старороссийских столпов, эти колодные шкафы мудрости и знания. Его быстрая в рукопожатии, властная рука обжимала по очереди все остальные, протянутые ему руки, обилие рук — то толстые, с белыми и круглыми, как майские личинки, пальцами, то тонкие, безжизненные и безличные, точно лепестки, высушенные среди страниц толстых фолиантов. Самое рукопожатие его было примечательно: он как бы облеплял чужую руку гибкими своими мускулистыми щупальцами, оно длилось всего мгновенье, но в том, другом, чего-то становилось меньше; потом тем же эластичным движением он выкидывал прочь иссосанную, опустошенную конечность.

— Очень приятно... — прочувствованно зашелестел чей-то голос в стороне, и Арсений, повернув голову, еле узнал в этом переряженном человеческом обрубке самого Ивана Петровича. Тот был неузнаваем; точно чем-то смазанный, он сиял весь; что-то даже текло с него; весь он мелко, шарнирно двигался и, подобно барышне, сжимал в руке платок. — Переведите,

переведите ему... может быть, он заглянет и ко мне. У меня жена также ужасно любит музыку и Европу; Европу даже больше, чем музыку. Она очень милая... объясните, объясните ему,— и второпях искал среди гостей добровольного переводчика. Голос его прерывался; видимо, лютая тревога последних дней лихорадила его, и оттого все бывалое достоинство его истощилось.

Остекленевшими глазами он ласкал суховатую, почти военную фигуру пианиста, который неторопливо вкатывал в рукав вывалившийся бриллиант запонки.

— Qu'est ce qu' il dit? [1] — обращаясь ко всей шеренге гостей сразу, спросил артист.

Шеренга заколыхалась.

— Он говорит, что будет счастлив видеть вас у себя и в особенности рекомендует вашему вниманию свою жену. Со своей стороны могу подтвердить: чрезвычайно милая женщина, и крайне удобная квартира... — Так перевел Арсений, прежде чем кто-либо другой отозвался на трепет Ивана Петровича, а вся шеренга так и замерла в чаянии почти международного скандала.

Но гость кротко улыбнулся,— точно где-то в сумеречном отдалении взмахнули зеркальцем; опыт подсказывал ему — они всегда восторженны и милы, эти жены провинциалов, а не все ли равно, из рук которой Бовари в тысячный раз получить признанье. Последнее выступление приурочивалось к концу следующей недели, и жизнь представлялась полной всяких безопасных утех. Впрочем, злое неприличное лицо Арсения несколько более, этнографически, заинтересовало его,— с такими лицами бывали, наверное, террористы в царской России, но и это ему было скучно. Он продолжал улыбаться, как бы говоря: «Ты варвар и тошное существо: ты радуешься, что обидел человека старше себя. Молчи, дурак, и восхищайся!» — и пошел дальше, ища глазами инструмент. Тотчас же вся шеренга, до хруста продавливая паркетную мозаику, двинулась за ним.

Задержась на минуту, Петр Евграфович тотчас подошел к Арсению: следовало хотя бы скандал пресечь в самом начале, потому что стало уже поздно гнать его вон, этого свихнувшегося, по-видимому, родственника.

— Слушай, ты с ума сошел! — шепнул он племяннику, тиская, почти выворачивая ему плечо; наверно, этим хотел он

---

[1] Что он говорит? *(фр.)*

выразить всю степень бешенства своего. — Держи себя прилично или иди домой, проспись, чудище музейное!

— Мне безумно надоело твое подполье! — сипло ответил племянник.

— Ну, я прошу тебя, садись вот тут и слушай. Это действительно эпохальный артист.

Все совершалось, как в тумане, но туман этот исходил из самого Арсения. Громоздкие манекены в усах, в сюртуках, в резиновых баретках, неправдоподобные, как галлюцинации, усаживались по креслам — и то ли дерево скрипело в них и под ними, то ли тугой, сгибаемый при этом крахмал. Сквозь тяжелые плюшевые гардины ни шорохом не просачивалась сюда жизнь. Стало тихо, как в подвале. Из соседней комнаты мягкие, под педаль, донеслись аккорды: артист пробовал инструмент. Ужин и чествование предполагались позже. Промытые подвески люстры распространяли по стенам и лицам радужные, скользящие блики. Хозяин деловито прошел к часам и, всунув руку в гремучий ящик, остановил маятник. Самое время замерло, и тотчас же физиономии этой ассамблеи стали важны, кукольны и надменны. Над круглым столом, за которым сидел и Арсений, неспешными клубами стал жертвенно подыматься дым. Пианист ударил по клавише — нижнее ми, и тотчас же щедрой пригоршней гения рассыпалось звучное, прозрачное зерно. Оно ворвалось в подвески люстры — и те закачались, по-новому преломляя свет; оно упало и в людей, и бесплодные, выжженные луговины в них мгновенно поросли ликующими простонародными толпами. Арсений горбился и курил, жадно заглатывая дым; бурные звуковые пассажи глубоко вдавили его в кресло.

Тихая, вполголоса, шла за круглым столом беседа. Тут были все свои, и оттого люди не стеснялись называть вещи их не вполне благоразумными, но зато подлинными именами; вначале Арсений не обращал на них вниманья... Целыми страницами литавр начиналось то восстание, о котором играл пианист. Но порою музыка снижалась до шепота, почти до пасторали. Живое и уже накаленное стремилось изойти в гибком и плавном движенье; еще не наделенное материальностью, оно по размаху своему походило, наверно, на ту первоначальную магнитную волну, которая когда-то, как судорога, простегнула инертное вещество еще не существующего мира... И время от времени Арсений, как завороженный, вслушивался в слова, произносимые над самым его ухом; они входили в его мозг

легко, острому ножу подобно, оставляя после себя черные, бескровные, колотые раны. Никогда еще не доводилось ему прикасаться так близко к вещам, самое наименование которых он всегда слышал с отвращением и ужасом. Даже доверяя племяннику исполнение важных поручений, Петр Евграфович никогда не раскрывал до конца, не показывал могильных дантовских глубин, куда все они гуськом нисходили: не хотелось ему до поры смущать юношеское его воображение. Главную ответственность он давно взял на себя; он называл это своим крестом и верил, что одна лишь история сумеет вознаградить его за понесенные труды. Здесь, куда они добрались за два года, стояли вечные сумерки, и рваный клок голубого полдня над головой стал недостижим и невероятен, как чудо. Почти поэт, когда дело касалось обращения прозелитов, он лгал, как пророк, создающий новую религию, и втайне знал, что если бы не тонны мертвого сахара в крови, в аорте, в мочеточниках, может быть, он и был бы тем молодым, тридцатилетним, в жестких солдатских ботфортах и непременной треуголке.

Арсений горбился давно; непреходящее ощущение полета вниз поселяло в нем мучительное расслабленье. Сознание непоправимой ошибки наступило у него много раньше, но уже значительно позже того, как дядя связал его той самой веревкой, которую постоянно чувствовал на своей собственной шее; недовольство Петрыгина социальным порядком выразилось уже в ряде значительных актов; сибирская торфянка была только скромным беллетристическим эпизодом, не стоящим своих чернил. Распад Арсения начался не со страха, как обстояло с Иваном Петровичем, а с мучительного сознанья измены самому светлому, что еще сохранилось в его душе. И все Гарася вставал в его памяти, простреленный, но еще живой только потому, что не совсем пока угасла ненависть к белому атаману. «Сволочь, сволочь...» — кричал призрак, и Арсений поднимался на ноги, пока мягкая рука Петрыгина не толкала его снова в болото.

— ...Донбасс, Кизел, Ленинград... вот,— настойчиво шептал голос рядом.

Арсений яростно принимался слушать музыку. Артист очень своеобразно понимал Пятнадцатую рапсодию Листа. Высокая техника, вполне достойная похвал и львиных гонораров, помогала ему делать из произведения то, чего никогда не писал композитор. Исполнитель подчеркнул минорность марша; тихую лиричность средних частей он раскрывал как величай-

шее разочарование народа; самое восстание становилось не творчеством, а лишь трагедией пришедших в движение масс. Ирония переходила в прямую издевку, и тогда по клавишам, проваливаясь в мостовинах и давясь друг о друга, бестолково и отвратительно бежала расстреливаемая толпа. Его искусство, таким образом, принимало сознательный политический оттенок; Арсений плохо знал музыку и принимал на веру его циническое толкование. Он слушал с закрытыми глазами — принято думать, что это удесятеряет зоркость, но в усталых от пьянок и бессонниц зрачках плавали только медлительные цветные пятна — как бы копошились и терлись друг о друга толстые непрозрачные молекулы. И вдруг поверилось — он властен уничтожить все это одним мановением век, набухших и болезненных. Стоило раскрыть глаза, и все распылится, все станет наоборот, и опять победная юность вложит в руки его романтическую винтовку...

— Да, когда они умирают — они герои, а когда хотят есть — обыватели! — шипело рядом.

Он раскрыл глаза; действительность была сильнее, и нечем было ее сокрушать. Невыразимого благородства — ибо ложь любит опрятные гнезда! — старик повествовал про свой доклад в высоком учрежденье, но теперь он подходил к нему иначе, раскрывая и заостряя его в обратном смысле, и самая враждебная критика не могла равняться с его собственной, трезвой и беспощадной оценкой. Тяжелые, чуть разъехавшиеся глаза Арсения передвинулись на него, и тот, мгновенно умолкнув, с явной растерянностью начал поправлять галстук. В течение последующей, очень недвусмысленной паузы все присутствующие уставились на Арсения.

— Простите, мы с вами незнакомы! — сказал один, глядя в бегающие его зрачки и вызывающе протягивая руку.

Он сидел по другую сторону стола, и хотя, чтоб дотянуться, требовалась рука длины невероятной, он все-таки дотянулся; жировая каемка вкруг его глаз проросла багровыми ниточками жилок. По-видимому, ему просто хотелось удостовериться в фамилии, и тут-то могли произойти соответственные случайности, но все обошлось вполне благопристойно. Ничто не прервало игры великого артиста.

— Я просто хочу спать. Я не спал две ночи... — сказал Арсений, отдергивая руку и развинченно направляясь к двери.

«Тухлые, тухлые...» — гадливо двигались его губы, и была тоска, и было ощущение, точно огромное животное, чавкая и

шумя, обнюхивает ему сзади запотевший затылок. Мимоходом он заглянул в соседнюю комнату: артист слился с роялем, в рояльном глянце покачивалась суровая — точно именно ему доводилось усмирять восстание! — и вместе с тем изысканная голова. Черный лак его туфель сверкал, и, казалось, это смутное множество склоненных слушательских лиц отражалось в нем.

ГЛАВА 21

Автомобиль артиста стоял у подъезда; в полированном кузове с причудливой сломанной перспективой отражался глухой переулок. Проходя мимо, Арсений машинально взглянул в это зеркальное подобие. С черным, неузнаваемо длинным лицом выглянул оттуда плоскостной человек и, неслышно колыхаясь, стал удаляться; откидываясь назад и сгибаясь, заскользили там отражения фонарей. Так и не поняв, что́, в сущности, произошло, Арсений свернул на большую улицу. Издали она казалась иллюминованной; при свете множества временных лампионов шла починка трамвайного пути. Люди спешили опередить ночь; кучка запоздалых зевак, сбившись у развороченной мостовой, молчаливо следила за происходящим. Лица их были оранжевы и задумчивы; кажется, вовсе не это трескучее неистовство ночной работы привлекало их, а только необыкновенное зрелище огня, которым протаивали промерзлую брусчатку. Забыв про неясную первоначальную цель, ради которой бежал с дядина концерта, Арсений безотрывно глядел на это знойное невещественное порханье стихии. Широкая, леностная река керосинового огня расплывалась по мостовой, поленья дров, разложенные в ней, полыхали, не оставляя угля. Жар ударял Арсению в подбородок, щеки и переносье. Рассеянно, рефлективно Арсений пошарил в карманах папиросы и, не найдя, сразу забыл о них. Человек рядом, которого он толкнул локтем, внимательно посмотрел на него. Он был в очках, и соответственно уменьшенные блики огня разбежисто играли в выпуклых стеклах. Глаз его не было видно, но было что-то бесконечно отвратное во всем облике его.

И опять, не разобравшись — в чем тут дело, Арсений повернулся спиной и двинулся в противоположный переулок.

Точных намерений он не имел никаких, кроме как отыскать Черимова, но зато желание было как бы завуалировано, и следовало долго напрягаться, чтоб вспомнить. Там, в пере-

улке, строился дом; дощатый заборчик с предохранительным навесом далеко выпячивался на мостовую. Если вглядеться, и на нем еще играли тени удаленного огня. Здесь, на высоких деревянных мостках Арсению снова приспичило курить, и опять на дне кармана пальцы его ощупали только сохлый и пыльный сор табака. Неравномерный поскрипывающий шорох заставил его оглянуться. Человек в очках не вполне уверенно приближался к нему по мосткам, и, так как разойтись было негде, а пропустить мимо, сойдя на мостовую, не пришло в голову, Арсений двинулся дальше. Он бессмысленно завернул за угол, пересек площадь, и снова сложный лабиринт старомосковских переулков принял его в себя. Всюду было темно; старинные, с крестовинами, газовые фонари давали свету ровно столько, чтоб не наткнуться на них в потемках.

...Начальный замысел его был приблизительно таков: рассказать Черимову обо всем без утайки и пряток. Конечно, одна только эта решимость не означала Арсеньева возвращенья в покинутую семью. Сперва, конечно, будут длиться нескончаемые расспросы, потом обстоятельная беседа у следователя по особым делам, потом тюрьма и деготь всесветного позорища... но зато — жизнь, ее ветер, ее солнце, ее нескончаемый бег! Оставаться посредине больше не хватало сил, потому что даже самые раздумья о Петрыгине и хотя бы о Черимове, например, физически расслабляли его. Простая безысходность приводила его к тяжелой и мрачной двери, оползти которую напрасно стремился его рассудок. Двухлетняя ревностная деятельность по заданиям дяди не давала заметных результатов — даже несмотря на то, что Арсений в конце концов сидел в самом сердце индустриализации; оно работало по-прежнему, бесперебойно и могуче. На поверку Черимов оказывался прав: класс в непреклонном восхождении преодолевал без усилий сопротивление людской горстки. И вдруг — в болезненном его воображении вставали грохот и пороховая мгла новой интервенции; он видел детей, сожженных газом, людей, изгрызенных бактериями, раскаленный металл, танцующий посреди опустошенных городов. Он колебался, и раздвоение это грозило катастрофой; кроме того, еще не постигнув высокого петрыгинского искусства мимикрии, он в каждом взгляде, направленном на себя, чувствовал угрозу. Он метался от призраков, созданных собственным воображением, и за ним ежеминутно гналось то самое, от чего нельзя уйти, как от тени.

Но свидание с Черимовым влекло за собой возможность встречи с отцом. И то площадное слово, которое вызрело, наверно, из отцовской горечи, теперь могло стать последней мерой распада Арсения и, возможно, преступления. Занятнее прочих было тут именно то обстоятельство, что как раз отец, советский профессор Сергей Скутаревский, представлялся ему главным врагом. Конечно, лучше было поступить иначе: написать письмо... нет, просто вызвать Черимова по телефону и... Впервые он вспомнил, что имелся невдалеке закрытый клуб научных и технических работников. И если только в ответ на его великодушие — за это слово цепко держался он! — Черимов протянет ему руку дружбы и даже, возможно, согласится сопровождать его в искупительной поездке к Гарасе, в тайгу... о, какой замечательный рисовался ему на земле мир и в людях, без различия пола, возраста и класса, благоволение... Тут же он сделал еще заключение, что удобнее всего будет вести этот разговор все-таки на улице,— мало ли в столице нейтральных и укромных мест. Несколько овладев собою, он стал искать глазами пивную или аптеку, где обычно стояли телефоны-автоматы, и только теперь осознал обстановку этой поздней и последней своей ночи.

По существу, то было московское Сити, когда-то зубатый форпост Азии и главный ярмарочный штаб. С древнейших времен именно здесь, среди множества товарных складов и банковских контор, возникали планы торговых наступлений, и кованое, немеркнувшее золото кремлевских башен высилось над ним, как и в Олеариевы времена. Здесь в суете и грохоте множились неуклюжие российские миллионы и вырастали угрюмые, в бородах и тонкосуконных поддевках, шишковатые негоцианты. Ни один караван с товарами, направляясь с востока ли на запад, возвращаясь ли с севера на юг, не миновал этих приземистых, вполне прозаических строений. Чугунными ставнями, коваными шиповатыми воротами, бородатыми варварами в пахучих и жарких овчинах охранялась эта былая крепость торгового капитала, где веками хаотически наслаивалось друг на друга кирпич на кирпич, кость на кость, рубль на рубль, репутация на репутацию. Еще гнили где-то в каменных погребах рыхлые сырые книги ресконтро, мемориалов и балансов, полные цифр и азиатского величия, а в оттепельные ночи выбивались сквозь узорчатые амбразуры увесистые запахи прошлого и призрачной ватагой бродили по переулку,— запахи ивановских ситцев, восточных пряностей, экзотических

всяких смол и москательных специй, бесценных древесных пород и туркменской каракульчи.

В том распластанном, словно каменный ящер, доме, где полтора века помещалась контора Жистарева, деда, отца и покойного ныне внука, ютилась теперь парикмахерская губернского объединения инвалидов. Четыре неполноценные, полуголые восковые красавицы улыбались в ночь с точеных деревянных подставок. Бородатый сторож, тулуп которого монументально врастал в тротуар, неспешно разглядывал эти искусные и обманчивые подобья: должно быть, при этом не в силах воздержаться от невыгодного сравненья, размышлял он о далекой своей колхозной жене в домашней пестрядинной юбке. Никто ему не мешал; мышцы его были могучи, ночь обширна, дело его было пустяковое. Район не имел жилых помещений, и забрести сюда в неурочное время мог только пьяница либо явный вор. Арсения, когда он проходил мимо, бородач проследил волосатым, неодобрительным оком; Арсения точно ветром несло, и сторож видел, как почти тотчас же следом за ним прошел другой, в очках.

Тусклое фонарное бельмо светилось у ниши древней московской стены. Замокшая в прошлую оттепель известка покрылась пушистым инеем и темными пятнами, причудливыми, как тень несуществующего. Под фонарем, зябко засунув руки в карманы, торчала та же знакомая фигура очкастого. Заметив Арсения, человек повернулся к нему спиной: теперь тень его вонючей лужицей сползала со стены. Возможно также, он просто изучал старинную кирпичную кладку. И хотя Арсению путь был мимо, сквозь проломанные ворота на площадь и дальше, наискосок, его почему-то безмерно раздражил этот одинокий, измерзший человек. По кривой описав полукруг, он сзади подступил к нему вплотную.

— Послушайте, вы... — внятно и немного волнуясь сказал Арсений. — Мне это неудобно... вы две недели блуждаете за мной, а я не желаю вас знать. Ходите в жизни как-нибудь иначе... или вам нужно что-нибудь от меня? Говорите, я выслушаю вас.

Тот стоял и стоял, как будто вовсе не его касалось дело. Сквозь протертое пальтишко даже взглядом прощупывались худые, голодные его лопатки, и весь он был как битый, с облезлым задом, из бродячего зверинца копеечный зверь. С внезапной злобой схватив за плечи, Арсений повернул его лицом

к себе; тот повиновался с легкостью, точно специально приспособлен был вращаться на месте.

— ...в конце концов, вы вмешиваетесь в вещи, которых не имеете права узнавать. Я иду к женщине, она замужняя. — Он запнулся. — И вы думаете, я не узнаю вас? Я знаю, вы — шулер, вы Штруф. Вы носили матери моей всякую дрянь. Теперь вы боитесь, что я донесу, что я предам ваше хамство, вашу жадность... Но что вы станете делать, осиновая балда, если я действительно пойду туда?.. станете стрелять? Дурак, они услышат. А ну, выньте руку из кармана.

Тот продолжал молчать,— кажется, не существовало слова, которым сейчас можно было бы обидеть Штруфа. В эту ночь он был на своем посту, и знаменитая болтливость его оказывалась только маской, под которой он устало прятал свою многотрудную деятельность.

— Ты немой? — скривился вдруг Арсений; с ума сводила мысль, что действительно никто в целом свете, никакая мораль не воспрепятствует ему избить сейчас этого человека. — Ага, я понял, ты собака дядина... ты Трезор, Полкан, Жучка... хлебца хочешь? Куш, куш... велю!.. А что, если я тебя сейчас в очки?..

Человек сжался и отступил к стене, он стал еще короче и униженнее, но глядел в самые зрачки, суетливые зрачки Арсения. Он как бы говорил: «Да, я молчу, но ты бойся меня, я такой же трус, как ты!» Было здесь, значит, что-то и от правды,— круто повернув, Арсений наперерез прошел старую эту площадь и снова очутился в кривом и нелепом переулке. Путем, которого еще не осознал, он тащился на полную капитуляцию; он был путаный и не прямодушный, этот путь; он был даже достоин издевательства, если только прилично издеваться и над предсмертным смущеньем. Но тут негаданно возникла еще догадка: Черимов, едва узнает, в чем дело, конечно, откажется говорить с ним, уже поставившим себя вне закона. «Ха, и у него своя карьера!» Следовало искать дорогу прямее, но воля его не пружинила никак, точно связанная. И вдруг он увидел Ивана Петровича; в распахнутой шубе, приседая и прячась в поднятый воротник, когда попадал в полосу света, тот мелко и деловито передвигал ножками,— он бежал прямо на Арсения. В полной тишине, ибо утих ветер, звучно пришепетывали его калошки. Видимо, он очень спешил: очки его сбились с переносья, а в левое стеклышко глядела бровь; поглощенный своими соображениями, он не различал подроб-

ностей окружившей его ночи. Арсения он даже полой задел и не приметил, только мелькнул востренький, совсем белый, совсем покойницкий его носик, да еще развязавшийся галстук мелькнул,— снова в черную тень, как в доху, запахнулась сутулая его фигурка.

Ничего в том предосудительного не содержалось; квартира Ивана Петровича находилась невдалеке, и если бы провести к ней прямую от Петрыгина, переулок этой встречи пришелся бы как раз посредине. Было занимательно другое — что так рано мог закончиться петрыгинский ужин, тем более что Иван Петрович не имел в обычае вылезать досрочно из-за сытного стола. И потому ли, что самый этот район наводил на подозренья, или оттого, что вспомнился недавний бунт Ивана Петровича, Арсений ощутил потребность догнать его и порасспросить о дальнейших намерениях. Вопрос ставился так: кто кого обгонит, и, пожалуй, если бы Иван Петрович пришел к финишу первым, Арсению оставался один чистый деготь безо всякого романтического гарнира... Он двинулся вперед и, когда обегал обширные, нежилые госиздатовские склады, снова увидел Штруфа. Точно заранее угадывая все маршруты Арсения, тот терпеливо поджидал его в воротах дома, прислонясь к железной, ржавой решетке. По швам рвал и раздергивал его кашель после той короткой и жестокой перебежки, и напрасно, чтоб заглушить его, он прижимал ко рту жеваную войлочную тряпицу своей шляпы.

— А,— усмехнулся Арсений,— снова ты здесь, Авель. А видел, куда Каин побежал? Ивана видел, в каком он простреленном виде помчался? Что ж, разделись пополам, как амеба, и беги за нами в разные стороны... ну! Пропали твои надежды, твоя удача, поместья, акции и рудники... Ты стоишь опять посреди безумной пустыни, когда кругом потенциально расстилаются сады. Черт возьми, ты умер прежде, чем в тебя выстрелили, но комментарий к тебе составлен при жизни. Что ж, снова и снова факирствуй, изобретай, продавай своих Рембрандтов, открывай желатиновые производства слабительных пилюль, составляй ликеры из морошки, чтоб голодной мякиной набить свое брюхо... ха, дядя Федор рассказывал мне про твои мытарственные предприятия! Ты уже мнимость, аберрация органического пространства, ты сдохнешь где-нибудь в подворотне, захлебнувшись своей гнойной слюной... ты будешь валяться лицом вниз в этой нечистой луже, и псы с облезлыми ребрами будут обнюхивать тебя...

Штруф безмолвствовал, все это он знал и сам, и не обижался; он был уже мертвый, и так как мертвей мертвого не бывает, то он и не замечал дальнейших своих видоизменений. Арсений задыхался словами, морозный пар клубами выстреливал из него; уже обозначившаяся душевная сломанность мешала ему освоить самоубийственность такого беспамятного, одностороннего поединка. Мнимая беззащитность этого человека, с которым можно все, дразнила его; вдруг он протянул руку, сдернул с него очки и брезгливо кинул под ноги.

— Очки, дурак,— это же бездарно и наивно. Ты бы еще бороду гороховую приклеил себе на харю! — засмеялся он, когда хрустнуло у него под ногою.— Какой же вполне современный шпик пойдет нынче на такую банальность? Ну... идите прочь, вы мне вполне противны! — и вскочил на извозчичьи сани, что тащились по переулку.

Он едва не свалил извозчика, но малый тому не удивился, ибо, несмотря на возраст, имел достаточный опыт и знал прежде всего, что события дня никогда не походят на происшествия ночи. Сидя боком в санях и держась еще за спину извозчика, Арсений со злорадным любопытством глядел назад. «Гладиатор!» — конвульсивно шевелилась его челюсть... Человек вышел из ворот и пошел следом. В чаянье хорошего прибавка и, видимо, уловив смысл игры, извозчик подхлестнул,— сани рванулись. Штруф двинулся быстрее, простирая руки вперед и как бы ловя ускользающую добычу; было слышно, как мешалось его клокочущее дыханье с кашлем... Выехали из потемок на светлый проезд; сани резвее покатились под уклон. Одно время еще видно было, как, не помня себя, вдогонку бежал тот, почему-то уже без шляпы,— взрывчатый кашель разрывал его на бегу, как гранату, он скользил и, если бы поскользнулся, наверно, не встал бы никогда. «А не догонит нас баринок!» — с грустным весельем молвил извозчик и еще раз уже с жестоким вдохновеньем подстегнул конька. Потом все исчезло в снежной пыли, и когда Арсений вылез наконец из саней, оказалось, что Штруфу тогда, в самом начале их милого разговора, он не солгал: он приехал именно к женщине, с которой изредка, в выходные дни, делил свои досуги. Но он выполнял и другое свое намерение: расспросить Ивана Петровича обо всем... Да, это был тот самый подъезд — вычурная арка над входом, фасад, обложенный керамическими плитками, нахально красный абажур управдома в правом нижнем окне. Кто-то выглянул в окно второго этажа, и Арсению показалось, что он

узнал востренький силуэтик Ивана Петровича на промороженном стекле. Было ясно, он успел вернуться, и, хотя таким образом острота ситуации миновала, все же любопытно стало разведать, что именно произошло у Петрыгина по его уходе. Все это был, впрочем, только шифр: говоря в упор, требовалось ему попросту удостовериться, что Иван Петрович уже дома. Он стучал в дверь с осунувшимся лицом. На стук вышла жена Ивана Петровича.

Судя по той неряшливости, с которой она была одета, по растрепанным ее волосам и по некоторой вещи, которую держала в руках, она не ждала никого, кроме мужа, в этот поздний час. Она открыла дверь, однако, только через минуту каких-то странных шорохов: и все-таки — улыбалась, запахиваясь в старенький, с облетевшими пуговицами халатик, пестрый и тем сильнее напоминавший подержанное оперение какой-то экзотической птицы.

Так воркуют голуби:

— ...ты? Почему же не предупредил по телефону?

— Муж дома? — напряженно осведомился Арсений.

— Нет, входи, входи... глупый. Но ты совсем безумец: в такое время... Тише, прислуга спит.

Подчиняясь властному ее шепоту, он осторожно снял пальто и комом сунул его на кресло в прихожей.

— А муж дома? — повторил он вопрос.

— Ну, иди же... Ты не приходил так давно. Был болен?..

— Я здоров, как черкасский бык! — попытался засмеяться он и все стоял, что-то припоминая. Через мгновенье он разгадал эту глухую и зудящую потребность: к рукам прилипло скверное ощущение после прикосновения к Штруфу.

— Я пойду вымыть руки... — сказал он.

— Гадкий! Ты прямо с работы? — Она поняла его именно так, как и следовало в подобных обстоятельствах, легонько с намеком, она подтолкнула его в плечо: — Там на полочке мыло... а полотенце, длинное, с бахромой, над ванной. Тебе нужен тазик?

Вряд ли она имела время сделать что-нибудь над собой за этот короткий срок, но, когда Арсений вернулся, она выглядела совсем иначе: кажется, это и называется волшебством любовниц; та же самая небрежность теперь легко сходила за интимный и нарочитый беспорядок, предназначенный для коротких, бурных и желанных встреч. И даже отсутствие пуговиц приобретало какой-то подчеркнутый, вполне уместный

смысл. Это и была женщина, ради которой всячески, с цирковой изобретательностью извивался Иван Петрович. Еще совсем молодая, крупная, почти как ее кровать, которая возвышалась тут же рядом, она уже вступила, однако, в ту зрелость, когда для душевного здоровья не хватает одной только известности мужа или уважения управдома к его супруге.

— Садись, садись... и я сяду, вот тут есть свободное место,— и вскочила на его колени. — Но как ты догадался? Мне так хотелось, чтобы ты пришел! Но почему же ты небритый? Разве ты не должен уважать меня?.. хочешь вина? — И на крохотный, шаткий столик поставила начатую мужем бутылку.

Он курил и, может быть оттого, что пришел вовсе не за этим, удивлялся ее жеманному бесстыдству, ее праву обнимать его, щекотаться атласистой кожей, сидеть на его чужих, острых и неудобных коленях. Когда-то его смертно одуряло это отсутствие всякой сдержанности, откровенная душевная нагота, всегдашняя готовность на ласку и даже якобы лирическая видимость, которую она ухитрялась придать этой случайной интрижке. То же самое представало ему теперь как вульгарная и неприкрытая похоть. Минуту назад, мыля руки в ванной, он видел на стене розовую целлулоидную коробочку и в ней две одинаково истертых, две супружеских зубных щетки; и потому, что символ этот перерос теперь свои смысловые пределы, ему стало противно и скучно.

Она не понимала ничего в его лице:

— Слушай, говорят, у тебя завелась другая? Но разве мои губы бледнее ее губ?

— Твой муж ушел в шапке? — спросил он вдруг.

— Нет, в шляпе. Мне сказали, что сегодня тепло, и я велела ему идти в шляпе.

— Ага! — Он вздохнул свободнее и тогда только понял, что нет, не высокие философические раздумья терзали его, а просто страх.

— Я боюсь, что он скоро вернется,— вкрадчиво, в самое ухо говорила чужая жена. — Он сейчас на заседанье у Петрыгина. Кажется, это твой дядя? Муж ужасно его не любит.

— Потому что любит тебя.

— Да, я знаю. — Она выпрямилась, вспомнив о муже; глаза ее стали темны, как полуподвальные окна. — Он забавен и трогателен. Он трус, но он убил бы тебя, если бы вернулся сейчас. И ты знаешь... — Она приникла к его уху, дразня шепотом и щекоткой шелковистых своих кудряшек.

Бывало и раньше, она рассказывала ему сбивчиво и с прерывистым женским хохотком секретные подробности о муже. Ей нравилось доставлять любовнику ядовитую радость издевки. Таким образом они совместно и не раз тешились над старомодным арсеналом старческих ласк, но теперь это на Арсения не действовало никак. Он брезгливо кривил губы.

— Перестань, это похабно очень,— прервал он ее.

— Но я тебе ничего и не сказала! — обиделась и отреклась она. — Он любит, потому что хочет второго ребенка. Первый был от прежней жены. Ему очень хочется.

— А тебе?

Она подумала:

— Ему поздно, а мне рано.

— Но ты часто изменяешь мужу? — тихо, смеясь и разливая вино, спросил он.

Она с негодованием блеснула глазами:

— Никогда! — И, кажется, сразу поверив в это внезапно сорвавшееся слово, заменившее то, чего в ней никогда не было, прибавила: — Как ты смеешь?

Обиженная, разочарованная в Арсении, она стояла у кровати, спиной к нему. И так легко было бы замять эту несвоевременную размолвку, но тому и в голову не приходило встать и подойти к ней. Новая догадка шевелилась в нем: разумеется, он ошибся тогда, в переулке,— тысячи людей снабжены в жизни заурядным лицом Ивана Петровича.

— Так, значит, он ушел в шляпе, а это был... Ну, дай же мне поесть, ты обещала.

Она ушла и долго не возвращалась. Он сидел неподвижно; неживая, почти мертвенная желтизна заливала его лицо. В углу поскреблась мышь, и не ее, а только быструю тень ее — не увидел, а лишь ощутил Арсений, скосив глаза. Безабажурная лампа на подоконнике не горела; голый электрический патрон отражал чужой золоченый лучик. Вспомнилось, как давно, в день последней ссоры с отцом, глобусоголовый приятель рассказал ему на ухо поучительный опыт: если всунуть живую мышку в патрон и включить свет... Его передернуло, как и тогда, точно от скверной отрыжки. Все тело его физически болело, и не проходило ощущение соседства с огромным животным, которое тупо уставилось ему в затылок. Он огляделся; в простенке между туалетным зеркалом и бельевым шкафом висела черная лакированная коробка; он спокойно подошел и, сняв трубку, долго ждал ответа. Чужая жена не

возвращалась; возможно, она плакала, по-бабьи положив голову на кухонный стол. Сонным голосом телефонистка назвала свой номер. Сложив ладонь рупором у микрофона, Арсений смотрел на пальцы; они бились как под током и почти утеряли чувствительность.

— Прошу вас... — произнес он внятно и вдруг назвал то слово, которое в это время швыряло Ивана Петровича по безлюдным московским улицам: — Гепеу!..

Прошла неопределенная пауза. На подзеркальнике лежала головная щетка, полная серых вычесанных волос. Собираясь в гости, Иван Петрович приводил себя в порядок у туалета жены. Потом Арсению ответили с коммутатора. Он молчал. Щетка была черного дерева; щетина ее проносилась ложбинкой посреди от долгого употребления. Девушка на коммутаторе сердилась: по-видимому, она ясно слышала прерывистое дыханье Арсения. Снова и снова называла она свой номер.

— Простите, нас соединили по ошибке,— выпячивая губу, произнес Арсений и положил трубку.

Все, мысли и впечатления, съехало куда-то на сторону, как шляпа на пропойце. Щетка, по-видимому, служила Ивану Петровичу и в молодости, но тогда волос в ней оставалось меньше, и еще они были черные. Какой-то главный период в жизни Арсения был закончен, он узнал об этом по ноющему ощущению всех своих клеток. Он покорно, с угнетающим чувством преемственности, пригладил этой щеткой волосы на себе, неслышно оделся и пошел вон, но едва открыл дверь, сразу наткнулся на самого Ивана Петровича. Тот возвращался с блуждающими глазами, точно в параличе, точно со сражения. Галстук его тряпочкой свешивался из кармана распахнутого пальто. Жена ошиблась: из боязни застудить голову он надел все-таки шапку. И странно, он опять, даже тут, не заметил Арсения, точно так же как и тот, покидая подъезд, не увидел в подворотне иззябшего и уже дважды обманутого Штруфа... Осип Бениславич стоял в тени крошечного домика, окна которого слабо светились сквозь густые занавески. Летели искры из трубы, поднимались в кристаллическую промороженную синеву ночи и не потухали, а примерзали к черноте небосвода и оставались жить — как в детском сне! — мерцающими звездами.

Но, значит, он все-таки учуял Штруфа!.. На перекрестке двух улиц, концы которых уходили в черное ничто, Арсений терпеливо дождался спутника своего за углом.

— Не ходите за мной больше. За мной сейчас не надо следить... — шепнул он почти просительно.

И впервые на протяжении этой ночи Осип Бениславич опустил бывалые свои глаза.

ГЛАВА 22

Институт Скутаревского переживал кризисную полосу. Настоянием руководства вся его основная работа сведена была к решению все той же несбыточной темы.

Очень немногие — и Иван Петрович в том числе! — верили в успешное ее завершение. Правда, индикаторная лампочка этого чуда уже горела; за месяц ее перевидали многие, от наркома до одного пронырливого журналиста, и все имели возможность удостовериться, что действительно к эбонитовому ее постаменту не вела никакая проводка. Фокус этот стоил громадных денег, лампа светилась с достаточно тусклым миганьем, и на этот неверный маяк Скутаревский направлял громоздкое тело своего корабля... Так продолжалось вплоть до известного ханшинского бунта, в форме которого вылилось давнее недовольство верхнего этажа. Требуя выделения своей лаборатории, он подчеркивал опасность — при наличии тогдашних условий выдавать стране такие ответственные векселя. Беседа происходила с глазу на глаз, и Ханшин откровенно указывал, что в случае возможного провала непременно найдутся люди, которые постараются придать делу характер научной диверсии. Отличаясь прямолинейностью и чрезмерной трезвостью воззрений, сторонник честной, но консервативной школы саморазвития, он втайне осуждал почти дилетантскую дерзость патрона, и хотя по убеждениям своим держался на ином, чем Арсений, даже враждебном ему фланге, одна и та же формула руководила ими.

— Не понимаю вашей фронды, не понимаю. Вместе с тем я не стану дискутировать с вами во всесоюзном масштабе,— торопился Скутаревский. — Вы — педант, вы боитесь риска. Но большевики тоже рисковали в Октябре.

— Да,— певуче соглашался тот, приглаживая свою неистовую седину. — Но вы знаете, каких это стоило средств!

— Ерунда! — сердился Скутаревский. — Те же средства были бы потрачены и в случае неудачи... средства!

И тут, пожалуй, расхождение могло бы иметь непредвиденные следствия, ибо Иван Петрович, вспылив, заявил визгливо, что никто еще не знает — научный или политический блок сформировался в верхнем этаже. Это произошло еще до мордобойного эпизода, и видимость дружбы с Черимовым, которую всюду демагогически выставлял Иван Петрович, имела здесь крайне существенное значение. Ханшин багрово молчал и щупал себе колени. И это маленькое, пожалуй, недоразумение ускорило течение начавшегося процесса. Все же, соглашаясь на автономию ханшинской группы, Скутаревский попытался усилить себя привлечением Черимова. Тот с удовольствием принял эту высокую честь — совместной работы, но не войны против Ханшина. Тогдашний раскол, который даже вряд ли заслуживал такого несправедливого определения, он считал не только естественным, но и полезным для роста института. Тут же выяснилось, что и на работу с директором он смотрел несколько утилитарно, потребовал возможности для себя работать над одной смежной проблемой и при всем уважении к Скутаревскому вопрос об этом поставил с дерзкой решительностью.

Сергей Андреевич просто за голову схватился:

— Все идет дыбом... Давеча подъезжаю на извозчике... он, обернувшись, спрашивает меня, извозчик: и к чему эдакая башня построена? Смехота! Этот синий человек тридцать лет не видел ничего, кроме хвоста своей лошади... и некоторых побочных явлений... и вот!

— А может быть,— улыбнулся Черимов детской его гневливости,— может быть, целых три таких года он потратил лишь затем, чтоб добыть частицу средств на вашу башню.

— Постная чепуха! Надо понимать, о чем спрашиваешь.

— ...надо говорить так, чтоб понимали! — почти весело заключил Черимов; кстати, всякую истину он принимал в строгой зависимости от ее резонанса во мнении масс.

Стычки эти служили как бы введением к дальнейшему разговору. Черимов не объяснял, как, после одной ничтожной беседы с Кунаевым, возникло у него это намерение. Назначенный директором крупнейшего комбината, куда как раз и призывал Федора Андреича творить свои живописные шедевры, он жаловался на невозможность плавки металла в необходимых газовых условиях: проблема — тогда еще не совсем решенная. И вот Черимов, неоднократно наблюдавший перегрев специальных антенн Скутаревского, задумал сделать высокочас-

тотную спираль, чтобы перенести тепло в самую гущу расплавляемого металла.

Сергей Андреич нахмурился, едва понял своего ученика:

— Вы имеете в виду использовать высокие частоты, но это уже известно...

— Да, но я не гордый. Достаточной реализации это не получило нигде...

— Институт построен не для целей металлургии. Или вы имеете директиву?.. — Слово это в применении к науке приобретало у него вообще ругательное значение.

— Он построен вообще для содействия социалистическому строительству и обороне,— напомнил Черимов самый жесткий и существенный параграф устава.

— Вы изверг. Ладно. Я остаюсь один, прекрасно... — ворчал Скутаревский, вставая и покрываясь пятнами. — Я всегда был один. Все идет дыбом. Извозчики ревизуют науку, ученые занимаются производством электрических чайников, да.

...Так целых полгода прошло под знаком бесплодных поисков. Правда, кроме лампочек на эбонитовом пьедестале вертелся теперь, и довольно бойко, вентилятор, условный агрегат, но требовалось еще много времени, воли и даже мускульных усилий, чтоб отвлеченную идею, предел дерзости века, воплотить в послушную и выгодную машину. Сергей Андреич подвигался медленно, шаг за шагом, повторяя судьбу всех ранее проделанных открытий. От неясных догадок, носивших порою почти галлюцинаторный оттенок, он шел к формулам, тугим и изящным, как разбег волны, и дальше опять вниз, к разочарованию, к неуклюжим, несовершенным машинам, наивным для бородатых детей игрушкам, за которые заранее стыдно перед потомками... Стране, впрочем, было безразлично, каким словом начинена была его искательская ярость.

Теперь вчерне это было построено, но самая проба скутаревской аппаратуры происходила уже в отсутствие Ивана Петровича. Известие об его аресте было для всех полной неожиданностью, которой, однако, никто почему-то не удивился: незадолго перед тем Иван Петрович выступил с одним научным докладом, который своевременно был разоблачен как враждебная вылазка; последнее время он производил впечатление охваченного нервной лихорадкой. Но истинных причин и поводов не знал никто, и оттого подготовка к отъезду происходила в подавленном безмолвии; в черимовских выступлениях усматривалась,— хотя все ему согласно поддакивали,— некая

дипломатическая игра. Под наблюдением самого начальства артель упаковщиков заканчивала обшивку последних механизмов. Наиболее крупные грузы были отправлены раньше, и где-то на перегоне Сумга — Терпенево уже двигались на юг многие тонны организованного металла, бесценные документы десятилетних усилий. Самый опыт предполагалось произвести в заброшенной, дикой усадьбе; в годы народной войны гостевали здесь посменно партизаны всех цветов, и когда схлынула последняя волна, в старинном с колоннадой доме этом не оставалось ни скотины, ни курицы, ни цельного окна. Туда, в отремонтированный флигелек приезжали на летние месяцы лечить нервы работники местного финотдела, а с ноября по апрель зимовало здесь воронье чуть не со всей губернии. Отдаленность места диктовалась свободой маневрированья и необходимостью провести эксперимент в полной чистоте. Ток предположено было взять частью у местной фабрички, частью у самого городка, и с тем непременным расчетом, чтоб на машинах было не менее требуемого количества киловатт. Первая партия учеников Скутаревского уже полторы недели жила в усадьбе. Ежедневными телеграфными сводками они уведомляли его о ходе подготовительных работ, и когда Женя вошла в лабораторию, Скутаревский держал еще не распечатанной последнюю из них.

По обязанности новой службы она бывала здесь и раньше, и всякий раз это обманчивое башенное пространство, в котором крик оставался шепотом, а полного голоса хватало только у машин, поселяло в ней детскую робость; здесь, пожалуй, и коренилось ее безоговорочное подчинение Скутаревскому. И оттого, что еще не знала назначения их всех — рубчатые шпили трансформаторов, одетых в богатые алюминиевые шубы, могучие конденсаторы, напоминавшие сытых животных, прикорнувших по уголкам,— и так похоже лоснились их лакированные кожуха! — все это мнилось ей образами из сказки, которую она выдумала сама. В первый раз сегодня она не заметила их, как не заметила и беспорядка, обычного перед путешествием. Десятки длинных, в рост человека, ламп торчали на деревянных козлах, и упаковщик, подстегиваемый окриками, с паническим лицом нес одну из них прямо на Женю, ничего не видя перед собою. Она обошла все, ища глазами Сергея Андреича, и вдруг увидела его в узком проходе на металлической галерейке, в группе людей. Их было трое, там никто не мешал им, и только этим объяснялось такое не-

удобное место для беседы. По фотографиям в окнах, мимо которых проходила не раз, она узнала в одном из них наркома; именно о нем ей пришлось однажды отвечать на испытании по политграмоте как об одном из первых маршалов Красной Армии; он приехал запросто, без всякой свиты,— значит, это его длинный черный лимузин и видела Женя из окна кабинета. Нарком казался веселее, меньше ростом, но коренастее, чем сложился он в воображении девушки. Но и на это она не обратила сейчас никакого внимания. Разъятый на куски в суматохе суеты и спешки, до нее донесся только обрывок разговора:

— ...нет, это в Казани сгорели катушки, а в Ростове произошло перекрытие на корпус...

— Вы объясняете это теми же причинами? — Нарком покосился вниз и тут увидел Женю.

Он взглянул на нее с кратким и пристальным любопытством; должно быть, всякие россказни докатились и до наркомского порога; только после того он с новым вопросом обернулся к Скутаревскому. Тот сразу заметил Женю, которая делала жесты и звала вниз.

— Вы ко мне, Женя? — строго и вслух спросил Скутаревский. — Я занят.

Его сердитый оклик не заставил ее скрыться немедленно; ее известие стоило, видимо, вниманья. Угловато извиняясь перед начальством, быстро, почти прыжком он спустился на несколько ступенек. И, казалось, в эту минуту все слушали э т о, и никто не слышал. Внимательно и сурово, циркулем расставив ноги, Сергей Андреич принимал ту отрывочную скороговорку, которую всунуть ему в сознание торопилась Женя. На мгновенье лицо его расслабилось, точно развязался какой-то душевный узелок, и влажная тень смежила его глаза. Он взялся за перильца, потому что легко было поскользнуться на гладких, за десятилетие до глянца отшлифованных ступеньках. И снова он готов был слушать еще и еще, хотя вверху ждал его нарком, но Женя уже кончила.

— Благодарю вас, ступайте. И еще раз позвоните на станцию относительно поезда! — приказал он вполголоса и, поднявшись, продолжал прерванный разговор.

Нужно было слишком хорошо знать его, чтобы заметить, что он стал уже не прежний: рот утерял свою злую форму и постарели глаза. Он говорил, слегка запинаясь, потому что другая мысль, точно опрокинутые чернила, заливала ему мозг.

Но тот, другой, спутник наркома проявлял повышенную и требовательную любознательность.

— ...но все-таки вернемся к началу. А если остановиться на прежнем... ну, как вы это назвали в прошлый раз?

— То есть пучок в газе? — как бы сквозь туман вспомнил Скутаревский. — Нам не полагается мечтать вне предела научных и допустимых на сегодня норм.

— Почему? — допытывался тот. — Вы можете рассчитывать на полное наше содействие.

Скутаревский перебил его:

— Потребуется импульсная установка на... позвольте, я сейчас соображу... минутку. — Он подергал бородку, и что-то хрустнуло в нем, как в арифмометре. — Потребуется двести пятьдесят тысяч киловатт. Возможно, в конце четвертой пятилетки... — Острота не удалась, он сдался и опустил глаза.

— Ну, с вашей помощью мы надеемся добиться этого в конце второй? — вопросительно, полусерьезно засмеялся нарком и, щурясь, ждал ответа.

Скутаревский молчал и, хотя решительно уверен был в своей правоте, снова и снова избегал давать хотя бы слабые гарантии успеха.

— Может быть, перейдем в кабинет? Там можно сидеть... — утомленно сказал он потом, вдруг навалясь на перила. — Эй, осторожно, не матрац тащите! — закричал он вниз, где в сплошной мягкий ящик устанавливали трехметровое параболическое зеркало. И опять никому не были понятны ни теперешняя его вспышка, ни давешний Женин испуг.

Они стали спускаться.

— Вы уезжаете сегодня вечером?

— Да, у нас специальный поезд.

— Черимов едет с вами?

— Нет, на него я оставляю институт.

— К слову, как вы расцениваете его?

— Он смотрит на науку, как на свою партийную обязанность.

— Это плохо? — улыбнулся нарком: сужденья Скутаревского он знал давно.

— Это — мало.

...Их беседа длилась еще полчаса; кожаные кресла лениво вздыхали при всяком движенье. Сумерки медленно переходили в вечер, а вечер в весну. За окном пулеметно грохотали отъезжающие грузовики. Позже сюда подошли Черимов и Ханшин,

мирная беседа немедленно переросла в спор, и в этом десятиминутном страстном поединке разбежисто наметилась вся блистательная будущность института. Скутаревский сидел против окна; оно было круглое и напоминало иллюминатор; за ним пространственным конусом уходила территория научного городка. Частично ему видны были также серенькие окраинные дома, колокольня, поднявшая вверх линялую шею жирафы, и еще круглые трамвайные часы у остановки. Все это скользило лишь по поверхности сознанья, но вот зажглись фонари, и яркий, внезапный проливень света напомнил Сергею Андреичу о времени сильнее, чем стрелки на светящемся циферблате. Он поднялся со спокойствием, которое впоследствии, когда все стало известно, заставило женский персонал института приписать Скутаревскому жестокие качества, которых тот никогда не имел.

— Я прошу извинить меня,— произнес Сергей Андреич, с хрусткой твердостью ставя слова. — У меня произошло несчастье, и до отъезда я хочу... — он поправился: — я должен посетить еще одно место.

Нарком поднялся; за краткое время рукопожатья горячее тепло его руки не успело согреть оледенелых пальцев Скутаревского. Оба они были почти однолетки, оба понимали друг друга трудно, точно перекликались через экватор, и оба шли, по существу, к одному и тому же, если взглянуть снисходительными, век спустя, глазами.

ГЛАВА 23

«Мужество, мужество...» — повторял он, не попадая в калоши.

И метнулся на улицу — быстро; его сердце разорвалось бы, если бы он хоть немного ускорил движение. Вот она снова воротилась к нему, его кометная стремительность, но для какой горестной обязанности! На безлюдной площади, откуда после базара расползались крестьянские возы, он взял таксомотор. Места, куда он мчался, не должен был до времени знать никто, а тем более институтский шофер. Он распахнул кабинку так, словно брал ее штурмом; молодого парнишку за рулем ошеломило властное, немногословное приказанье пассажира. Машина помчалась вопреки всем обязательным постановлениям; на одном повороте насилу ускользнули от грузо-

вика, выскочившего из переулка, а на другом чуть не изувечили разносчика. На долю секунды перед радиатором мелькнула его корзина, полная непонятного оранжевого, брызнувшего во всех направлениях товара; визгнули тормоза, парнишка успел завернуть руль до отказа. И пока милиционер записывал фамилию шофера, Скутаревский успел накупить мандаринов, из раскиданных по мостовой. Карманы пиджака уже раздулись, а он автоматически все еще пихал туда мятые, пахучие плоды; совсем не было уверенности, что они смогут пригодиться в ужасном месте, куда он торопился, но надо было чем-нибудь занять растерявшиеся стариковские руки.

Снова они помчались, и снова нетерпение пассажира пересилило шоферский страх перед столичной милицией. Каждая промедленная на перекрестке минута умножала душевное смятение Скутаревского. Неразборчивое известие, которое он сорвал с бледных, искусанных губ Жени, странным образом подтверждало его прежние опасения. Нужно было собраться с силами и во что бы то ни стало для себя найти немедленное, тысячное по счету доказательство своей непричастности к этому ужасному поступку Анны Евграфовны; он уже не сомневался, что мчится на последнее свиданье с женой. И как только принимался распутывать противоречивый клубок своих тайных помыслов, раскаянья и сожалений, воображение тотчас рисовало ему одну и ту же картину — сумеречное первозимнее пространство с рельсами, уходящими в закат; хилая, неправдоподобная травка пробивалась между шпал сквозь политую мазутом щебенку... и там лежало ничком большое, еще живое, но уже затихшее человеческое тело,— сестра Петрыгина, но мать его сына: жена. И он торопился, как будто еще было время добежать, припасть на колени, оторвать ее руки от длинного, розового железа, уже гудящего от приближения слепого, катящегося навстречу груза.

— Скорей... или пусти, я сяду сам за руль,— бормотал Сергей Андреич, кладя подбородок на плечо шофера.

Наконец в ветровом стекле появился сероватo-скорбный дом столичных несчастий и развернулся во всю ширь старинного, с колоннами, фасада. В открытую дверцу ворвались гудки машин и множественный скрежет дворницких скребков. Воздух пестрел снежинками, и они заранее пахли горьким больничным запахом. Скутаревский ринулся по ступенькам подъезда, на ходу снимая пальто, взамен которого ему уже издали протягивали жестяной номерок. Потом, не попадая в

рукава, он впихивался в узкий, заштемпелеванный халат. «На малых ребят шьете, на ребят-с!» — бормотал он, как в судороге, расправляя плечи. По нескольку ступенек в прыжок, на удивление швейцара, он стал подыматься вверх — так в молодости, бывало, каждый раз приступом брал он крутую университетскую лестницу. На площадке вверху он остановился, прижимая руку к боку; лицо его сморщилось, и десны обнажились. Сердце больно колотилось, старость его была беспокойная, ему было тесно в этом порывистом, неукротимом старике...

Возможно, все это происходило и не так, но когда впоследствии атаковали его воспоминанья, именно в таком порядке чередовались подробности тягчайшего его дня... Дверь к дежурному хирургу была белая, простенькая, простекленная чем-то пузырчатым и голубым. Взрывчатое хрипенье доносилось из-под двери. Пусто было, корректно очень глянцевели масляные стены. На пороге Скутаревский встретился с женщиной, которая уходила: по лицу ее видно было, что сама не знает, где будет через час. Он не уступил ей дороги, он не понимал уже ничего. Линолеумная дорожка доводила до самого стола. Хрип объяснился просто: врач сморкался старательно и хоть не в согласии с правилами врачебной науки, зато с чисто научной пунктуальностью. В стеклах его очков натужливо тряслись зеленоватые отблески абажура. Вообще во всем была эта утешительная зеленоватость, даже в коротко остриженных, выпуклых ногтях хирурга. Не двигаясь, одними глазами он указал на эмалированную дощечку с уведомлением, что прием посетителей заканчивается в пять.

— Моя фамилия Скутаревский. Я уезжаю через полтора часа.

— Ага!.. — Кажется, так именовали того популярного химика, о котором, как о достойнейшем кандидате в Академию, он читал в газетах. Химия, по разумению врача, представлялась смежным с медициной ремеслом; они были некоторым образом коллеги; следовало проявить любезность, он привстал, приветствуя знаменитость поблескиваньем стекол. Это был чистенький здоровячок, яблокощекий, работяга, и потому все ему до дьявола нравилось в жизни. На поле его халата, у кармана, темнело крохотное, в горошину, пятнышко: йод. Но одна мысль, что это и была кровинка из жены, влила холодок в пальцы Скутаревского.

— Садитесь, прошу вас. У нас кто-то имеется с вашей фамилией.

— Жена,— сухо объявил Скутаревский. — Моя жена.

— Не припоминаю, нет... — раздумчиво проговорил тот.— Скутаревский?.. — и пальцем водил по списку, отыскивая там похожее слово. — Молодая?

— Мне звонили час назад от соседей по старой квартире и сообщили, что ее отвезли к вам, — кусая губы, объяснил Скутаревский.

Врач принялся за список заново:

— Видите ли, это случилось в дежурство Сироцкого. Вы, наверно, слышали это имя. Он тоже писал что-то по химии. Ага, вот нашел, но тут значится мужчина. Есть у вас в семье мужчины?

— Нет,— отрезал Сергей Андреич. — Это жена. Дайте сюда.

И сам шарил пальцем по скорбному списку новоприбывших, застигнутых посреди жизни разочарованием, местью, коробкой консервов или трамвайным колесом. Но там, среди прочих, каллиграфически зияло лишь одно имя, не оставлявшее никаких сомнений. Инициалы были те же, это мог быть один Арсений... Где-то тут же, за стеной, рядом, на бывалой больничной койке корчился как будто знакомый и вместе чужой человек — чужой, потому что не прежний, не цельный уже. Воображение, сорвавшееся со всех цепей, корнало Арсения так и эдак, делало кровавым обрубком или удлиняло петлей, в узлы завязывало смертной корчью.

— Так, значит, это Арсений и есть? — вслух спросил себя Скутаревский, а врачу показалось, что глаза у него взорвались, и из самих разорванных глазниц текут по-старчески обильные слезы. — Это же сын, ясно! — И всей ладонью бил по измятому списку.

— Я же вам говорил, что мужчина. А мужчину я застал уже на операции... — сочувственно указал врач. — Он лежит в седьмой Б, припоминаю. У него все время сидела мать, она уехала полчаса назад.

— Что он сделал с собой? — перебил Скутаревский, дергая лацканы распахнутого своего халата.

—...он? Как же, он стрелялся! — не без удивления сообщил врач. — И, черт, стрелялся-то как-то неряшливо: впихнул в себя пулю как попало!

И оттого, должно быть, что это была единственно возможная в его положении любезность по отношению к будущему академику, он рассказал со слов Сироцкого.

Несчастье произошло на рассвете. Молодого человека подобрали на улице с отмороженной рукой. Никто не слыхал выстрела, кроме ликующего, издыхающего от одышки Штруфа: этого не знал Сироцкий! Пуля прошла наискосок, задев сердечную сумку и полость плевры, скользнула по ребру, пробила печень и застряла в малом тазу. Искать ее не стали, дабы не отягчать последних часов раненого. «Печень... — цепляясь за слово, пошевелил губами Скутаревский и с негодованьем на память, которою не мог уже управлять, вспомнил: — Столыпина тоже в печень!» Представлялось кощунственным это неуместное воспоминанье, но он даже увидел этот газетный, двадцатилетней давности лист, услышал его хрусткое утреннее шуршанье...

— Я мандаринов ему принес... разрешается? — разбитым голосом спросил он еще.

Тот замялся:

— Уж не знаю. Видите ли, ему сделана лапоротомия. Хотя... Словом, есть данные, что к ночи показатели сердечной деятельности...

— Я хочу его видеть,— непреклонно сказал Скутаревский.

— ...я распоряжусь, чтоб вас провели. В таких случаях мы не препятствуем... — Он взялся за трубку и сперва сказал кому-то, кто дожидался в телефонной очереди. — Да, но только впереди не двойка, а тройка. Что? Да, она выздоравливает. Пожалуйста.

И опять впечатления шли рваными, нестройными клочками: как будет, если разрубить книгу вдоль, поперек, по диагонали и читать подряд перемешанные треугольные обрезки. Человек, тоже в халате, шел впереди; лысый его затылок был худ, рыж и в веснушках. В углу, на первом повороте, уборщица мокрой тряпкой затирала линолеумный пол. Тихо очень было. В радиаторе отопления глухо шипела вода. В нишеобразном углубленье дежурная сестра пудрила от безделья нос,— чтоб не заснуть. И удивительно, Сергей Андреич теперь вовсе не примечал въедливого больничного запаха, который напугал его вначале.

— Здесь, входите тихо,— шепнул провожатый и приоткрыл дверь.

Скутаревский вошел, скорее — протиснулся в щель.

Молочный свет был тускл, а потолок однообразен. Одеяло сползло с кровати. Оно было сурово и шершаво на ощупь, когда отец хозяйственно взялся за его край, чтоб поправить.

На столике рядом не стояло ничего — ни пузыречка, ни коробочки, и эта пустая стеклянная поверхность безнадежности сильней всего, как бы наотмашь, поразила Скутаревского. Но, в сущности, и предметов здесь не было никаких, то есть они не запечатлевались в мозгу; в комнате помещалось одно лишь невесомое, искалеченное и бесформенное ощущение — сын. И глядеть на него почему-то избегал первое время Скутаревский. Потом он опустился на стул, единственный, и осторожно, краем глаза, покосился на лежащего. Тот раскрыл глаза и, судя по рывку бровей, что-то понял, но не издал ни звука.

— Вот, пришел проститься, — разведя руками, сказал Сергей Андреич. — Я уезжаю сегодня. Хочу испытать счастье свое и рукоделье испытать. Если оно оправдается, великая польза будет народу. Тебе, наверно, запрещено говорить, запрещено? Ты молчи, говорить стану я... я пойму по глазам!

Одеяло не прикрывало Арсения и наполовину; отцу виден был его приподнятый, тщательно пробинтованный живот и ледяной на нем пузырь. Видимо, размеренно заканчивался в этом недвижном теле начавшийся необратимый процесс. Так вот как оно происходит, это! Вряд ли Арсений уже имел право на свое старое, живое имя. Вещество его стыло и угасало; оно видоизменялось; оно больше не нравилось самому себе; оно просилось в поля, пространства, чтобы, растворясь в кислотах и ветрах, снова когда-нибудь воспрянуть — безразлично: деревом, облаком или простенькой полевой ромашкой. Распадались его сложные соли, потухали магнитные поля, клетка теряла электрический заряд свой, и самый мозг превращался в бездейственное, стеариноподобное вещество. И потому весь разговор с сыном следовало считать, пожалуй, разговором наедине с собой.

— Возможно, мы не увидимся больше. Я пробуду там не меньше полутора недель. Ты сделал так, как хотел. Говорят, что всякий человек умирает, когда ему это необходимо... Враки, Сеник. Настоящие люди живут так, что не умирают и после смерти!

Какое-то вялое слово шевельнулось на лиловатых губах сына, и не его уловил отец, а лишь усилием рассудка понял, что это и есть цвет цианоза. Впрочем, лицо Арсения стало живее, и какая-то лихорадочная влажность появилась в запавших глазах. Но была ли то боль или просто несогласие с доводами отца, было не понять сразу.

— Ты не возражай, я же и не навязываю своего мнения тебе... туда... в дорогу. Я знаю меньше тебя, я борюсь, я живой, и никто не знает до конца. Больно мне только, что так быстро закончилось скутаревское. Еще говорят: человек — производная его среды... но кто же сделал тебя таким, Сеник? Всегда мы были врагами, а почему? Я никогда тебя не обижал... хотя, правда, и приласкать тебя у меня не хватало времени. Я помню тебя, когда ты краснел даже при слове чужой неправды. В кого ты пошел, не знаю. Твой дед был скорняк, прадед тоже, еще крепостной. Барин Шереметев променял его на рысака! Их труд был изнурителен и вонюч. И нужно было долго мочить в известковом молоке, мазать овсянкой и мять, прежде чем рыхловатые тошные кожи становились хлебом. Он был скуден, его не хватало даже детям: земля, на которой мы росли, была бесплодна и тоща. Но никогда в нашем доме не раздавалось жалобы. Отец нещадно бил за это, он приговаривал: «Копи в себе, копи...» Я понял смысл только взрослым... Я боюсь, мне горько утверждать, Арсений, он бил за это, кажется, и мать. Знаешь, матери чувствительны, им всегда трудно глядеть на голодного ребенка, а нас было пятеро — кроме меня. Отец!.. Мы никогда не видали его спящим; он все скреб что-то и шил. Он сшивал свои ночи и дни, самого себя пришивал к чужим мехам. Вот я старик, а до сих пор мне снится его длинная, неустанная рука. И мы тоже мокли в этом зольнике... и то, что впоследствии мы познали разумом, мы познали прежде всего шкурой, которую выдубили голод и нищета... и снаружи, черт возьми, и с бахтармы! Мы выросли, милый, прочными, черствыми, жестокими. Нам невнятно то, над чем еще двадцать лет назад взасос рыдали всякие *такие* барыньки. Мы смеемся над этим, мы солдаты, Сеник... Конечно, я сознаюсь, я говорю не то, что есть, про что я хотел бы, чтоб оно было. Но ты понимаешь меня: мы не можем уважать истерических поступков.

Ему трудно давались слова, шея его вспотела, поминутно он поправлял усы, и каждый раз не сразу понимал, откуда он взялся — настойчивый мандариновый запах, но именно эта непривычная тяжесть в карманах подтверждала место и трагическую цель его прихода сюда.

— Молчи, молчи, Сеник. Я вижу, чем ты хочешь мне возразить, но не в партбилете же дело. Я тоже только профессор, с чудачествами которого приходится мириться, и, когда наркомы говорят со мной, они хитрят, они информируются обо мне

у Черимова, а не у меня самого. Но зато они и не требуют от меня столько, как от рядового, кровного пролетария. Я делаю сам, кустарь, как умею, мою жизнь. Да, ты прав, я выстроил громоздкую оправдательную философию там, где они руководятся почти инстинктом. И в конце-то концов, может быть, они правы: ведь дядя твой, Петрыгин, факт или не факт?.. ты хмуришься. Хочешь, я уйду?

— Сиди... — Он не сказал этого, он только сделал знак глазами и опять закрыл их; недвусмысленные хрипучие обертоны появились в его дыханье; видимо, внутреннее кровотечение продолжалось.

— Так, значит, это правда... вот, о чем пишут в газетах! Я долго не верил сам, потому что — подорвать величайшую попытку перестроить мир — разве это правда? Правда — организованно сжигать народные усилья? Правда — сибирская твоя электростанция, правда? Должно быть, политика делит мир совсем на иные молекулы, чем делим его мы, механисты, так сказать, физики и химики...

Арсений издал какой-то звук, даже не слово, и еще вслед за тем несколько таких же; ослабевший его голос был удален безмерно: их разделяла уже не только разница воззрений.

— Да, ты не знал тогда еще и сам,— понял его отец,— но после, после ты молчал? А ведь мы с тобой простые низкие, мастеровые люди: что заработаем, то и едим. Какое нам дело до тех жуликов, что потеряли навсегда свои неправедные сокровища! Драться за них нечестно, а нищему — и вдвойне позорно. Ну где же та людская шелуха, которая тебя окружала и вела... а ты думал, что ты ее ведешь! Впрочем, прости, Сеник, я ведь не агитировать тебя пришел, но так уж вышло. Ты же камень-то бросил, и вот брызги из меня летят. — И он рассказывал стыдную историю своей битой надежды во всех ее подробностях. Они были как потухающие уголья, уже не раздуть их. И даже та разящая деталь, что он видел и знал все и молчал — когда мать украдкой жгла его толстые книги, чтоб согреть больного ребенка, Сеника! — уже никого теперь не обожгла.

Когда он взглянул на часы, до поезда оставалось сорок пять минут, а следовало еще заехать домой, взять бумаги и переодеться. Он поднялся торжественно; татарские его брови треугольчато нависли над глазами. Потом он поклонился — низко, словно клал обратно в землю то, что однажды напрасно взял из нее. Рот его раскрывался сам собой наискосок, как

разодранная рана: нужно было больно ударить по нему, чтоб замкнуть его.

— Ну, прощай, и ты тоже прости меня. Я мог бы вызвать к тебе еще врачей, но поздно... да и вряд ли это нужно тебе. Ну, не буду мешать, ты хочешь, наверно, сосредоточиться. А мне — ехать, я не могу отменить поезда. Прощай, Сенька!

Арсений лежал с закрытыми глазами, да Сергей Андреич и не нуждался в ответе. Кстати, все труднее становилось раненому думать: заодно с телом он прострелил и мысль свою... Еще недавно ему казалось: посещение безвестной Гарасиной могилы даст ему новую силу жить. Но ехать было трудно, ехать было далеко, и тогда, должно быть, он и выбрал эту самую краткую к Гарасе дорогу. И, возможно, для него это было честнее и проще, чем служить классу, которого не понимал... Дверь за отцом закрывалась медленно; хотелось приказать ему вдогонку, чтобы не резали *потом*, — отвратительно было Арсению самое представление о скальпеле патологоанатомов, но, в сущности, то было даже не предрассудком, а лишь последней зацепкой за жизнь. Дверь закрылась; в безразличной тишине белой комнаты растворились отцовские шаги. На ходу сдергивая с себя халат, Скутаревский побежал по коридору; времени оставалось катастрофически мало. И пока спускался бегом по лестнице, взволнованно ероша усы, встретился с человеком, который быстрым, зорким взглядом обмерил его и отвернулся. Под наглухо, до самого горла, застегнутым халатом ловко двигались великолепные военные сапоги; видимо, один и тот же пошел на них кусок кожи, что и на портфель, слегка поскрипывавший на ходу. Человек этот явно боялся опоздать, равно как и Скутаревский. По-видимому, то был следователь по особо важным делам.

...Шофер заждался. В счетчике глухо отщелкивались гривенники и рубли. Пассажир грохнулся на сиденье, и тотчас же заскрипели в машине вставные челюсти. Скутаревского качало, возносило к матерчатому небу, ударяло о стенки на поворотах. Неподвижные подобья линз, смотрели впереди себя его подпухшие глаза: последние дни, в связи с отъездом, он вставал рано; может быть, ему хотелось спать. По сознанию елозили какие-то размытые зрительные композиции все того же вещества, трагический распад которого он только что наблюдал. Он не отказывался от своей электромагнитной теории жизни... но если это самое вещество скорбело и ныло в нем

теперь, если оно могло неистовствовать в зависимости от того, в каком сочетании стояли две заостренных металлических полоски на белом экране циферблата, если, прощаясь с Женей, он долгим и трудным взглядом задержался на ее надломленных детских губах — не значило ли, что новое, высокое, неизведанное качество приобретала та неживая материя, которую он знал, подвергал измерению, сгущению или рассеянию, которую прогонял через раскаленные нити ламп, видоизменяя по капризу, и которая пестрила теперь в его мозгу условными понятьями — то залетающих к нему кристалликов воды, то грубого булыжного вещества, по которому неслось такое же мертвое вещество машины, то студенистой, непоседливой плазмы, налитой в английского сукна с бархатной оторочкой мешок — себя самого.

ГЛАВА 24

Кроме этого прямого официального назначения поездка и по другим причинам была насущно необходима Скутаревскому. Она была бы бегством от самого себя, если бы главный, решающий перевал в его судьбе уже произошел; а когда-то в гостях, у Подушкина, он полагал в простоте душевной, что уже перевалил вершину. Это, впрочем, походило на правду, легкую и тем более обманчивую; все главные удачи были уже пройдены; низкое солнце стояло позади; затухало фанфарное эхо скутаревской славы, которая ни в ком уже не будила ни зависти, ни жажды соревнованья; новые корявые самородные имена подбирались к зениту, и знаменье старой обветшалой кометы не пугало уже никого. И когда в отдалении объявилось это квадратное, предназначенное для опыта, сорокакилометровое поле, он ринулся туда до срока, лишь бы скорей принять бой и опередить судьбу... Нет, именно навстречу ей бежал он, потому что удача сулила ему благополучное завершение и всех остальных его чаяний.

— ...профессор желает чаю? — спрашивал человек напротив.

— Может быть, попозже, товарищ... товарищ? Я все забываю...

— Меня зовут Джелладалеев... трудная фамилия, она дается легко только актерам: я заметил. — И улыбался, как бы извиняясь.

— Вы что же, бурят или узбек?

— Я туркмен. Так я все-таки закажу чай. — Весь разговор происходил расплывчато, как во сне.

Поездку эту при желании можно было истолковать и как бегство от Жени, если бы представляла теперь какое-нибудь значение его запоздалая страсть. Требовалось слишком много всякого рода созвучий, чтоб из нее получилось то прекрасное стихотворение, которое издревле, на все лады, то в ярости, то в ревности, то в издыханье повторяет человечество. А прежде всего требовалось равенство, и хотя он всячески добивался этого, равенство их было мнимое. Из двух сторон слабейшей явно была Женя — безымянная девчонка, провинциальное существо и пока еще только замысел человека, макет его любви, выдуманный в унылой семейной каморке, с голыми ногами и еще у самого старта бегунья. Может быть, ее и не было вовсе, и только мысленные, силовые лучи Скутаревского, пересекаясь, образовали этот милый и ненасыщающий призрак. Ее мечтанья определяли ее самое. Ей хотелось иметь полупустую, свободную от вещей комнату и простой, непременно кленовый в ней стол. Там неправильным треугольником разбросаны — наган, плитка шоколаду и ветка елочки в стакане; вот они, рифмы к девушке из поколенья, которое пришло на смену Сергею Андреичу. Может быть, если найдется место, на столе лежит еще книжка Скутаревского; у Жени нет знаний прочесть ее, и оттого книжка всегда нова в ее воображении. Булка и яблоки — вот ее пища, пища богов и кроликов. Желание делать пользу, еще не сформировавшееся до профессии,— вот ее простенькая и отдаленная цель... Та же самая беговая дорожка у него оставалась пройденной. А он был знаменитость, член горсовета, научный, так сказать, отец целой оравы сотрудников, директор, вождь, дед, индивидуй, величина!.. и, хотя бесхвостая, но все еще комета. И так уж получалось: весь его житейский путь ступенчато приводил его к ее жесткой, нищей, еще не смятой кровати. Он разъярился бы, если бы ему показать, во что обратилась его борьба с г о р о й и какими тяжеловесными смыслами он нагрузил случайную, шальную встречу с миловидной девчонкой.

Нет, еще следовало спорить об истинных причинах, которые увели его из семьи, которые заставили его, подобно вору, в запертом кабинете разглядывать анкету Жени. На этом пухлом, соломенной бумаги, листе он отыскал третий вариант догадок, которого не мог заранее предположить. Она была дочь мелкого кооператора, член юношеской организации,— выход

из нее она пространно объясняла отказом в путевке на учебу. Ее посылали на работу, которая не прибавляет знаний и не молодит; тогда она решила пробираться сама и пешком отправилась в столицу из крохотной подмосковной провинции. Анкета не требовала таких подробностей, и если Женя шла на такую щедрую откровенность, значит — знала, кто первым прочтет ее признания. И снова — бежать от нее теперь означало бежать ей навстречу.

— Поезд сильно запаздывает из-за заносов,— повторил спутник; сказать он хотел что-то совсем другое, и, в сущности, первая его реплика была о том же.

Сергей Андреич впервые со вниманием всмотрелся в провожатого своего. То был сухощавый, в военной форме, ловкий и чем-то замедленный человек; с самого начала пути он был внимателен, вкрадчив и молчалив,— должно быть, эти качества и способствовали его успехам в военном ремесле. Культура и городской отпечаток смыли с него прежнюю кочевую смуглость, и даже некоторая раскосость глаз представлялась скорее признаком индивидуальным, чем расовым. Только руки его, огромные, темные, с застарелыми желваками и рубцами в ладони, указывали, откуда он пришел в свое высокое звание. И, глядя на него, Скутаревский думал рассеянно: черт их знает, какие стихийные национальные залежи раскопала эта неистовая власть!.. Страдая от безмерного уважения к имени ученого — и тут просыпался в нем кочевник, впервые увидевший могущество человека в мире! — Джелладалеев поминутно неуклюже и трогательно старался развлечь чем-нибудь черное профессорское раздумье; его секретно предупредили перед отъездом о постигшей Скутаревского катастрофе... И вот, как бы отдавая дань вежливости, Сергей Андреич смотрит в окно и сперва видит в черноте стекла только блестящие пуговицы проводника, устанавливающего стаканы. Потом он различает огоньки в снежных полях, клубы темных кустарников под насыпью и снег; накануне пронеслась метель. И, точно в порядке обмена вежливостью, каждый думает друг за друга. Джелладалеев думает, что взгляд Скутаревского направлен в сторону его провинциальной родины: там в уездном городишке еще стоит, наверно, скорняжный домик и на березовой окраине, под круглым дешевым камнем лежит отец. Скутаревский вполне согласен: прекрасная ночь для обходного, наступательного маневра! И действительно, небо было на редкость черное для конца зимы.

— Откуда вы знаете Кунаева? — слегка наклоняясь вперед, спрашивает Сергей Андреич.

Собеседник улыбается, и Скутаревскому видны его крупные, кое-где в золото одетые зубы.

— Он был военкомом той бригады, которой командовал я. Это давно, еще на польском фронте. На всякий случай мы не порываем связи. — Его непривычный уху акцент придает железную значительность его речи.

— Великолепный экземпляр человека! — говорит Скутаревский.

— Настоящий пролетарий,— на свой язык переводит его спутник, и ему, видимо, приятно говорить о друге с таким известным человеком.

Скутаревский думает вслух:

— Странно: поезд идет, минуются какие-то баснословные полустанки, а мы так мало знаем про отдельные части паровоза, который нас везет. Кунаев!.. он так всю жизнь и пробегает в своей кожаной куртке. Черт, и не холодно ему?

Спутник смеется:

— Нет, он привык... он любит холод. Текущей зимой товарищи, шутки ради, на съезде подарили ему в складчину полушубок, и через неделю он опять...

— Пожалуй, это и правильно: надо, чтоб человеку было неудобно,— тогда он ищет!

— ...было племя в Средней Азии, таа-зы. Они надрезали ухо себе перед битвой, чтобы быть яростней. По-видимому, это будит злость...

Так, приятно поговорив, они мысленно снова разбредались в разные стороны. Оба глядели в окна, и, хотя укачивали мягкие бархатные сиденья, вовсе не хотелось спать. В продолжение целой полуминуты оба видели за леском перебегающее на облаках клочковатое зарево: дружным костерком полыхала где-то невдалеке деревня, но ни один не обмолвился и словом. Опять текла в окне однообразная полоса древесных насаждений, и Сергей Андреич снова возвращался к своей горе. Сошествие с нее представлялось ему непосильной задачей: черная тень как бы от громадного каменного облака неотступно висела над ним в пути.

— ...выйдем на станцию, профессор? Погуляете... а я тем временем ругану кого следует за опозданье.

Желтый, скучный свет, налитый в круглую склянку, сочился на обширные сугробы; перрон был завален ими. Снего-

пад еще продолжался, но хлопья стали необильные, мокрые,— последние остатки высыпала из кузова своего зима. Беззвездная тишина куполом обступала станцию, но всюду, вплоть до красного семафорного огонька, пространство было затоплено мужиками с лопатами и в лаптях. На соседнем пути ждал очереди другой поезд, также застрявший из-за заносов.

Люди с окаменелыми от сна лицами проворно сновали от поезда к вокзалу и обратно, таща что-то в бумажках, бутылках и чайниках. У каждого была в этой ночи своя суровая дорога,— ни один даже не оглянулся на девочку, которая отбилась от матери и плакала на высокой стеклянной ноте. Рядом с нею стоял транспортный, в долгополой шинели, чин; он поглаживал маленькую по голове и любознательно поглядывал на бесстрастного иностранца, который торжественно нес куда-то в неизвестность рыжий чемодан, оклеенный ярлычками заграничных отелей. Сбоку его вприхромку бежал волосатый, местного происхождения дед в мохнатой шапке, которая служила как бы естественным продолжением самого лица. Он совал в руку иностранца грязную, полуистлевшую записку — прочесть. Никто не потешился этой занятной двоицей, да, пожалуй, и некому было в суматохе, кроме одного старичка в укромном уголку, близ багажного сарайчика. С напыщенным и демонстративным благородством он держал в вытянутой руке серую пенсионную булку.

Скутаревский шел неторопливо, вразрез привычке, точно производил смотр этой голой ночной правде. Булка в рваной варежке насторожила его внимание. Ему показалось, что это плохая булка.

— Халло! — сказал он, останавливаясь, потому что имел достаточно времени.

— Меняю на мыло,— шершавым простуженным голосом ответил старик и пристально глядел мимо, на проплывающий чемодан иностранца.

— А деньгами от своих принимаете? — испытующе поинтересовался Сергей Андреич, раздраженный то ли вызывающей нищетой, то ли редкостной лодырной разновидностью.

И уже шарил по карманам мелочь, когда дернули его сзади за рукав. Он обернулся с недоуменьем, которое рассеялось не сразу. Трудно было после долгой разлуки признать этого усатого здоровячка в тулупчике нараспашку. Ясно, он был тоже не из здешних; ясно, он был из соседнего поезда; он

испытующе взирал на Скутаревского, и под дремучей бровкой его теплилось смешливое, хитрецкое лукавство.

— Пойдем, Сергей Андреич!.. это жулик. Тут разведки большие идут, руду ищут, иностранцев много,— вот на них он и охотится. Он и на прошлой неделе тут стоял, тогда только толстая книга у него была. У него здесь двое ребят работают... Бывший, негодный человек он,— пойдем. — И смеялся, смеялся, тешась недоуменьем Скутаревского. — Ты меня, Сергей Андреич, завсегда в одной коже да в бороде видал, вот и не признал сразу. Пойдем, я чайком тебя угощу. Чай у них, надо сказать, местного производства, но ведь горяченькое... Огонь-то везде греет!

Было невероятно встретить здесь, в черноземном захолустье его, Матвея Никеича, соучастника многих банных, в римском стиле бесед. Но тот, вчерашний, был иконописен, почти отшельник, и по неповоротливости разума объяснялся лишь тезисами, которыми и действовал словно топором: порою только щепа от него летела, да и маловато бывало пользы от топора. Какая-то решительная подмена произошла в нем за зиму,— слова у него рождались легко и звучно, точно пересыпаемое зерно; приятна была его горячая, без тени кумовства, радость, с которой он подошел, и, когда распахивался на нем незастегнутый тулупчик, обнаруживалась ластиковая рубаха, вся в мелких, нарядных цветочках: только птичьей песни и недоставало на ней. И, наконец, вовсе уж примечательно было, что вот бывший банщик ведет в буфет общеизвестного физика, чувствительно поддерживая под локоток.

— Слышал про тебя, Матвей Никеич. На высокого коня вскочил.

— ...а баньки-то жалко: у воды всегда привольнее. Да вот, оказия какая, послали подшефный колхоз проведать! — щебетали птички, что прятались где-то в Матвее Никеиче. — Музыку им привез, радио, книжки...

— Ну, и как на поверку?..

Матвеева ладонь оторвалась от рукава, и профиль его стал сломанный, сумрачный, сердитый. Из-за угла ветром ударять начало на платформу; Матвей застегнулся на все крючки, и сразу умолкли в нем птичьи хоры.

— Разно, милый, разно. Дураков честных много развелось. Проныры не страшно, его видать, и пятерня сама к нему, как к магниту, тянется, а честный — спрятанный. В день, как уезжать, трусики в кооператив привезли, черные и в розовую

полоску. Это накануне-то сева... и ни гвоздя, ни сахаринки на всю округу, а все только трусики!.. малость покричать еду в столицу.

И вдруг перечислять принялся скучные, темные цифры недовыполненных процентов, а Сергей Андреич слушал с жадным, сконфуженным вниманием. И не то поражало его, что Матвею интересно все, чего сам он трусливо сторонился, а — что по своей воле убежал из надменной дикарской пустыни в самую толкотню сложнейшего социального маневра. Он шел и улыбался,— может быть, в ответ мыслям своим о великом одиночестве человека на земле. И всегда так бывало: жизнь оказывалась хитрее его предположений, и, даже зная механику и расстановку участвующих сил, он никогда не умел предсказать подробностей последующей минуты. «А Лаплас-то все-таки диалектики и не нюхал... Жизнь никогда не упрощается до параллелограмма».

Они выбрали место у стены, выкрашенной диким, первобытным колером и сплошь в отеках сырости. Тотчас Матвей Никеич убежал за обещанным угощеньем. Шумно было, как нарочно, и в шуме этом приглушенно мерцал дребезг комендантского звонка, когда открывали дверь. По полу, густо заслеженному снегом, струился мокрый холодок; в дверь поминутно входили. Скутаревский огляделся,— кабинетного человека, его всегда отпугивала откровенная простонародная жизнь; да и теперь давалась ему трудно крепкая, настойная новизна ощущений. За соседним столиком, в углу, сидела плотницкая артель. Их было пятеро. Тяжелое ремесленное снаряжение — монументальные фуганки, скобеля и пилы в берестовых чехлах — вросло, казалось, в их серое, бывалое тряпье. Суровая праздничность лежала на их лицах,— с такими когда-то, при царях, пешеходило на богомолье неграмотное российское племя. Бородат из артельщиков был лишь один, наверно — самый смирный и пуганый. Селедка, по штуке на брата, красовалась на столе, замкнутая в сторожевой круг из пяти стаканов. Они ели, действуя руками и зубами, и терпеливо запивали ситро... Имелся там и шестой, но стакана на него не было. Он был чудак, бывший человек, им заведомо пренебрегали. Старинная, еще диагоналевого сукна, поддевка носила на себе печальные следы хозяиновых скитаний: ночевать ему, видимо, приходилось где попало. Весь он был явно гиблый, и одни только валенки с калошами, которые невыразимо свер-

кали резиновым лаком, могли служить предметом зависти для этих путешествующих в социализм мужичков.

Он сидел грустный, кося нетрезвый глазок на соседей, эпическое спокойствие которых возмущало его. Время от времени он сдергивал с головы лепешистое подобье кепки с жокейским козырьком и, щелкая ею по краю стола, требовал себе вниманья:

— ...и вот, скажем, продал я доктору Саломатину последние полпуда масла, а дальше? Многоуважаемые люди, что со мной будет дальше?.. Кончина?.. но я ж не хочу! И отродясь мне не везло: други мои все жулики, папа мой погибнул от продолжительного туберкулезу, в грабиловку я девять раз попадал, и даже фамилия моя с неприличной буквы начинается. Одна мама только и осталась у меня: глядите, жулики!

Всхлипывая, он тащил из кармана заерзанную фотографию пожилой и дородной женщины, в кофточке навыпуск и с полнокровным добряцким лицом. Карточка застревала в лохмотьях кармана, и это обстоятельство будило в нем пьяную досаду. Мужики безразлично брали выцветшую картонку, сумрачно глядели на его маму, передавали соседу; один пробормотал под нос себе: «Н-да, возразить не имеем... мама и есть!» Другой просто попробовал картонку ноготком,— картонка оказалась жесткая. Карточка обошла полный круг и улеглась на краю стола, никого не взволновав. Плотники сидели без движения, точно боялись растратить попусту заготовленные на продажу силы. Только один, самый рослый и щетинистый, уговорчиво откликнулся ему:

— Да нам не надо, что ты говоришь-то, не надо. Нужен ты нам, как плешивому гребень, пра-а. И чего ты бьешься, опоздалый ты в жизни человек? Плотники мы, на Магнитку едем. У нас вся волость там, во! — И, поразмыслив над судьбой опоздалого человека, прибавлял тихо и настойчиво куда-то в самое темя мамина сына, усаженное редкими розовыми волосиками: — Продал бы ты валенки-то, милый ты гражданин, куды тебе такая роскошь, пра-а...

Тот не отзывался, и тогда круговой, скупой — точно стоил денег, начинался разговор; так на зимнем ветру шуршат сохлые листья:

— Сказывано: гора лесом поросла, и из-под ей берут железо.

— Катькин деверь пять сот заработал. И гармонь трехрядку,— нежно, как свирель пастуха, пел другой.

— Там уж не подремлешь,— глухо и угрожающе прибавлял третий, щупая окоченелую ветку туи, что стояла тут же в кадушке. Он понюхал пальцы и досказал зловеще: — И вода-то поди ржавая от железа.

Четвертый, что беспокоился о валенках, погибающих зря, отзывался с созерцательной усмешкой:

— Чудно, огромадные миллионы, и все спешат. Даже блоха, конкретно, шибче кусать стала. Это тоже хотя!

Пятый, в бороде, ершился, поправлял пилу, и без того накрепко, до боли привьюченную за спиной, и конопатый носик его заметно белел от волнения.

Скутаревский развернул было газету, но тут вернулся Матвей, нагруженный черствыми прошлогодними яствами: самоубийственно было бы поглотить и половину их, но, должно быть, расточительная радость встречи одолела прочие соображения. Едва они принялись за дело, снова, уже не без буйства, затормошился гражданин в диагоналевой поддевке. Сергей Андреич с любопытством обернулся: чем-то напоминал Штруфа этот человек,— один и тот же цвет был у этой горелой человеческой трухи... Вызревал в нем поглощенный хмель, и, видимо, фининспектор со всей его оравой приснился ему за краткое мгновение дремоты.

— Эй, вы, еноты!.. вот он я, дивуйтесь, последний нэпман на вашей паршивой земле. Один торчу, как на песке былинка... Эй, почему сполоха не бьете? Где, я вас спрашиваю, где Гаврилов Петр Савельич?.. где Букасов Ганя и его бесценный товар на семь тыщ довоенным золотом? Сожрали... еноты вы, еноты! Ну, до мово не доберетесь, крепко спрятано. Ага, молчите, прошибло? Вот я ухожу от вас, и отныне станете вы жрать маргарин по карточкам, купидоны вы, сукины дети!

И опять никого не затронула его ругань; кстати, не шибче шепота звучал в общем грохоте подшибленный его голосок. Но что-то темное и жесткое мелькнуло в лице Матвея Никеича и тотчас растворилось в кроткой, даже восхищенной усмешке. Консервная коробка, которой хотел он заняться ввиду отказа Скутаревского, так и осталась стоять с воткнутой в нее вилкой.

Он покачал головой, как бы преклоняясь перед мужеством такого небывалого удальца.

— Ишь ты! — И снова великое множество птичек проснулось в его голосе, но теперь птички были железные и с зубами. — Живешь ты и ничего не страшишься. И где ты обитаешь, такой веселый... в гости бы к тебе побывать!

Тот хохотал:

— ...живу. В крепости обитаю. Наезжай, выпьем! У села Люксембургова хуторок в лесу, знаешь? Богданов я, слыхал?

— Ишь ты, Богданов. Как же, как же... — уважительно бормотал Матвей и огрызком карандаша, который вдруг родился в заскорузлой раковине его ладони, записал что-то в книжечку. — Люксембургово... это в Ульянинском районе? Очень хорошо. Ну, запасай угощенье, приеду...

Но писал он еще долго, плохо владея непривычным инструментом, а последний нэпман следил растерянно за кривыми строками, прыгавшими по мятому листу. Мужики отвернулись: они были ни при чем, они ехали на Магнитку... Значит, так и не суждено было на этот раз побеседовать о высоких предметах; едва успели наладить прерванный разговор, подоспел Джелладалеев,— поезд их отправляли вне очереди, через две минуты. Матвей побежал проводить их до вагона. И как только поднялись, гражданин в жокейской кепке резво побежал сбоку, хватая Матвея за рукав и умоляя вычеркнуть его из книжечки: разом протрезвила его трусость. Не ведал он ни имени, ни чина этого моложавого старика, но воистину страшна была в его положении любая сделанная про него запись. С вытаращенных губ летели какие-то изуродованные паникой слова и, наконец, очень неожиданная формулировка, что, кроме всего прочего в жизни, является он детским отцом.

— Да не проси, приедем... — отмахнулся от него Матвей Никеич и уже у самого вагона в последний раз взглянул Скутаревскому в глаза. — Племяннику ничего про меня не рассказывай. Пущай ране времени не егозит...

Поезд двинулся, Матвей Никеич проводил его пристальным, хозяйственным взором. Когда он обернулся, нэпмана уже не было: возможно, с высунутым языком мчался он на хуторок перепрятывать свои сокровища. Неторопливо Матвей вернулся к опустелому пиршеству. Плотники еще сидели. Кучка обсосанных селедочных костей лежала на фотографии нэпмановой мамы; они закрывали ее целиком, и только руки мамины виднелись из-под объедков, обрядно сложенные на животе, как и полагается мертвецу, а сбоку уже кралась к ней желтоватая лужица ситро...

Матвей Никеич обмерил плотников глазами,— те сидели выжидательно и терпеливо.

— А ну... уехал мой гость. Большой головы человек. Малому у нас особого поезда не дадут. Ну, садись доедать, ребята...

ГЛАВА 25

Временное руководство институтом пало на Ханшина, и тогда возникла обманчивая очевидность, что только Скутаревский мешал ему ближе сойтись с Черимовым. После отъезда директора сразу совпали их практические устремленья, и хотя то было простой случайностью, но именно в это время институт передал народному хозяйству два крупных своих достижения. Первое относилось непосредственно к высоковольтной передаче по проводам; второе, черимовское, было то самое, на которое надоумил его Кунаев. Почему-то как раз в отсутствие Скутаревского поползли злостные слухи, что в начальство назначается Черимов, а бывший директор получит только лабораторию; требовалось проявить немало усилий, чтоб затушить эту провокационную сплетню в зародыше. Черимов и сам понимал, что только при общей технической отсталости можно было назвать открытием его изобретение; за границей подобные аппараты уже вступили в фазу промышленного использования. Вдобавок открытие это, расцененное провинциальной печатью как научное событие, целиком вытекало из работ самого Скутаревского над высокими частотами; не было особой хитрости в том, чтобы воплотить их в тигель, спирально обтянутый проводом вокруг футеровки. Так уж, видно, полагалось — почитать Рентгена и пренебрегать безвестным именем Ленара! Повторялась давняя история с учеником, который надоумился использовать отвлеченный от практики опыт учителя... Впрочем, причины всеобщего восхищения лежали, пожалуй, в другом плане; от института давно уже ждали конкретной работы, и опубликование двух новостей этих газеты восприняли как частичную оплату давно просроченных векселей.

Об этом больше шумели в широкой печати, чем в научных кругах; газеты же приводили краткую, но поучительную биографию молодого ученого, украшенную, правда, не перечислением научных работ, а указанием на количество его общественных нагрузок. Кстати, метранпаж перепутал фотографии, и заместителем Скутаревского оказался пожилой детина в окладистых усах и промасленной кепке. Черимов же объ-

явился старшим мастером станкостроительного завода, перевыполнившего квартальную программу. И все читали, и никто не замечал — даже сам фотограф. По-видимому, фокус этот мог приключиться и в действительности, и, как острили матерые анекдотчики, перемена произошла бы без особого ущерба для дела. Таким образом, враги черимовские, каких он успел вдоволь себе приобрести, метили поверх него в некоторые вещи посущественнее... Один Скутаревский, получив газету, много смеялся и за обедом так и объявил во всеуслышанье, что в его отсутствие рубль разменяли-таки на двугривенные.

Меньше всех участия в этой шумихе принимал сам Черимов. Яростный противник всякого прометейства — и этим словом он попадал сразу в Скутаревского, — он по-прежнему всюду отстаивал взгляд, что под любым изобретением должна подписываться вся масса сотрудников, а не один только его вдохновитель; принимая же во внимание преемственность технической культуры, он не прочь был поделить свою победу и со всеми теми, кто до него истратил жизнь свою на том же поприще. И если тешило его что-то в этот день, то не скоропалительная слава, а скорее пути, которыми она делается. Утром, еще в кровати, он просмотрел газету, иронически улыбнулся на заголовок статьи «О наших будущих академиках», проверил — напечатано ли запоздалое соболезнование Скутаревскому по поводу постигшей его утраты; редакция объявления составлена была туманно. Впервые выспавшись за всю декаду, Черимов зевнул и потянулся: кстати, гибель бывшего приятеля не особенно огорчила его; ничто не противоречило черимовской логике, которая, конечно, была в данном случае его собственной, конституциональной логикой. Притом же дружба с Арсением осталась написанной на вчерашней странице, а жизнь неоднократно заставляла его перелистывать и не такое. Он откинул газету и спустил ноги на пол. Они были сухи и жилисты, ноги спортсмена; приятно было самому испытать на ощупь, как плотно и гибко одевают мускулы их костную арматуру. Вдруг он засмеялся, вспомнив недавний сон, который длился всю ночь и — о сон партийца молодого! — состоял из одного не совсем почтительного разговора с Каутским. Старик бубнил что-то о перерождении, Черимов злился и наседал; и хотя уже успели померкнуть ночные настроения, рука еще оставалась сжатой, точно не хотела расстаться с клочком чужой пушистой, начисто выстиранной бороды.

Должно быть, возню его услыхали за перегородкой:

— Николай,— кричала Женя,— где чай?

По ее расчетам, очередь вести хозяйство приходилась сегодня на него.

— Об этом следует спросить вас, Женя.

— Я готовила вчера.

— Но вчера я не пользовался вашими трудами. — И правдоподобное возмущение слышалось в его голосе. — Я уехал на завод, когда вы еще спали. Вчерашний день не в счет.

— Вы становитесь лентяем, товарищ Черимов. Это вдвойне позорно для рабочего, который...

— Да, но я являюсь вашим начальством. И даже получаю на тридцать рублей больше вас.

— Ага, день начинается с неприкрытого зажима самокритики...

Так забавлялись они этой ребячливой перебранкой. И, может быть, оттого обоим было радостно, что то был первый день весны. Цветные блики во множестве врывались в узкую, гробового покроя, клетушку Черимова, и до безрассудства весело было читать по ним — о ворчливых, вспененных потоках, о раскисшей за городом и пахучей земле, о воробьях, суетливо чирикающих на проталинках, обо всем, что с неистребимой силой каждому припоминается однажды в год... Черимов открыл форточку, и стоголосый весенний гам, размолотый колесами далеких трамваев и гремучих грузовиков, вступил в комнату. Стало еще веселее в этом знобящем снопе воздуха, и теперь почтенный и затхлый титул академика звучал фальшивой монетой в сравнении с его нетитулованной, ничего пока не свершившей молодостью. Почему-то вспомнился ему тут Федька, которому так и не имел времени передать ящичек скутаревских сигар, но чем это было связано с весной и молодостью, так и не понял... Это был выходной день института,— в записной книжке не помечено было ни одного заседанья: утренняя работа в лаборатории могла сегодня занять не более получаса. Приятно было неторопливо обдумывать, как истратить несчитанное сокровище дня. В институте его, однако, задержали; кроме того, среди почты он отыскал ту самую открытку с бородатым писателем, которую, помнилось, много раз держал в руках. «Поздравляю с ангелом дорогого племянника!» — писал дядька, и Черимов понял, что Матвей Никеич, в свою очередь, предпринимает контрнаступление на него.

Из лаборатории Черимов вернулся только к полудню. Дверь оставалась незапертой. Тонкие междукомнатные перегородки не составляли препятствия звуку, да еще такому пронзительному. По-видимому, у Жени сидел гость, еще неизвестный Черимову,— он и говорил, предоставляя Жене возражать лишь в те кратковременные передышки, когда самому ему захватывало дух от скороговорки.

Голос ее дрожал:

— ...Когда я уходила, вы сказали мне: скатертью дорога!

— Да... но мы не предполагали, что ты дойдешь до того, чтоб стать любовницей спеца. Мы не хотели исключать тебя только за твой отказ ехать базным работником, и потому на сегодня ты позоришь организацию!

И опять Женя пыталась защищаться,— так барахтаются в воде утопленные котята:

— Это неверно, он учит меня. Я учусь. Я ушла от вас учиться.

Но все больше раскалялся гость в своем правоверном гневе:

— И это неумно, дорогой товарищ. Он не репетитор, чтоб тащить за уши наших недорослей: это уклон, от которого пора отказаться вчистую. Он должен оправдать ту цену, которая за него дана,— эти штучки пора бросить! Мы и без тебя овладеем наукой и научимся делать своих академиков, как паровозы, да, да!.. и станки. Да мы уже имеем их, своих пролетарских академиков. — Лозунг этот он тем же утром прочел в газете, но, разумеется, не мог предполагать, что сам этот будущий академик с улыбкой слушает его за дверью. — И если бы ты отличалась большей политической грамотностью,— да, да!.. ты поняла бы, что спеца надо использовать на все сто... нет, на тысячу процентов!.. по специальности. Я бы даже разгрузил их ото всех общественных нагрузок, я бы их, напротив...

Кажется, на этот раз Женя собралась с силами:

— Ты опять глупости говоришь, Ефим! — Она не посмела указать, что глупость эта и оскорбительна. — Он не из тех, которых мы собираемся судить. Слушай же меня, слушай... или... или я уйду от вас совсем и выгоню тебя сейчас!

— Ага! Стиль твоей угрозы вскрывает твою классовую сущность!

— ...я выросла вдвое с тех пор, как попала к нему. Я сама постепенно вступаю в научную работу... — И, судя по шелесту, наверно, листала свои тетрадки, полные учебных записей. — Он хвалит меня...

— Понятно: семейственность... — хрустнул мальчишеским негодованием Женин собеседник.

Он сообразил, что слишком размахался и результатов мог добиться обратных тому поручению, которое имел от своего начальства. Смутясь, он долго кашлял, хмыкал и шагал по комнате. Женя вдруг спросила его:

— Тебя послал Жиженков?

— Это не существенно.

— Я спросила потому, что организация в целом не могла поручить тебе таких слов. Это грубо, грубо... Когда я вернусь, я сделаю одно сообщение про вашего Жиженкова.

— Ага, итак, ты возвращаешься!

Черимов тихо прикрыл дверь и вышел. Он прошелся по двору, осмотрел работы по расширению нижней, кабельной мастерской, постоял просто так посреди двора, запрокинув голову в небо, посвистал, потер щеки, которые щекотало морозцем и солнцем, усмехнулся мысли, что вот ему уже и тридцать один, а он все еще не женат: никогда не удавалось больше получаса в месяц выкроить на любовь. Весна лежала кругом, как огромный голубой сугроб... но, должно быть, всегда обманчивы первые ощущения весны. Морозом схваченный снег был хрусток и льдисто-шероховат; он крупитчато рассыпался в ладони, и тогда казалось, что держишь на руке горстку жидких, текучих искр. И хотя в небе полное, как желток в эмалевой сковороде, лежало солнце, до настоящей весны было еще далеко; Черимов был голоден, и тем объяснялась неожиданность сравненья. Он подумал, что междугородный хоккейный матч, объявленный за месяц вперед, наверняка состоится. И оттого, что заранее решено было провести этот день совместно с Женей, он еще раз зашел домой.

Гость еще сидел, но беседа вступила в фазу настороженного перемирия.

— ...я хочу вернуться такой, чтоб Жиженков не посмел меня гнать, как это случилось...

— Оставим личные моменты,— перебил тот,— и резюмируем сказанное. Ты должна перевоспитать своего спеца, дать ему веру в работу и сделать ее возможно более интенсивной. Мы не определяем заранее формы ваших отношений, но... — и опять стрельба из детского пугача послышалась в его голосе... — детей от него не нужно. В этот переходный период, когда старая интеллигенция в целом...

— Как тебе не стыдно, Ефим!

Кажется, перемирие кончалось, и Черимов решился войти: без вмешательства третьей державы драчуны не унялись бы до вечера. Хоккей начинался через полчаса, и потом следовало все-таки выручать Женю. Гость встретил его пристальным, колючим взором, что ему, вообще говоря, плохо удавалось. Был то смешной парнишка, безусый совсем, с необыкновенной по густоте и размерам шевелюрой, и еще казалось, что веснушек у него на лице было больше, чем самого лица.

— Женя, нам пора.

— У нас серьезный разговор,— беспощадно отразил гость.

— Случайно я слышал часть его,— сказал Черимов, напуская на себя то же самое выражение: он боялся расхохотаться на эту вихрастую, щенячью юность, в которой отдаленно узнавал вчерашнего себя. — Вы напрасно мучаете Женю. Она несет очень полезную и зачастую весьма ответственную работу...

Паренек посмотрел на Черимова с пренебрежением: крахмальный воротничок и отлично выбритые щеки этого молодца внушали ему необоримое подозрение. Для него это и был осколок той страшной среды, из которой он поклялся Жиженкову вытащить Женю. Он опять запетушился еще непримиримей и задиристей, решась, по-видимому, разить наповал:

— Да, я понимаю, на что вы намекаете... — Он приметил жесткую, недобрую гримасу в черимовских губах. — Вы... член партии?

— Да... но вы-то игумен, что ли?

Тогда Женя, оправившись, перезнакомила их. Паренек смутился, услышав имя, которому два часа назад отдал дань своего выдержанного классового восхищения; он покраснел, привстал, сунул руку и вытащил — посмотреть время — часы. Они были громадны, с необыкновенно громким сердцебиением. Заметив молниеносную улыбку Черимова, он заволновался еще более, стал совать часы в кармашек, но она уже не влезала назад, эта мальчишеская улика. Теперь он много откровеннее посматривал на дверь. Чувства его поверглись в окончательный сумбур. Был он из той части молодого поколенья, которая, не попав в гражданскую войну, тем большее благоговение испытывала перед ее героями. В конце концов, неизвестно, из подражания им или от непримиримой левизны убеждений он носил такие негнущиеся в складках скрипучие кожаные штаны. Теперь он готов был броситься на шею этому человеку в чрезмерно белом воротничке — последний сразу приобрел иное,

уже похвальное значение. Поэтому он сказал, сдвигая дрожащие брови:

— Да, я где-то читал про вас в газетах. Я постараюсь вспомнить. — И вдруг с разбегу, как в детстве — головою в живот старшему, уткнулся подозрительным взглядом: — А где борода?..

— Это я побрился! — засмеялся Черимов, хлопая его по плечу: все дело заключалось в метранпажевой ошибке.

Это была полная капитуляция, но и уходя, тот еще ершился, хмурил сросшиеся у переносья брови и грозно пообещался еще раз произвести такой же переполох. Не мудрено, что на Женю он произвел самое неизгладимое впечатление. Она казалась задумчивой в продолжение всего дня, и даже сидя на матче, больше вглядывалась, пожалуй, в свои собственные мысли, чем в то стремительное действие, которое происходило на льду.

Там за республиканское первенство дралась с Минском та самая команда, в которой когда-то состоял и Черимов. Старых игроков осталось только двое, остальные — была сменка, всё незнакомая ему молодежь. Еще не впрягшиеся полностью в жизнь, они средоточили на мяче все свое неизрасходованное неистовство. Минутами почти падая, опрокидываясь под острым углом, — и тень насилу поспевала за ними, — они стремглав чертили размягченный солнцем легкий лед. Должно быть, в том и состояло искусство игры, чтоб подражать мячу, который молниеподобно вычерчивал сложную геометрическую звезду. Порою он прорывался сквозь условную черту ворот, и тогда пел свисток — протяжным и как бы голубоватым тоном, который не противоречил ни матовому искренью льда, ни глубокой, разбежистой синеве неба. Плотные шеренги зрителей обступали место того чрезвычайного состязанья. Каток принадлежал металлистам, и можно было догадываться, что веселое это соревнование служило лишь завершением каких-то других... Черимов глядел впереди себя сощуренными, отяжелевшими глазами; когда-то и он сам отдавал этому полю пенистый излишек юности своей, но вот она миновала... и, когда с налету, хрустя и брызгая льдом, к нему подбежал кипер команды, он испытал беспокойную, ноющую тяжесть в ногах.

Может быть, признал тот издали знакомую, с наушниками, черимовскую шапку и неизменный белый свитер за распахнутым пальто?

— Вот, втыкаем Минску. И довольно успешно. А лед плохой... — сообщил он и помахивал клюшкой, тренируя руку на удар.

Черимов снисходительно кивал ему и смеялся беззвучным стариковским смехом:

— Это кто там... Ленька Козлов?

— Он самый, фанерный директор... что ж, старик, навсегда, значит, сбежал? — И слегка подмигнул в сторону Жени, как бы улавливая смысл происшедшей перемены.

Но тут над самым ухом вновь пронзительно запевал голубой свисток, и снова начиналась головокружительная гонка.

Впервые и совсем по-новому Черимов покосился на свою спутницу, которую великодушию его поручил учитель. Вряд ли она расслышала намек или заметила пристальное разглядыванье соседа. Слегка закинув голову, она как-то вскользь и жмурясь от света смотрела в небо. Захватывало дух от его пространственности. Могучее гуденье наполняло эту круглую, вращающуюся неподвижность. Над совсем просохшими крышами домов, поверх деревьев, у которых теперь страстнее, чем неделю назад, изгибались сучья, острым журавлиным клином летела самолетная эскадрилья. И образ этих невидимых пропеллеров, высверливающих дорогу в ветре, будил в ней такое же безмерное желание полета. Вдруг она вспомнила товарищей, которых покинула, и тотчас подумала, что там, в безвестном провинциальном кружке, скоро, может быть через неделю, начнется тренировка. Она увидела себя в трусиках и с голыми ногами, она ощутила под ступней плотную, еще сыроватую дорожку трека и жгучий, много раз изведанный сквознячок бега на коленях; она услышала клейкий запах, исходивший от березовой рощицы, что вправо от спортивного павильона,— и с грустью, которая не печалила, решила, что теперешней их коммунке скоро придет конец. Что-то заставляло ее, как и Черимова, приписывать этому первовесеннему месяцу могущество, которым тот никогда не обладал. А еще не прилетели грачи, и зябли ноги от близости льда; еще синие афиши возвещали о втором хоккейном матче, с Харьковом, и самые дни напоминали скомканные, неудавшиеся улыбки.

И, точно следуя генеральному изотермическому плану, солнце вдруг окуталось в мутное кашицеобразное облако. Лед и небо потускнели, подуло холодком, Черимов застегнул пальто; вспомнилось, что Федор Андреич настойчиво приглашал их обоих посетить открытие выставки, которую устраивал совместно

с несколькими товарищами по судьбе и ремеслу. Ни от кого не было секретом, что его Лыжникам, которые должны были стать центром общественного вниманья, моделью служили Женя и Черимов. Обоим это было в новинку — чужими глазами взглянуть на себя, и если бы даже знали о размолвке с художником, которую они унесут с вернисажа, все равно любопытство пересилило бы. Какой-то неостылый кусок давешнего солнца, волшебный его потенциал, еще держался в них. Они поехали на автобусе и всю дорогу, свирепо гримасничая, лопотали на каком-то забавном тарабарском наречии, которое придумалось само собою. Сухонькая старушка из породы тех, которые обмывают покойников и обожают постоять в очередях, востроносенькая и с кузовком, благоразумно отсела от них на другое место; почему-то это придало новой силы их беспричинному озорству. И то ли действовал на шофера хмель вчерашней вечеринки, то ли сын — розовый и двенадцатифунтовый — у него родился накануне,— вел он машину с таким преступным форсом и мастерством, что старушку на рытвинах так и возносило к потолку. Скоро она выползла совсем, и, хоть мало весила, вчетверо быстрее понеслась вперед опустелая колдовская эта коробка.

...Они сразу увидели себя. Картина была огромна и по замыслу представляла эскиз одной из фресок, заказанных Купаевым. Линия оврага композиционно делила холст по диагонали, и первое впечатление от нее было — движенье и еще уйма лиловатого, закатом подсвеченного снега. Близка была весна, в мглистой гуще можжевела потухала заря. В лесистую низинку, полную округлых сугробов, скользила лыжница. Она была прекрасна, и, волшебством гения, черный цвет ее свитера представлялся почти розовым. Длинное ее тело, утеряв равновесие, почти переломилось и напряглось; казалось — еще мгновенье, и она с разбегу зароется в этот белый хрустальный пух. И становилось ясно, что в небе, разлинованном киноварью и золотом, происходило лишь наивное подражанье этой скромной земной девушке... Сзади, согнувшись перед спуском туда же, в овраг, стоял юноша; возможно, Черимов и в действительности был когда-то таким; под белым, грубым тканьем его фуфайки угадывались великолепные, горячие мышцы, а на сумеречном снегу хищно чернели загнутые носки пьекс. Он ждал минуты, чтоб скользнуть вниз и там, где еще пылали снежные розаны в заячьих следах, поймать девушку. После изобилия в пореволюционной живописи батальных лубков, на-

ивность которых равнялась их злободневности, радовал взгляд этот сверкающий апофеоз молодости и беспрестанного движения вперед. И уж во всяком случае, никто до Федора Скутаревского, исключая разве фламандцев, холсты которых весят многие старинные пуды, не давал такого буйного и легкого торжества одушевленной материи...

...Но у холста стоял человек с сутулой спиной; по пиджаку прорисовывались подтяжки и кривая унылая кость его позвоночника. Мелко облизывая губы или почесывая щеку, он выписывал в книжечку уязвимые места картины. Он был из тех, кого выгоняют из искусства с великим запозданьем, только после многих лет их разрушительной деятельности. Целлулоидная оправа его очков светилась много ярче его тусклых глаз, вплотную собранных у переносья. Постоянно испытывая некую необъяснимую обиду, он находил утешение в том, чтобы наводить цепенящий страх на вдохновенье, и верно — это он прорабатывал перед смертью Шунина, громил Евлашевского, сломал Василья Зеркальникова, и если уцелели прочие, то по причинам, вовсе от него не зависящим. Так он торчал здесь, и зрела в нем начальная, ставшая классической впоследствии фраза статьи: «Нужны ли такие произведения пролетариату? Нет, они не нужны ему...» Участь Федора Андреича была решена; крупнейшая его ставка была осмеяна. Сам он стоял в уголке с покорностью во взоре и жевал себе палец. И опять, как в годы молодости, приходили приятели, целовали его, великодушно афишируя близость к зашиканному художнику; одни исчезали, их сменяли другие с неверными, жуликоватыми глазами, а ему мальчишески хотелось поверить в успех,— не тот, которым покупал его Жистарев, а в тот истинный успех, происходящий от признания огромной массы людей из другого социального этажа. Мутная одурь накатила на него от приятельских поцелуев, и вот уже сам не знал — успех ли это, или просто жалость, или, наконец, дружеский испуг перед размерами той хулы, которую завтра изрыгнет на него рецензент.

Встреча с Черимовым обрадовала его,— все-таки это был свидетель его искренности и душевного переворота. Это свидание служило как бы концовкой многих их бесед об искусстве, о его высокой роли в революции; не всегда эти споры протекали мирно, но всегда оба они становились умнее после них. Федор Андреич засуетился; он раздернул штору, чтоб уловить остатки угасающего дня; он шумливо повел гостей к своим

работам, и тотчас же критик неподкупно вышагнул в дверь. Посетителей оставалось мало. Теперь они трое, художник и его модели, стояли молча, с опущенными руками, перед картиной; она еще пахла краской.

— Вот,— сказал Федор Андреич, и губы его дрогнули, как у подсудимого перед последним словом. — Мало свету — только...

— Нет, света достаточно,— уклончиво возразил Черимов и про себя отметил старомодную тщательность работы. — Совсем недурно. Но зачем у нее разорвано трико на коленке? Если сегодня мы и выпускаем не всегда приличную продукцию... Но ведь вы рассчитываете, наверно, что картина проживет дольше пяти лет.

Значит, провал был обеспечен, если и этот судья осуждал бесповоротно. Внезапно разгорячась, художник заговорил что-то очень туманное и далекое от черимовской специальности, о теории пятен, о могущественной силе детали, доставляющей правдивость произведению, о распределении цвета, о какой-то там хрупкости живописной плазмы, о тысяче вещей, совсем лабораторных и потому не понятных никому, кроме него самого.

— Да... но в каталоге это помечено как проект фрески... Тогда — зачем сумерки? Пускай будет наш полдень, пускай лед горит и плавится под нашим солнцем...

И тут же намекнул, что совсем не плохо было бы подчеркнуть производственную специфику картины.

— Что вы, что вы! — И даже руками замахал в полной панике Федор Андреич. — Что бы осталось тогда от моих лыжников? Именно сумерки...

И опять, в десятый раз, уже с меркнущей убедительностью и нехотя он пытался объяснить, что помимо литературного содержания всякое произведение должно диктоваться и задачами чисто живописного порядка, если только... если... Он замялся, не желая ссориться в последний раз. В стремлении доказать свою правоту он открывался в гораздо большей степени, чем позволяло ему артистическое самолюбие. В пример он приводил торжественную, сумеречную силуэтность Охотников Брейгеля, которого втайне почитал единственным учителем своим. Решаясь даже на банальность, многократно скомпрометированную, он твердил что-то об абсолютности этих неистлевающих слов — весны, зимы, любви и смерти, ревности и радости — тех камешков-голышей, из которых на берегу вселен-

ского неведомого моря выкладывает свои причудливые узоры художник. И уже в припадке художнической агрессии он грозил душевною цингою тем, кто хоть раз пренебрег всем этим. Самые образы его были чужды Черимову, практику и стороннику точного мышления, но он тем охотнее кивал, чем больше не соглашался. Усталость и место мешали им заострить этот спор до очередной стычки.

Заодно они обошли и другие полотна, и тут выяснилось, что Федор Скутаревский несколько опрометчиво выбрал себе окружение; его компаньон, целиком увязавший в подражании дурным образцам всеевропейского живописного распада, изображал почему-то только обвислых женщин с непотребными лиловыми грудями; вряд ли это было только женоненавистничество. Рабочий и его жена стояли перед одним из таких сногсшибательных опусов; мужу было смешно, но он крепился, и напрасно жена деликатно доказывала ему, что такое случается в жизни, что у ее соседки после родов была такая же в точности грудь... Постояли они также у одного необыкновенного моря со шлюпкой на восьмигранных волнах; мелкое свое жульничество автор продавал как наступление на буржуазный академизм. Две тоненьких вузовки глядели на этот хаос, бесстрашно намалеванный прусской синькой, и одна, наиболее впечатлительная, произнесла вслух: «...как не страшно на лодке в такое море ехать!» Черимов стал прощаться; минуту Федор Андреич расспрашивал его о брате, которого так и не успел повидать после катастрофы с Арсением. Он поискал, кстати, спутницу Черимова, но та уже вышла,— вузовки узнали в ней лыжницу по портретному сходству. Выставка помещалась в здании педагогического музея; кассирша считала выручку, мусоля пальцы языком. Сумерки плотнели. Воздух походил на сырую вату. И когда Черимов вышел следом за Женей, совсем уже закончилась эта неопытная репетиция весны.

Ветер дул вдоль реки. Они шли по набережной. Обоим хотелось идти пешком и молчать. Пустынные, приземистые дома, бывшие лабазы, однообразно тянулись по их пути. Желтую старинную штукатурку шелушила непогода. На реке, продолбив дырочки во льду, сидели неунывающие рыболовы в ушанках и проплатанных чуйках.

Женя сказала:

— Как быстро это проходит... — И рукой в заштопанной перчатке махнула впереди себя, где танцевали редкие, запоздалые снежинки.

Занятый другим, Черимов не ответил. Картина Скутаревского не понравилась ему: все-таки она была не о том, за что героически боролась сегодня страна. Но, странно, она не забывалась, она волновала его, и не только по тому знаменательному действию, что вторично на протяжении дня открывала ему глаза на Женю. С почти аскетическим осуждением он вспомнил сдержанный эротизм Лыжников, наглухо зашитый в этот суровый снежный мешок. Он думал: разве это только — молодость? Но удивительно, теперь уже не противоречила его ощущеньям спрятанная тенденция холста. И еще оставалась подсознательная уверенность, что где-то за кустами, отстав от молодых, плетется на широких канадских снегоступах сам Сергей Андреич Скутаревский. Но, как ни искал по памяти, не находил и намека на присутствие третьего лыжника. В художническом воображении они умещались только вдвоем,— третьему не было места, хотя бы то и был собственный его брат... Черимов шел чуть впереди и вдруг спросил,— туго натянутая струна прозвенела в нем:

— ...итак, вы полюбили его, Женя?

Было, может быть, и нечестно действовать в тылу у Скутаревского, но теперь Женя представлялась не только простой, пришлой из неизвестности девушкой, но и частицей той отдаленной цели, из-за которой оба они состязались. Она ответила сразу, точно ждала вопроса:

— Не знаю, Николай. — Ей не хватало средств объяснить, как она понимает это огромное, так затасканное старым миром слово. Что это?.. взаимное, жестокое притяжение клеток или преувеличенное уважение, или благодарность за ласку, или недуг, происходящий от одиночества, или просто флуоресценция того клейкого, недолговременного вещества, в которое все мы одеты?

Старик на углу у проломных ворот, в которые лениво тянулась вереница ломовых саней, продавал мороженые яблоки. Они набили карманы этой дешевой сластью, и в карманах стало холодно, точно купили всю зиму. Путь их был долог, как нескончаемо мог тянуться их молчаливый разговор. Мерзлая яблочная мякоть долго щекотала зубы, прежде чем раствориться в призрачную, водянистую сладость; кое-где на непромороженных бочка́х еще сохранялся острый йодистый привкус.

— Я не знаю,— повторила она. — Ужасно шпрот хочется! — И снова умолкла. Шагов через сто она сказала еще: —

Он ласков ко мне, а я с детства жила плохо. — Всходя на мост, она продолжала: — Нельзя же говорить такие вещи просто так. Не слушайте, я говорю для себя. Например, он сказал, что ноги мои похожи... нет, не думайте, он никогда не видел их! Но он говорил мне слова, от которых теряешь рассудок. Нет, я не знаю, Николай!

Она посмотрела на надкушенное яблоко: фу, как десны от него щемит! Щемило десны и отдавалось в сердце.

Сама того не понимая, она по-детски выдавала тайну, на которую, в сущности, и сама не имела еще права; Черимова так и обдало жаром посреди знобящей, колючей мокряди.

— И... и он вполне честен в отношении вас, Женя? — непрямодушно спросил он.

Она остановилась и взглянула на него исподлобья. В ее глазах желтоватым отблеском ветреной вечерней зари светились упрек и горькая, обиженная нежность. Вдруг, наморщив лоб, она щелкнула его перчаткой по руке:

— У вас нос стал совсем синий. Он озяб, как беспризорник. Суньте его в варежку и молчите... молчите!

И сразу точно сгинула взаимная их, неестественная настороженность, сразу точно и не было злых этих пронзительных сумерек и временного отступления весны. Сплетя руки и чуть раскачиваясь, напевая вполголоса ту полувоенную песню, которую поют обычно колонны демонстрантов, они шагали прямо по мостовой, и весело им было продавливать на мерзлых лужах тонкий ажурный ледок. Должно быть, светит солнце и в сумерках, потому что весна человеческая делается изнутри.

ГЛАВА 26

Тот же самый вечер в трехстах километрах южнее застал Скутаревского на открытой веранде. Она помещалась во втором ярусе усадьбы, на кровле нижней террасы, и с нее всегда был виден старинный, во всем своем вековом размахе липовый парк. Радиусами от площадки разбегались аллеи, испятнанные почернелым, ссевшимся снегом. Отлого понижаясь, они сводили к реке, которая круглила здесь свое русло, а за ней, на высоком нагорном берегу, ступенчато теснилось сплошное чернолесье. Старый владелец усадьбы обладал достаточными средствами, чтобы даже в этой перенаселенной полосе поддерживать прихоти ради такую романтическую глушь. И хотя,

появись он теперь, никого не испугал бы ни вельможный пропойный бас, ни разузоренный драконами китайский его халат, мужики стереглись почему-то осваивать эти чудовищные просторы. Лес походил на заповедник, и среди прочей живности, по слухам, доживал в нем скорбный век какой-то престарелый, здешнего происхождения черт. Дотошный собеседник мог выведать также при желании, что партизанская орава, гоняясь тут за одним неуловимым мамонтовским осколком, изловила якобы случайно вместо него этот шерстистый предрассудок и целый месяц потехи ради возила его с собой. И таких будто бы вещей насмотрелся он в гостях у них, что поседел до самого хвоста, прежде чем догадался прогрызть свой тюремный мешок... Весь этот пестрый фольклорный ералаш отчасти развлекал провинциальную скуку, в которую окунулся вдруг Сергей Андреич,— все это приносили закутанные в шали и овчины бабы вместе с молоком и яйцами, в лукошках и крынках, на усадьбу.

Отсюда, сверху, в особенности занятно было наблюдать нехитрую, волнительную механику весны. Стихийно и множественно журчало по ночам, и, странно, никогда не сливались в целое эти разрозненные, резвые голоски. Иногда призрачная дымка, из которой родятся стихи и первые, еще неумелые апрельские облачка, заволакивала низинку, и тогда заметнее на плешивых бугорках проступали робкие, как бы прилизанные волоски зеленой травки. Расплющенное, точно после наковальни, но быстро стынущее солнце опускалось невдалеке,— в такие вечера смутно, как в музыке, реял образ юности... расплывчатый и нежный звук, который периодически, как волна, то гаснет, то возникает снова на весенней тишине. Пожалуй, то был первый вечер, когда зелень рванулась на штурм с шершавых, набухлых ветвей; наступила дружная оттепель. К ночи густым туманом стало заволакивать усадьбу, и такова была его плотность, что, верилось, птицы застревали в нем, и самые крылья превращались в плавники. Когда Сергей Андреич вышел на веранду, он не услышал обычной перед ночью птичьей гомозни. Точно уничтоженный, лежал перед ним мир. Даже вороны, к вечернему кружению которых так привык он в последнюю неделю, замолкли где-то в ветвях. Все было тихо, и, если судить по проемам в этом сизом, бесплотном молоке, видимые предметы соединялись совсем по-иному, образуя дикостные сочетанья.

...Он вспомнил другой вечер: садилось солнце, и рядом, в комнате, докашливал свои сроки его учитель, огромная глыба мяса, костей и знаний. Он умер через два дня, не доехав до места, предписанного врачами. Это было на озере Неми, в Дженцано, под Римом. Гостиница, где они остановились, стояла над обрывом, и на противоположной стороне этой розоватой пространственной чаши, полной садов и виноградников, дремал старинный монастырек; в закате он был призрачен, мистичен и мал. Сергей Андреич увидел его впервые из узкого окошка уборной, но запах выветрился за эти тридцать лет, и сохранилось впечатление ясной свежести: жизнь была впереди, и ждали его прихода еще никем не штурмованные твердыни... Пиджак Сергея Андреича просырел, непокрытая голова стала влажной. Стеклянная дверь позади, обвисшая с петель, прошуршала по дощатому настилу веранды: Джелладалеев подошел неслышно и стал рядом, чуть впереди. Сергей Андреич покосился на него с досадой: нечего было в Дженцано делать Джелладалееву. Глаза туркмена глядели сурово и трезво из-под тяжелых век; впервые Скутаревскому было неинтересно, куда они смотрят так, эти слегка притушенные монгольские глаза.

Джелладалеев обернулся.

— Профессор может простудиться: туман! — сказал он с улыбчатой военной четкостью, которая вряд ли соответствовала его тогдашнему настроению.

— Привык, чепуха. Меня извести можно только азотной кислотой, и то лишь мешая ее с разочарованиями.

— Сыро! — И озабоченно окинул взглядом высокие, почти гейхеровой схемы антенные столбы, маячившие в тумане. — Все готово, можно начинать.

Они вернулись в комнаты. Не посвященному в замыслы экспедиции трудно было бы сразу освоиться с тем, что происходило. Была длительная подготовка, стоившая жизней, денег и многолетней борьбы, строились машины, одна непостижимее другой; первоначальная, вполне крылатая идея загрузилась множеством смежных утилитарных задач... и все это средоточилось теперь в одной комнате головоломным нагромождением стали, вольфрама, ртути и стекла. Были потрачены лучшие годы жизни, и любая ярость, возникшая в нем, немедленно переключалась в эти все еще недосказанные моторы... и все это затем, чтоб запустить вентиляционную установку на противоположном берегу да зажечь сотню неярких полуваттных

ламп. Но и эта простенькая иллюминация послужила бы триумфальным украшением для небывалой человеческой победы... Два лаборанта в синих комбинезонах застыли с опущенными руками возле машин; один был хром, он так и стоял, перевесясь на короткую ногу. Они ждали распоряжений хозяина. Третий сдержанно спорил о чем-то с механиком, твердя ему по рупору вниз, откуда неслось слышимое всем телом равномерное гуденье. Моторы уже работали, и здание, не рассчитанное в целом для такой судьбы, слегка дрожало. Скутаревский проверил охладительную аппаратуру, обошел измерительные приборы и у одних бормотал что-то, в последний раз проверяя на память расчеты, у других сердито пощелкивал в стекло, как бы выгоняя стрелку. И Джелладалеев следил за ним; он волновался, как никогда, даже в плену в Джунаида; но был приятен ему этот никогда не испытанный холодок в лопатках.

— Давайте ток,— сухо приказал Скутаревский и, отойдя к окну, прибавил совсем прозаически: — Кто-нибудь ступайте наверх.

Как были — без шапок, они рванулись все трое, потом остановились в нерешительности; потом хромой опередил прочих, и слышны были с деревянной лестнички его сбивчивые, неверные шаги. Скутаревский не обернулся. В окно было видно немногое. Смерклось, и в молоке тумана как бы разболтались жидковатые лиловые чернила. Два черных кабеля временной проводки взбежисто уходили в его гущу. Глиняная ваза с былой куртины высовывалась из-под снега, обок сохлому будылю чертополоха. Все было ясно, расчеты достигали предельной математической четкости. Сперва щелкнула искра выключателя, и секундой позже на низкой боевой ноте загудели трансформаторы. Потом у всех было минутное, необычайное только для Джелладалеева, ощущенье, точно громадные порции жара им насильственно нагнетали в ноги. Скоро это прошло, тогда что-то хлестнуло над крышей — обманчивый шок, происходивший единственно от напряженного ожиданья чуда. Машины работали полным ходом; наверх в антенное зеркало остервенелым потоком лилась энергия. Вибрируя высокой частотой, она срывалась с металлической сетки и дальше шла волною, образуя свирепые магнитные поля и бури. Первичный хаос силы, заключенный в жесткие, властные берега, могуче вонзался в беспредельность. В эфире начинался беспорядок, почти крушение; замолкали телеграфы и визжали радиоприем-

ники... И опять все это было только наивным воображением Джелладалеева. Стало совсем тихо; только единовременный и краткий раздался вороний крик, и снова, внятная всему телу, пульсировала тишина.

Не оборачиваясь от окна, Скутаревский ждал торопливых шагов лаборанта, караулившего сигналы наверху. Шагов не было, и крика о победе не было, ничего не было. Время толклось на месте, и можно было постареть даже за краткий срок этого ужасного смущения. Очень медленно Сергей Андреич повернулся назад; вдоль лица его пролегла черная усталая складка. Едва заметным жестом приказав выключить ток, он раздраженно взялся за трубку телефона. Линия вела на тот берег реки, где в охотничьей сторожке стояли приемные агрегаты.

— Хо-да-ко-ва! — раздельно произнес он. — Ну да, позовите мне эту балду!

Еще он ждал полминуты, кося глаза на черную лакированную коробку конденсатора. Кажется, никто не дышал. Джелладалеев украдкой поглаживал облезлые мавританского рисунка обои, которыми отделан был этот почти танцевальный зал; он гладил и потом украдкой нюхал зачем-то ладонь.

— Слушайте, Ходаков,— вяло — и это звучало хуже ругани — заговорил Сергей Андреич. — Проверьте клеммы... да, и все вообще соединенья. Нет, это лишнее. Что?.. антенну я ставил сам, а вы свою работу проверьте. Через десять минут, по часам, повторяем.

Не глядя ни на кого, он поднялся на веранду. Туман стоял гуще, пропорция чернил в нем стала больше. Из тумана тянулись к перилам скрюченные иззябшие сучья конского каштана. Лаборант, с руками — рукав в рукав, задумчиво перекидывал папироску из одного угла рта в другой.

— Огней не видно,— как бы оправдываясь, заявил он. — И кто-то там зажигал спичку.

— Мерси. Идите, наденьте пальто.

Эти десять минут тянулись нестерпимо долго. Похоже, будто Сергей Андреич боялся возвращаться туда, где решалась судьба не только его изобретения. Его погнал ознобный, пронизывающий холод ночи. Он вернулся как раз в тот момент, когда позвонил Ходаков, виноватым голосом он сообщил, что действительно в переключателе антенны, по недосмотру механика, не было полного контакта. Опять включился ток, и стало происходить главное; всему остальному в мире предоставлялась лишь роль свидетеля. Теперь Скутаревский стоял у

самого пульта, ревниво следя за тем, чтоб накал на лампы задавался не сразу. Медленно раскаляясь, они начинали светиться неопрятным желтоватым светом. Жеманно покачиваясь, стрелка напряжения ползла к своему пределу. Джелладалеев улыбнулся; судя по времени, уже сияли белесо сквозь туман контрольные щиты, но все еще не бежал вниз с ошеломительной вестью хромой наблюдатель, не звонил дубина Ходаков. Чудо не состоялось; возможно, его отменила сама непогода. Скутаревский сам прервал ток и, цепляясь ногами за провода, бросился осматривать механизмы. Все было в строгом согласии с его собственной схемой. Он закусил ус и вдруг, выхватив листок из блокнота, тут же, при свидетелях, чертил рваные какие-то иероглифы, понятные ему одному.

— ...да, но в знаменателе останется то же Q? — вопросительно и бешено прохрипел он, и все слышали эту скорбную, в сущности, формулу его пораженья.

Еще и еще в продолжение той весенней ночи, уже не надеясь на удачу, они пытались докинуть энергию до ходаковского берега. И каждый этот неминуемый провал отнимал у Скутаревского какую-то частицу его уверенности в себе. Да тут еще позвонил этот бестактный негодяй и спрашивал, скоро ли начнут вторично испытывать аппаратуру. Ласково поглаживая рубчатый эбонит трубки, Джелладалеев слал его, Ходакова, ко всем чертям. Ночь стояла за окном, как облако смертное; стекла увлажнились с внутренней стороны. В соседнем флигеле, где помещалось временное общежитье московских гостей, уже чадил самовар на столе, свистел свою песню, потухал, и грел его снова, раздувая сапогом, могильного вида старикан в николаевской папахе, и опять утекало животворящее самоварное тепло. Снова начинали урчать моторы; по хлипкому зданию передавалась их ненасытная дрожь, и старик суеверно качал головой на стену, за которой происходило э т о. В третий раз, не щадя одежды и рук, Сергей Андреич собственнолично лазил вокруг установки и непонятным образом успел вымазать где-то маслом свой нарядный, совсем летний галстук.

— Не выходит... вот сука, не выходит, а?.. — бормотал он, и все более астматическим становилось его дыханье.

То была отцовская повадка — бубнить так, когда не удавалась подборка либо когда расходились швы на подопревших шкурках. И он сам, сын скорняка, замечал это трагическое сходство, и вот его ударяло тухлым воздухом детства — снова

и снова ветер был из-под Тулы!.. — когда все великое таинство науки представлялось ему простым, почти игрушечным шаром, полным колес — как полно всевидящих глаз божество из ассирийской космогонии. Так он ползал вкруг омертвелого своего металла и уже не мог сосредоточиться на обманувших его цифрах. Давление в груди не проходило; что-то замкнулось в нем на короткую,— должно быть, в этом заключалось физическое проявление его смятенья. Весь темперамент, который могущественно толкал его на одоление цели, теперь, после отпора, тянул назад. Уже он сомневался не только в правильности гениальной схемы, но и тех путей, по которым доныне деспотически вел свою науку. И вдруг с тоской, которая реально умещалась где-то в развороте реберной клетки, он почувствовал, что вот жизнь прошла, а он так и не узнал, отчего в конце концов светятся рыбы.

Он вылез, постаревший и черный; он вытер руки о тряпку, которую подал лаборант; он сказал только одно слово:

— Спать.

...Два следующих дня потрачены были на точнейшую, почти заново, регулировку машин. И хотя все стремились поддерживать в себе некрепкую, фальшивую бодрость, никто уж не обожествлял, как прежде, этого безумного, слоем на слой наращенного металла. Было в эти дни тускло и бездельно очень. Дождичком покропило, и, точно у фокусника, на деревьях обнаружились первые липучие листочки. Приходила огромная конопатая баба с лукошком утиных яиц. Звонили с фабрички, у которой брали энергию, с запросом — скоро ли кончат свою галиматью. Скутаревский жалел, что не захватил с собою драндулета... Как-то на рассвете старший механик слышал в парке гугнивое тетеревиное лопотанье. Небо было полосатое; разлинованное лучами восхода, оно, кажется, пахло можжухой. Утро вызревало тугое, рубчатое, весьма похожее на исполинскую тыкву. Ходаков ходил на ток и убил птицу неизвестного сорта. Клочки недавнего тумана и неудачи еще держались в людях. Однажды, внезапно совсем, такое с полудня засияло солнце, что Джелладалеев даже знойную родину свою вспомнил. После обеда он уговорил Скутаревского пойти к реке. Почти болтливый в этот день, он ни словом не обмолвился о случившемся несколько дней назад. Только изредка Скутаревский ловил на себе его зоркий под монгольскими ресницами, мерцающий взгляд.

Джелладалееву нравился этот молчаливый в беде человек. Он вообще любил гордых,— с ними легче переносятся несчастья, а счастье можно разделить и с собакой. За свой недолгий, в сущности, век он повидал много с юношеской поры, когда батрачил далеко за Бухарой, до последней, хитрой и пока еще бесплодной охоты на Ибрагима. Его любознательному разуму нравилась также эта замусленная, с прожелтевшими листами, книга жизни, от которой иные стареют, иные сходят с ума, а он испытывал неодолимую жажду дочитать до конца. Видел он азиатские эпидемии у себя на родине — собаки пожирали трупы, видел безумие голодных стад на оледенелой земле, саранчу и ураганы видел, и никогда еще не бывал в таком тесном соприкосновенье с трагедией науки, перед которой благоговел.

Они прошли по аллее, держась снежной полосы вдоль опушки: ноги прилипали к вязкой глине дорожки. Без умолку болтая обо всем, Джелладалеев ориентировал разговор по случайным, рассеянным репликам Скутаревского. Терпко, хмельно пахло прошлогодним листом; деревья стояли как околдованные и — казалось — с опущенными руками. Везде еще проникало солнце, и оттого изовсюду посверкивали острые ручейные глазки.

— Весна... это когда дуреешь, и не совестно,— не обращаясь ни к кому, значительно признался Скутаревский.

— ...а у нас сейчас,— подхватывал Джелладалеев и, вдруг мешая слова двух языков, принимался за длинное и путаное повествование — о долинах благословенных азиатских рек, где розовыми кострами цветут тамариски, об астрагале и джузгуве, суровых и могучих травах пустыни, и тогда бесплодные, подобно маятнику, качающиеся в веках пески, мнилось, согреты были не солнцем, а его собственной физиологической нежностью к родине, покинутой навсегда. Осмелев, разойдясь, он звал профессора поехать с ним хотя бы на неделю, хотя бы затем, чтоб сесть на корточках у древней караванной дороги, глядеть в мерцающую от жары даль и, запустив пальцы в раскаленный песок, вспомнить весь тот путь, которым шел человек от своей колыбели.

— Я и сам давно уж не был там. А завтра, может, грянет то самое, что грянет когда-нибудь и заметет Джелладалеева. А тебе совсем любопытно будет: с горы виднее! Ты много знаешь. Наш бог, Худдай, знает меньше тебя. И ты отдохнешь. Будешь верхом ездить, дутар слушать, шурпу хлебать! — И нежданно — так кристаллизуется перенасыщенный раствор —

заканчивал вежливо: — Не пугайтесь, профессор: шурпа — это просто лапша ваша!

— Это потом, после... когда все закончим. Черт возьми, истинная жизнь — это когда некогда даже умереть!

На этот раз никто не ответил ему; Сергей Андреич обернулся. Стоя на одном колене, Джелладалеев держал в ладони мертвую птицу. Это была ворона. Ими сплошь был усеян участок парка, где они находились, и какой-то лесной зверек уже принялся лущить их. Следовало пристальнее разглядеть лишь одну, чтоб понять, что случилось и с остальными. Перо птицы было слегка опалено, и птица казалась темнее своей натуральной окраски.

— Бросьте... падаль,— махнул рукой Сергей Андреич, задерживаясь на мгновенье. — Луч прошел несколько низко, а они ночевали тут, в вершинке. Итак, вы объяснили про шурпу, а дутар?..

— Интересно... птичка... я не знал,— вдумчиво твердил тот и некоторое время нес птицу на ладони, то распяливая, то снова складывая мертвое ее крыло.

Потом они сидели на ветхом каменном диванчике и, хотя все благоприятствовало тому, уже не возвращалась к Джелладалееву весенняя его лирика. Он держался любезно и замкнуто; прежняя военная выправка появилась в его плечах. Может быть, и умнее было молчать в это время, в этом месте, поскольку тишина включает в себя все, что можно произнести в ней. Из нагретого камня скамьи приятное тепло сочилось в ноги; она была широка, и ленивый зеленый бархаток мха расползался по ее щербатым боковинам. Мутная, верткая вода подступала к самым ступеням, и такое же возникало влечение ступить на нее, как смотреть в большой, спокойный огонь, или прыгнуть с обрыва, за которым голубые луга и цветы, или, как вчера, коснуться смертельной клеммы, где невидимо струится энергия.

— Значит, принцип все-таки не скомпрометирован? — молвил наконец Джелладалеев.

Вопрос был из тех, которые еще не раз должны были ему поставить в будущем. Скутаревский собрался отвечать долго и сердито — о причинах первой неудачи, о негодности ионизаторов, достаточных лишь в пределах лабораторного опыта, о том, что, может быть, потребуется порвать крепкие сцепляющие резинки в атоме, взорвать, наконец, целый тоннель воздуха и в нем пропихнуть бесшумный электрический поток. Он

не успел произнести и трети: по аллее, прыгая со снежного островка на островок, приближалась Женя. И по тому, как Скутаревский сжался и растерянными глазами, уже не скрываясь перед чужим, глядел туда, Джелладалеев понял, что напоследок судьба дает ему наблюдать старость великого человека,— именно таким, несмотря на все, умещался Скутаревский в его воображенье. Он ошибался: просто сказывалась у Сергея Андреича нервная перегрузка последних дней.

ГЛАВА 27

Чем ближе подходил он к ней, тем тяжелей становилась его походка. От Джелладалеева отошел юноша, а к девушке подошел старик, величественный и хмурый.

Приезд Жени заставал его врасплох; попросту он не знал, что с нею делать. После неудачи, которая в глазах широкой обывательской массы ставила под сомнение весь его научный путь, он готов был анализировать то, что уже неподвластно было грубому механическому расчлененпю. И хотя он жал ей руки, пытаясь согреть красные, иззябшие на ветру пальцы, сам он терялся от мысли — зачем ему еще этим лишним персонажем засорять свой трагический и без того тесный балаган.

— Вы... как?

— Приехала, вот.

— Что случилось?

— Просто так, к вам! — И по глазам видно было, что ждала начальственной, но не очень грозной воркотни.

Он захватил губами ус и жевал его, глядя в сторону.

— Ну, как там? — Конечно, в институте уже могли прослышать о его поражении: Джелладалеев ежедневно отправлял куда-то письма, а родных у него не было в мире. — Что там нового?

— Все в порядке. Николай рассчитал Кассимова за пьянство. Потом его вызвали по делу Петрыгина. Пристройка...

— ...он взят? — жестко перебил Скутаревский.

— Да. У него нашли валюту в полом валу музыкального ящика. Пристройка третьего дня закончилась. Ханшян, возможно, получит премию.

— Да, я читал.

Ясно, она ничего не знала пока о происшедшем, но, значит, и у нее таилась какая-то догадка, если не решалась в упор

спросить о самом главном. Они молча пошли к дому; говорить сразу стало не о чем. Вдруг Скутаревский услышал, как в стоптанных калошах Жени всхлипывает вода.

— Я промокла,— улыбнулась она на его вопросительный жест и невесело покачала головой: — Даже чулки мокрые...

— Вы от станции?..

— Да, шла пешком. Я без вещей. Колхозник запросил сто рублей, он ехал порожняком...

— Сколько вы шли?

— Три часа.

Он замахал руками, зашумел, не давая произнести и слова:

— Тогда марш домой. Надо растереть, да. Черт, такая пора... эти, как их?.. коклюши ходят. — И свирепо тащил за рукав.

Всякое сопротивление взбесило бы его; в эту минуту было в нем что-то от старой, задушевной няньки с бородавкой на щеке. Невольно в голову ей пришло сравненье; тогда, после вернисажа, она также промокла и весь вечер — долгий вечер ребячливых и преступных, так ей мнилось, утех — она высидела с ощущением ноющего холодка в коленях. И за весь вечер Черимов, который сам был в прочных, битюговой кожи, сапогах, даже не поинтересовался, почему она жмется к нетопленной печке и дрожит. Объяснение давалось просто; молодость не боится, и, странно, именно небрежением этим был ей Черимов в особенности близок тогда.

Сергей Андреич притворил дверь и бросил на стулья насквозь просыревшую кожаную куртку Жени.

— Ну, разувайтесь... — грубо закричал он. — Чулки долой!.. и это калоши, это калоши?.. — И неистово совал палец под оторвавшуюся подошву. — Куда вы деваете деньги, которые вам платит институт?.. проедаете на сластях? Вы что, разжалобить меня, что ли, хотите?

В чемодане у него отыскался вместительный флакон с одеколоном; потом оттуда же он извлек жесткую щетку и, стоя рядом, командовал, точно и это входило в обязанности главы института:

— Это почти спирт. Лейте в ладонь, так. Трите щеткой, трите... ступню... докрасна!

— Но щеткой больно! — напуганно сопротивлялась она. — Это же щетка для головы!

— Жарьте, черт с ней: коклюши ходят. Еще спирту. Э, да не так, дайте сюда... — И готов был действовать сам.

Внезапно, раскашлявшись, он отвернулся. Они были совсем наедине, и, казалось, все население дома затаилось в ожидании чего-то. Ноги девушки были голые. Растерявшись от его паники, она вовсе не береглась от его взглядов. И, наконец, даже любительски, он никогда не интересовался медициной настолько, чтоб оправдать свое присутствие здесь.

— Девчонка вы! — рявкнул он напоследок и, сам на себя дивуясь, вышел вон.

Это настроение старческой неловкости в отношении к Жене он сохранял в течение всей этой недели, которую они еще прожили на усадьбе. За весь этот срок только однажды, и то лишь после тщательной перемонтировки, Сергей Андреич попытался произвести эксперимент. Возможно, он пользовался отсутствием Джелладалеева, который лично поехал ругаться на фабричку; тамошние хозяева энергии проявляли досадную нетерпеливость и то возлагали на Скутаревского ответственность за невыполнение промфинплана, то ссылались на участившееся хулиганство в поселке из-за постоянного мрака... Опыт прошел с прежним успехом, и это даже не огорчало. Хромой уехал на тот берег ловить рыбу. Ходаков настолько старательно предохранял себя коньяком от простуды, что и в действительности заболел. Кстати, как-то произошло, в заключение разбили один из тиратронов,— все к одному! Разумеется, пора было бросать бесполезные потуги атаковать пространство, которое оставалось в прежнем, безличном равновесии. Сергей Андреич ходил и щупал свои механизмы; они были холодны, они утеряли тепло, которое он им отдал. Пространство зеленело, наполнялось смутительными запахами, но в ту ночь, когда Женя сама пришла к Скутаревскому, оно было ледяное, с синцой и даже не без оттенка величавой надменности,— это самое пространство!

Луна стояла в чисто выметенном небе, и еще какая-то вострая звезденка делила с нею власть в этой ночи. Было очень удивительно, что в первый раз за последние двадцать лет вспомнил о ней, о луне, об этом романтическом придатке. Луна, которою обычно начинаются всякие истории, у него замыкала полностью завершенный круг. Какие-то незрелые, неполноценные образы засоряли его сознание, и то ли нестерпимое ледяное сиянье, то ли малокровие мозга порождало их. После двух бессонных ночей, пока настойчиво и порою почти на ощупь отыскивал свою ошибку, организм противился сну. Разбеги этих образов лежали где-то раньше, и вдруг начинало

вериться, что о Петрыгине, например, он догадывался давно; всегда, даже в самом ничтожном противоречии сочился из Петра Евграфовича какой-то ядовитый гормон, достаточный, чтобы и эпохальные граниты разъесть. Только при том ироническом отношении к понятию классовой борьбы, которое в целом отличало всю прослойку Скутаревского, даже история с сибирской станцией не пробудила его. Теперь же, наедине с собой и в свете краткого Женина известия, в особом значении представали и мохнатая личность Штруфа, и вселенские махинации шурина. Он вспомнил, как однажды при отъезде за границу Петр Евграфович сунул ему письмо в карман и равнодушно попросил бросить его в ящик в Берлине; фамилия адресата была русская. Он вспомнил и покраснел. А темная их игра в связи с событиями его личной жизни!.. в конце концов его, заболевшего нежностью к этой девчонке, они обыгрывали, как воры подгулявшего фрайера, опоенного марафетом. И тут почему-то всплывал в памяти портрет чужой мамы, залитый ситро и загаженный селедочным объедком. Тогда, дразнясь и негодуя, он задавал себе вопрос, как повел бы он себя, если бы еще раньше, до петрыгинского ареста, обобщил в целое уйму мелких, мимолетных улик. Молчал бы он, деля ответственность за дело, которое сам почитал омерзительным, или...

...Он даже видел этого следователя. У него был крупный, чувственный нос и чернявые усики под ним, точно подмазанные сажей; допустимо, что он был тенью того, которого встретил на лестнице у Арсения в день несчастья. Должно быть, понимал и следователь, кто именно сидит перед ним, и потому держался необычного тона вынужденной и рассеянной вежливости. Он был весь подобранный, без задоринки, и, хотя сидел за глухим письменным бюро, Скутаревский отчетливо видел его синие бриджи и полулаковые, в обтяжку, сапоги. Разговор происходил скорее целыми понятиями, чем словами, и потому хрупкую ткань этого никогда не состоявшегося разговора невозможно было переложить в слишком огрубленные слова.

«Итак... вы были уверены в успехе вашего эксперимента?»

«Да, это легко, но мы не умеем».

«Вы знали, какое значение это может иметь для народного хозяйства?»

«В гораздо большей степени, чем можете предположить даже вы».

«Но опыт, оправданный в ряде предварительных испытаний, все-таки не удался?»

«Да. По уверению Ходакова, на контрольной установке развился некоторый крутящий момент, но при той мощности, какую мы имели на отправительной станции, ходаковское наблюдение... вернее, результат его я считаю недостаточным».

Следовал как бы провал не то памяти, не то воображенья, но зато дальше все шло с полной ясностью:

«Итак, регистрирующих приборов не было. А Петрыгин знал схему вашего аппарата?»

«Не допускаю. В тетрадке, которая пропадала, заключался первый, отвергнутый впоследствии вариант. Выводы и формулы я записываю вкратце: у меня хорошая память».

«Но крупный специалист сумел бы догадаться о путях, которыми вы шли?»

«Но они же были неверны!»

«Это безразлично».

«В таком случае — да».

Опять шел перерыв, и связь нарушалась. Воображаемая комната с глухими дверьми, коврик в углу, закапанная чернилами бюварная бумага — все растворялось в кислотном свете луны. В поле зрения оставались только чужие пальцы с выпуклыми, коротко обстриженными ногтями; они бесшумно барабанили в подоконник, и потом в развитие всего этого возникал завершающий вопрос, уже издалека, и этот голос следователя — был его собственный голос:

«Но почему все-таки опыт окончился безуспешно?»

Потом таяла и рука, и тот же равномерный мутный раствор луны заливал мысленное пространство. Жизнь, придававшая движение ему, была такова: кошка, крадучись, пересекла лунное поле за окном,— она была худее своей тени. У черной опушки парка она сделала крутой прыжок, и тотчас же тишину пронзил ее ранящий вопль. Ей ответил другой, точно такой же; ее взъерошенный любовник был размером с песца. Тени сблизились, Скутаревский отвернулся. И в ту же самую минуту вошла Женя; старательно, всем телом, она притворила за собой дверь. Он рассердился бы, если бы она неоднократно не предваряла возможности своего прихода букетиком подснежников; ей приходилось долго блуждать за ними по парку, и в то утро он нашел у своей кровати всего четыре цветка в скоробленном кленовом листе. Тот же, что и тогда, на аллее, полной солнечных пятен и ручейков, был смысл ее появления, оттого и диалог их остался тем же самым:

— Вы ко мне?

— Вот, пришла. Не спится.

Он усмехнулся зло:

— Что ж, жалко стало?..

— Нет, просто так. — И в сторону глядели ее чуть озабоченные таким приемом глаза.

— Ну, садитесь, и давайте говорить. — Они сели друг против друга, и потому, что это очень походило на прием у врача, Скутаревский спросил басовито, приглаживая усы: — На что жалуетесь?

Она засмеялась, и смех звучал подбито; ей не понравилась его шутка.

— Расскажите... что вы хотели и что вам не удалось.

— Я не умею.

Она все узнала; уже упаковывали наиболее ценные приборы, и то, что оставалось посреди бывшего машинного зала, более походило на груду металлического трупья после Пантагрюэлева побоища. Именно жалость и неясное сознание своей вины заставляли ее преувеличивать степень поражения Скутаревского; даже и теперь ценность некоторых его побочных достижений никто не посмел бы подвергать сомнениям. Но ей потребовалось собрать все скудное женское великодушие, чтоб притащить ему в каморку свой простенький, розовый еще, провинциальный венок победы. Во всяком случае, отдать себя ей было легче, чем дать веру в конечное осуществление его замыслов. И теперь, когда думала о нем, он представал в ее воображении не прежним, командармом электронов, видным за тысячи километров, а одиноким сгорбленным человеком, который посреди страшной ночи держит на ладони светляка с мучительным бессилием разгадать, почему это?

Скутаревский смотрел на нее пристально и строго; она заволновалась. Следовало немедленно и любым образом объяснить свой приход сюда.

— Мне кажется... вы можете считать, что я люблю вас. — И сидела, вся дрожа и покорно сложив руки на коленях.

Он продолжал молчать, но тень какой-то беспощадной насмешливости прошла в его лицо. Она повторила еще тревожнее:

— Если вы хотите... то живите со мной!

Скутаревский отвел глаза к окну. Было тихо. Глухая ночь благоприятствовала преступленьям, и даже Джелладалеев не узнал бы ни о чем. Непроизвольная гримаска скользнула в нем и замерла где-то в пальцах.

— Вы дитенок, Женя,— засмеялся он, чуть отодвигаясь в сторону. — И не грызите ногтей!.. знаете, я не создан для лунных происшествий. Я старый, равнодушный человек, и никаким стихотворением не прошибить меня. — Он задержался, сцарапывая какое-то пятнышко с колена. — Поэзию я всегда считал забавой лживых, бородатых младенцев. Детство мое не благоухало. В жизни я шел слепой,— так живут лошади в шахтах. Я работал, изобретал всякие штучки, но жизнь я прожил наедине. Жена мне не мешала в этом. Сын? Это даже не оплошность, это неряшливость... всякий отец, черт возьми, имеет право на такое жестокое слово! Я холостяк-с, я даже цветов гнушался, и надо признать, вы родились из меня в тот самый миг, когда во мне умер я прежний. Знаете, новые идеи никогда не поселяются на падали: они как полевые цветы...

Ее трясло раскаянье; она сказала сломанным голосом:

— Я не понимаю, что вы говорите...

Его нижняя губа брезгливо выпятилась:

— Проще — значит площе. Я не имею права на вас, дорогой товарищ. Будучи нелюдимым, я прожил одиноко. Такое состояние продлится, по-видимому, и впредь. Наверно, я умру один. Меня похоронит милиция. Гроб оклеят красненькими обоями. Черимов, если ухитрится сбежать с заседания, скажет благоразумное слово о попутчике, которому приспичило вылезать на таком неказистом полустанке. Вы застудите ноги на похоронах и получите насморк... Я приказываю вам купить новые калоши! — И устремил на нее длинный палец. — Фагот мой полгода провисит в комиссионном магазине, потом его уронят...

— Это неправда, неправда!.. — закричала она, хватая его руку.

— Вот, знаитя, и все,— заключил он, нарочно исковеркав слово. — Мой вам совет, товарищ, сойдитесь с кем-нибудь еще.

Некоторое время она еще сидела, склоняясь на сторону со стула. Так сидят убитые — перед фотоаппаратом судебного врача. Спазма жгла ей горло. Вдруг, как бы вспомнив что-то, она быстро поднялась и пошла в глубь комнаты, но внезапно повернулась и ринулась в дверь. Лестница в верхний этаж, где ей отвели кровать и угол, приходилась над самой его койкой: ее ступени служили потолком в этой тесной, гробовой нише. Шаги звучали, срываясь, через ступеньку, похожие на всхлипы; они были такие, точно комьями кидали на него плотную, могильную глину. И верно, маленький осколок старой,

рыжей шпаклевки свалился ему на колено. Скутаревский лег поверх одеяла и лежал, следя, как ореольно светится в луне его ботинок. Выпихнуть Женю из комнаты оказалось много легче, чем из памяти, но он-то знал, что поступил правильно. И он не того боялся, что завтра же целая сотня лицемерных и ревнивых глоток гаркнет хором — «вот он, глядите, палач, который взял юность Жени!»: о том, что произошло в его отсутствие между Женей и Черимовым, он догадался сразу! — он просто страшился увидеть себя еще раз, уже иного, в ее расширенных, обезумевших зрачках.

Вдруг он поднялся и огрызком карандаша на форзацном листке книжки чертил свои знаки, тангенсы, логарифмы и греческие буквы, и опять распялепным рыбьим ртом зияло в знаменателе то же самое Q. Ошибка его диссертации на вечность, которую мысленно писал столько лет, таилась в самом начале ее... Луна передвинула свои тени и пятна. Совсем рядом, над головой почти, раздался страдальческий крик кота. Тогда, облизав иссохшие губы, Сергей Андреич комком прикорнул на койке и на этот раз заснул сразу, крепко, как у окопа оставшийся неубитым солдат.

ГЛАВА 28

Экспедиция вернулась в последних числах апреля обычным пассажирским поездом и уже без тени той таинственной торжественности, которою сопровождался отъезд. Не оправдавшая себя аппаратура, багаж бездельников, ползла где-то малой скоростью, потому что в самом разгаре была посевная, и по дорогам сплошь двигались сельскохозяйственные грузы, тракторы и зерно. На вокзале приезжих встретил Ханшин и, точно так же как и Женя несколько дней назад, ни словом не обмолвился о неудаче, уже прошумевшей на Москве. Стараясь не глядеть в переутомленное и более чем когда-либо высокомерное лицо хозяина, он шел чуть позади: жердистые ноги его слегка пришаркивали. Казалось, он стал еще длиннее, потому что шубу уже сменил на пальто — ветхое, многократно проштопанное неумелой рукой жены и слишком уж, не по-летнему даже, короткое пальто. Почему-то все глядели на него, на его проглянцевевшую от времени шляпу, на треснувшие по сгибам, но до блеска отчищенные ботинки: в таком стиле одеваются благородные нищие за границей. И только потом замечали

Скутаревского; он шел с поднятой головой, глядя прямо перед собою и, может быть, не видя ничего: так отправляются в изгнание. Значительно отстав, мелко пришепетывала подошвами смущенная его свита. Кстати,— Жени не было среди них; она уехала на сутки раньше вместе с Джелладалеевым... Шофер, все тот же Алексей Митрофаныч, со сконфуженной вежливостью приподнял фуражку, но, сказать правду, требовалось много усилий и тренировки, чтобы изобразить участливость на таком неподходящем инструменте, каким являлась беспечная его, удалая рожа.

— Ну, как у вас тут, в пучинах научной мысли? — громко спросил Сергей Андреич, шумно влезая в машину, и, когда Ханшин попытался подать ему единственный и тяжелый чемодан его, прибавил чопорно и резко: — Не утруждайтесь, благодарю вас,— и сам одной рукой втянул свой багаж в кабинку.

— Но я же моложе вас! — с упреком сказал Ханшин.

— Тем более опрометчиво тратить свою молодость на такие безделицы.

Все три его реплики били по Ханшину, и неизвестно еще, которая больнее. Ханшин покраснел, стал сморкаться, и даже шофер понял, что это только для отвода глаз. Усаживались, не произнося ни слова. Часть сотрудников поехала на трамвае. В целлулоидных окошках, забрызганных дождем, прыгала Москва. Она была неузнаваема сегодня. Впервые, может быть, за два века так основательно перекраивали щербатую московскую мостовую, сдирали с нее грубую булыжную дерюгу, свидетельницу и летопись первых мятежей и поражений, всегда напоминавшую о мелком, сыпучем, слегка захлебывающемся цокоте казацких эскадронов по ней. Улицы сплошь были разворочены под брусчатку,— Алексей Митрофаныч ехал переулками.

— Большевики-то! Матушку-то, Москву-то... — усмехнулся Сергей Андреич.

Кажется, Ханшин понял это как приглашение к разговору.

— О делах института переговорим сейчас или позже? — сдержанно спросил он.

— Дайте мне хоть умыться с дороги! — бросил Скутаревский и снова обернулся к окну.

Беспорядочная московская толчея происходила в окне. Хлебная очередь, верблюжий горб напоминающая очертаньями своими, жалась от непогоды к стене. Лужи рябились среди свежих, только вчера насыпанных холмов. Машину качало

на них, как шлюпку в бурю,— Алексей Митрофаныч чертыхался и скорбно, заедино с рессорами, вздыхал. Общей перестройки не миновали и переулки; их ковыряли ломами, дырявили автоматическими сверлами, их покрыли траншеями для бетонных труб новых коммунальных сооружений. Чернее ила, плотнее камня был песок под столицей; и еще,— даже профильтрованная сквозь века,— сильно пахла древняя московская история. Иногда обломками гнилого сруба, кубышкой бородатого скареда или грудой костей и черепов проступала она здесь, и людям некогда было обменяться по поводу их молчанием или тем шекспировским вопросом, каким принято встречать такие находки. Но как раз одну такую желтую костяную чашу, края которой обгрызло время, держал в руке землекоп и улыбался. Волосы взмокли на нем — от пота ли, дождя ли; он устал, и Скутаревский наделил его мыслью: измена, разлука или верность сводили с ума когда-то эту голову?

— Участие Ивана Петровича в петрыгинской банде доказано? — скороговоркой осведомился Сергей Андреич.

— Полностью.

— Черимов здесь?

— Он на два дня уехал в Ленинград.

— Большую премию получаете?

— Я отказался от нее.

Открытой враждебностью пахнуло от честной ханшинской откровенности. Скутаревский умолк, потому что все сильнее, по мере приближения к дому, становилось ощущение загнанности и одиночества. Судьба его мнилась в образе серого сараистого здания, каким виделся ему уже сквозь изморось главный корпус института. Машина содрогалась на деревянном настиле, последнем остатке московского средневековья; грязной жижей так и стреляло из-под лохматых и полусгнивших пластин. Скутаревский вышел первым и подумал, что небо изгнания — всегда пасмурное небо. Мокрый старик в громадном угловатом брезенте почтительно поклонился директору, прибывшему из командировки. Он кланялся так низко, точно прощался или в землю хотел закопать знающие свои глаза.

— Здравствуйте, сторож,— хрипло и важно произнес Скутаревский, кося одним глазом в сконфуженное лицо старика. — Ну, что нового?

Была подозрительна неуместная болтливость сторожа:

— В порядке-с. Вот, улицу начали мостить... А еще вчерась, произошло, ходил весь день, а в валенке мокро. Думаю, с чего-бысь промокнуть? Вечером, судите сами, снял-с, а там, оказуется, мышь заполз. Уж так надо мной смеялись...

Дождь заметно усилился, барабаня по брезенту старика, и в лицо Скутаревскому летели мелкие отраженные брызги. Он продолжал стоять и слушать о необыкновенных подробностях мышиной гибели, стараясь вникнуть в оттенки чужого, насильственного веселья. И рядом, сутулясь и разглядывая пузыри на лужах, молчаливо мокнул Ханшин.

— Да, это редкостный случай! — сказал наконец Сергей Андреич и медленно пошел вперед, чуть прихрамывая, потому что отсидел ногу за длинный путь от одной окраины к другой.

...И вот дверь закрылась. Оставшись наконец один, он разделся и придирчивым оком осмотрел свою каморку. Неприметной пленкой всюду налегла пыль. Раскрытая книга свешивалась с края стола. Он заглянул в нее; то была брошюра о высоких частотах того самого английского коллеги, с которым изредка, в год по письму, но зато написанному с латинской монументальностью, переписывался Скутаревский; это его сигары, через посредство стольких рук, получил наконец безвестный ударник Федор Бутылкин... На столе, он только тут приметил, остался след чьей-то маленькой руки: женщина стояла тут, опершись в край стола. Слишком мало было вероятья, чтоб сюда, понюхать место его нового несчастья, приходила в его отсутствие жена. Тогда он допустил неприятную и бездоказательную догадку: Женя! Не сходилось только в мелочах: кажется, девушка не знала английского языка, и еще меньше тот предмет, которому посвящалось содержание книги. Значит, она приходила проверять его, значит... Он позвал гневно: «Женя!» Ничто не отозвалось ему ни снаружи, ни изнутри; девственное это слово уже не доставляло ему ни радости, ни покоя, как будто иссякла его магическая сила.

...Висел фагот. Скутаревский сдул с него пыль и украдкой от самого себя приложил к губам. Звук был мерзкий, и даже простенький Д ж е м м и не удавался пальцам, недвижным, как мертвецы. Клапаны немотно и немощно жевали воздух, точно умер маленький злой человечек, населявший волшебную эту трубу. Скутаревского спугнул затаенный стук в дверь: пришел бухгалтер подписывать чеки.

— Ну, наконец-то! — в радости завопил он и притирал редкую волосяную паутину, облеплявшую его затылок. — И, между прочим, совсем лето!

— А по-моему, дождь идет,— откликнулся Скутаревский, перебирая цветные бумажки. — Что это?

— А тут расплатная ведомость по перестройке. А это ассигновки заводу... мы задолжали, потом я заболел, а Николай Семенович тем временем уехали. Знаете, без хозяина и железо-то вдвое ржавеет... Как съездилось?

— Мерси, недурно... — И с отвращением смотрел на желтые, верткие, прокуренные пальцы, подсовывавшие ему бумагу. — Ну, что вы задумали?

Тотчас, услужливый и вострепький, обдергивая тощий москвошвеевский пиджачок, бухгалтер засуетился, попросил особого слова, и уже по одному виду его, происходившему от секретности и вдохновения, Сергей Андреич понял, что тот прибежал с доносом. Был он от роду незадачлив, бездарен и убогую карьерку свою мастерил как умел.

— Сядьте,— брезгливо сказал Сергей Андреич и даже указал пальцем,— вот тут сядьте...

Так и оказалось: сбирались тучки, кое-кто уже метил на высокое скутаревское место. «Знаете, Сергей Андреич, травка на порубях и дубки обгоняет!» Бухгалтер чуть не плакал от задушевности; по его словам, какие-то ватаги недоучившихся молодых людей действовали сообща, ходили дюжинами, кидались под ноги Скутаревскому, со спины били, выступали только хором и с лихим доносным удальством миражили в глазах у высокого начальства. Они, на великое размахнувшись, якобы и Арсения Сергеевича вспомнили, и Петрыгина приплели...

— Дела-то какие, Сергей Андреич. Уж они пролетарскую физику выдумали и под этим соусом Ньютона прорабатывают. Галилея на прошлой неделе так разносили, что и на суде ватиканском так его поди не чистили!

...Объяснили неудачу преступным замыслом, Женю мазали дегтем и, наконец, отыскали двух отступников в стенах самого института, которые, хоть и под присягой, подтвердили бы небывалый зажим самокритики со стороны директора, распутство совершенно римского масштаба и вдобавок застарелый механистический уклон. По институту ползли темные слушки, будто по этому поводу уже сдана в газеты разносная статья и будто тотчас по напечатании ее Скутаревского снимут с руко-

водства институтом. Мотивировалось это, однако, вовсе не тем, что теперь, в подмоченном виде, он уже не годился стоять во главе научной армии, а якобы необходимостью сохранить время Сергея Андреича целиком для научной работы... Скутаревскому становилось жарко и противно; изредка взглядывая на пляшущий рот бухгалтера, он молча рисовал какие-то равнобедренные треугольники по пыльной глади стола.

— А не врете? — бледными губами спросил он вдруг, и лицо доносчика стало сразу такое, точно ему пообещали расстрел. — Ну ладно, давайте... что еще там у вас?.. Деньги в Харьков перевели?

Посещение все же вернуло его к действительности. Тоненькая бухгалтерова ложь кое-где припахивала правдой. Еще минуту по его уходе он сидел, как пришитый к месту, и вдруг распрямился. Газетой, смоченной из чайника, он смахнул пыль, и в мокром глянце подоконника сверкнула рассеянная предмайская просинь: погода разгуливалась. Потом он мылил щеки и выскребал рыжее мочало, наросшее на них. Ага, его обходили! Он вымылся и вышвырнул из шкафа другой костюм, поновее; пухлая белая плесень на вздувшемся кармане привлекла его внимание. Это был тот самый пиджак, в котором он навещал Арсения перед путешествием сына к Гарасе. Мандарины сгнили, и коричневатая жижа в тонком и длинном пушке — вот все, что осталось от сына! Вывернув карман наизнанку, он выскребал ее ножом оттуда, все еще припахивавшую апельсиновой коркой; пригодились остатки теплой воды от бритья...

Заодно, сразу вступая в разгон запущенных дел, он сделал в этот день первый обход своего хозяйства. Опять он шел,— бегло, как страницы, листая лаборатории. Он поднимался по лестницам, спускался в просторные, облицованные кафелем стойла машин и всюду видел одно: люди ходили как приторможенные. Как и прежде, почтительный шелест катился перед ним, но провожали его шепотком и перемигиваньем. Искали знака обреченности, признака скорого падения, которым, впрочем, заканчивает всякая звезда. Все это находили в той сонливой величавости, какая дается только глубоким старикам. За весь свой путь Скутаревский не отдал ни одного распоряженья. Дверь в свой кабинет он открыл рывком; в этой комнате, застланной линолеумом и с круглым башенным окном посреди, родились его беспримерная гордыня и жажда соревнования с потомками, которые вот он ездил хоронить в соб-

ственных обломках своих. Все было по-прежнему, и Ленин из дубовой рамы щурился на судорожное хожденье Скутаревского. Женя сидела на том же месте, где он оставил ее перед отъездом, в белой блузке и над кипой спешных бумаг: ничего не произошло. При его появлении она поднялась, и был безмерно понятен ей его сухой, начальственный кивок.

— На три часа разговор с Ленинградом,— приказал старик. Рука его бесцельно барабанила в гладкое, холодное стекло. — Завтра же с утра доклад Ханшина. Делегацию американских шкрабов отменить. Я не папа римский, и дом этот не музей наглядных пособий. Так и скажите им... вы, кажется, знаете по-английски?

— Я учусь,— ничего не подозревая, ответила Женя.

— ...Черимов?

— Он приезжает завтра... От него получена телеграмма о полном согласовании плана параллельной работы с ленинградским филиалом. Тут накопилась корреспонденция... — И подала целый ворох писем, проспектов, журналов и брошюр.

Так они и остались лежать нераспечатанными. Скутаревский писал, марая листы, кряхтя и бормоча себе под нос: повидимому, удавался ему стиль бумаги, которую сочинял. С жадностью губки она вбирала в себя отравную скверну его тогдашних настроений.

— ...и потом позвоните Вилькинду и скажите, что я не согласен с приказом номер двести четыре. Могут выметать меня железной метлой!

— Слушаю.

Буря продолжалась; выражения менялись в лице Скутаревского — так по тенистой болотной черноте бегут прорвавшиеся сквозь грозовое облако лучи.

— ...калоши купили наконец?

Она опять приподнялась; озороватая ласковость его плохо вязалась с образом того, кто обидел ее накануне.

— В кооперативе не было моего номера.

— У вас большая нога?

— Нет, но я не ношу туфель на французском каблуке.

— Великолепно-с!

И опять писал, щурясь, причмокивая, покручивая бородку так, словно совсем сбирался вывинтить ее с места.

Утром приехал Черимов, и Сергей Андреич вручил ему свое рукоделье, когда тот забежал к нему поздороваться. По-

сланье и по почте с успехом могло достигнуть адресата, высокое наименование которого заставляло быть кратким и осмотрительным. Черимов быстро пробежал его глазами и, досадливо крякнув, с самым покорным видом присел на стол. Он очень торопился; то был бешеный день партийца, ответственного за громадное предприятие, но это, ребяческое по существу, обстоятельство заставило его временно отбросить все другие дела. Литературное творчество Скутаревского всегда отличалось скупостью; за два часа только восемь гневных и горьких строк изошло из него. Заявление Сергея Андреича заключало в себе просьбу об отставке.

— В чем же дело, Сергей Андреич? — И сидел, смирно сложив руки на коленях.

— Спешу, пока не выгнали!

Черимов грустно потупился, чувство юмора редко покидало его. Вместе с тем Скутаревский походил на обожженного и завопил бы даже при самом осторожном прикосновении. С терпеливым и задумчивым видом Черимов разорвал конверт и наискосок, одну за другой, отрывал узкие ленточки фиолетовой подложки.

— ...так чего же вы молчите? Я надеюсь, пенсию-то мне дадут! Домов я не нажил, брильянтов не накопил. Гоните меня, гоните, пролетарская физика!.. и уж если в профессора не гожусь, так в сторожах сойду. Уж во всяком случае, исправнее буду этого вашего Зайкина, который ногами мышей давит в валенках!

Из одной полоски Черимов успел свернуть тоненькую трубочку, наподобие лучинки, а из кармана извлек костяной мундштучок.

— Да-с! — наступал Скутаревский. — На вашем месте я написал бы донос на меня. Одним ударом можете соорудить карьерку... кстати, это практикуется! Опыт-то все-таки не удался, а почему? А может, я нарочно?.. А может, я не желаю давать вам в руки э т о? Иван Петровича помните? — И зловеще подмигнул округлившимся глазком.

Трубочкой Черимов чистил мундштучок и делал это с демонстративной почти откровенностью. В сущности, он был беззащитен в эту минуту. Конверта как раз хватило, чтоб вычистить беззатейную костяную штучку до конца. С видимым удовлетворением он положил ее в карман.

— А заодно с институтом берите и Женю: наши с вами карты ясные. Вам пора семью, уверяю вас. Сын будет, удо-

вольствие будет... себя в нем, как в зеркале, станете узнавать. Ну вот, я кричу, а он смеется! — И растерянно развел руками.

Черимов и вправду не мог сдержать усмешку.

— Вот, курить я из-за вас начал, Сергей Андреич. Отравляюсь никотином, юность свою укорачиваю...

— Так, пошучиваете. А енисейскую-то линию придется тянуть на проводах.

— Но мы же верим вам безусловно, Сергей Андреич. Мы довольны уже тем, чего вы добились. И мы уверены, что вы станете продолжать вашу работу.

Скутаревский снова взорвался, но, кажется, это были уже остатки:

— Но я не могу сам! Я беден, а мои машины стоят денег. Я не имею личных средств. Я гол, молодой человек, и теперь я уже не дал бы вам пары штанов...

— Не к Аэгу же вам обращаться за субсидией. Да заграничные фирмы вряд ли и дадут на науку столько, сколько сможем мы даже в конце этой пятилетки. Слушайте, я говорил уже кое с кем. И потом, я устрою вам свидание с...

— Чушь!.. — И весь в пятнах отошел к окну. — Брать больше денег я не смею. Я тоже знаю, какие это деньги, молодой человек. А потом меня, как Ньютона, четвертовать станут!.. Но я еще живой, я еще сплю пока не в урне, а в кровати. Я не дамся на себя ярлычки наклеивать. Крови, что ль, они моей хотят?.. так ведь стар я, и кровь моя не сытная. К черту, в сторожа! — Он передохнул, что-то замкнулось у него в груди; потом он сел, легкое удушье не прекращалось,— это было только начало будущей его астмы. — Имейте в виду, что и впредь я буду ставить это центральной проблемой института. И я гайки в этом доме еще потуже подкручу.

— Ну вот, и правильно! — обрадовался было Черимов и, взглянув на часы, стал слегка потягивать на себя дверь. — Вот и действуйте, Сергей Андреич...

Тот не унимался:

— Разумеется, мы задолжали... и вы думаете, что вы с Ханшиным расплатились? Чепуха-с, молодой человек, фанера-с! В социализм идут не такими шагами... уж если идти. Социализм — это человек во весь рост, это человек, уже навсегда вставший с четверенек... и только там гордо будет звучать это слово — человек! А вы элементы Лекланше изобрели, чересчур жизнерадостный вы мой товарищ академик!

Как бы махнув рукой на просроченное заседанье, Черимов властно и дружески притянул к себе учителя.

— Успокойтесь вы, добрый и взрывчатый мужик,— сказал он тихо и с такой пронзительностью, что обмякла разом в Скутаревском вся его обида. — Лезете вы на рожон, замахиваетесь на меня, но я же кроткий человек, и обидеть меня легко! — И опять смеялся, не выпуская плененной его руки. — Я знаю, вам больно сегодня. Но даже если и не вы, так другой двинет эту несбыточную штуку вперед.

— К черту, я никому не намерен переуступать своих прав!

«Как медленно растут в старости, и с каким страданием это сопряжено,— думал Черимов,— и то, что в молодости легко и просто, какой свирепой трагедией развертывается в старости!» Он додумывал уже вслух:

— Занятно, что, если бы мы сегодня победили окончательно, вы были бы совсем наш, но догнать нас было бы вам во сто крат труднее. Догоняйте же, Сергей Андреич, догоняйте пока...

Их разговор затянулся, и даже легкий оттенок задушевности, непривычный обоим, появился в нем. Не подозревавший в себе таких талантов, Черимов только диву на себя давался. Ханшин дважды подходил к кабинету и безуспешно дергал запертую дверь... Заодно уже, пользуясь обстоятельствами, Черимов попробовал уговорить старика выступить на заводском собранье: в текущем месяце завод перезаключал свой шефский договор с институтом. Над этой новой формой революционного сотрудничества Сергей Андреич всегда, хоть и благодушно, посмеивался.

— Лекцию им, что ли, читать? Так ведь не поймут.

— Не то,— подталкивал Черимов. — Это только предмайское общезаводское собранье ударников. И не лекция им нужна, а слово ваше, появленье ваше. Вот вы и расскажите им про семимильные шаги в социализм.

— Не умею, я подумаю... я ругаться с ними буду насчет того трансформатора! — сообразил он вдруг, высвобождая руку. — Кстати, чуть не забыл,— он сделал вид, будто не замечает, как заливает краска черимовские щеки,— Женя заявила мне вчера, что уходит. Ей предлагают койку и харч в вузовском общежитии...

— Да, я слышал,— сказал Черимов, кутаясь в облако табачного дыма.

— Ей надо прежде всего учиться. А институт дал ей слишком много нагрузок... Я не возражаю против ее ухода. Распорядитесь о моем новом секретаре!

— Хорошо,— сказал Черимов.

ГЛАВА 29

И вот, через два дня она пришла к Скутаревскому проститься. Она совсем не видела его эти дни. Как когда-то в молодости, он забирался теперь на ночь в лабораторию, теперь уже не один, а с тою сплоченной группой учеников, которых собрала его увядающая слава и которые остались верными ему. В этот день, ввиду предстоящего майского праздника, занятия прекратились с полудня, и в здании института стояла запустелая тишина. Два исполинских иллюминационных транспаранта с лозунгами пятилетки зажглись на соседнем корпусе, и, когда Женя шла к Сергею Андреичу, всюду, где она проходила, на столах, стенах и приборах светился мерцающий, размноженный никелированными поверхностями и стеклом багрец. У малого высоковольтного зала, откуда пересекающимися треугольниками выступала световая кулиса, она постучала. Ей навстречу вышел тот хромой ассистент, который заместил собою Ивана Петровича. Он мельком недоброжелательно взглянул на нее и ухромал вспять.

— Мне Сергея Андреича на минутку,— вдогонку ему сказала Женя.

Тот вышел через секунду в жилете, без воротничка и с нетерпением, которое заранее обрекало на неудачу задуманный ею разговор.

— Я пришла поблагодарить. — Она смутилась его гримасы, выражавшей степень раздражения за прерванную ради пустяков работу. — Федор Андреич звонил насчет машины. Он едет сегодня...

— Отлично. Дальше!

— Все бумаги я сложила на столе в углу. Сверху два немецких письма требуют срочного ответа... это по поводу аппаратуры, которую мы заказывали.

И опять Сергей Андреич с видом учтивого терпения переступал с ноги на ногу.

— Я ни в чем не виновата перед вами. Я так хотела помочь вам...

Он топнул ногой:

— Вам непременно нужно, чтобы я подтвердил вам это?.. или вы думаете, что ничего не случилось бы, если бы новым козырем в игре не упали вы? Вы мой миф, Женя, миф, попавший в машину. Вы пришли, и вот вы уйдете!

— Но мне жалко уходить отсюда...

— Вам предоставляется право вернуться сюда через десять лет, как вернулся Черимов. Учитесь, ищите в жизни свою семерку... Меня вы не застанете, наверно, но будет кто-нибудь другой. Все благополучно. Я тороплюсь... Возьмите машину, если надо!

— Я на трамвае, у меня мало вещей...

Он ушел, оставив ее в темноте и на полуслове. Хромой пробежал мимо нее, падающий и быстрый, как гном, таща какой-то размером со свою голову стеклянный шар. Женя все стояла, потом медленно пошла, и сразу все на ее пути, чему она по-детски еще совсем недавно сообщала души и раздавала имена, теперь приобрело холодную машинную величественность. Она стала чужой здесь, она ошибалась всегда: здесь никогда не было мечтанного сада, не было и сохлых хотя бы деревьев здесь; от века тут была пустыня, и на песке ее, среди математических письмен, начертанных ветром, лежали и зрели моторы, лысые, вычурной формы колбы и какие-то механические уроды — рабы, которых пошлет на одоление природы освобожденный человек. Она шла, изредка останавливаясь и слушая эхо своих шагов; она шла, и никто не догонял ее, чтоб вернуть.

Только через полчаса Сергей Андреич заехал за братом, и похоже было на то, что время свое он планирует не по предстоящему заседанию, на котором должен был выступать, а по отходу поезда, на котором к Кунаеву уезжал Федор Андреич. С чемоданом и рюкзаком за спиной тот ждал его на тротуаре, у фонаря.

— Садись, эй, странствующий артист! — закричал Скутаревский, распахивая дверцу. — Где же твои мольберты, подрамники?..

— Кунаев дает все... он, чудак, потребовал, чтобы я ехал к нему почти голый!

Машину затирало толпой. Уже с вечера беспорядочным пока гуляньем начинался предстоящий праздник. Темной угловатой вереницей текла толпа. Алый жар струился вниз с электрических щитов; их было много, и целое багровое половодье

поднималось в небе над центральной частью столицы. И не свежим воздухом, идущим от прозябающих за городом полей, знобляло, а тем, пожалуй, волненьем, которое внушает всякая, монолитно движущаяся, объединенная одним очень простым словом толпа. Было глуховато и торжественно; просунув руку, Скутаревский отстегнул оконную слюду, и смех, смешанный с задиристым треньканьем струн, стал вплетаться в почти непрерывное гуденье автомобиля.

— Сюда не хватает оркестров и красок, которые еще надо изобрести. Со временем это выльется в форму небывалого карнавала, и... это новое просвещенное язычество, идущее на землю, я благословляю, брат! — И Федор покосился на Сергея, но тот слушал внимательно. — Знаешь, я почти вижу эти гибкие, цветные ленты народа, который пляшет, веселится и поет. Май — это день обновления и свободы, это праздник роста и сева, это торжество молодости и неукротимой веры в свои силы... На одной из кунаевских стен я сделаю это шествие новой весны!

Скутаревский иронически покачал головой:

— Что с тобой сегодня?

— Да, волнуюсь. Это очень трудно, начинать сначала... Я боюсь...

— Кунаева?

— Нет, себя. Я не хочу сделать мало, а много — я не вижу для этого ясности в самом себе. Знаешь, всегда художник пользовался полуфабрикатом, который ему поставляла заслуженная, испытанная фирма: жизнь. Сегодня он стоит перед взорванными и разрытыми карьерами, которые еще дымятся. Его сырье сегодня — первородная руда; надо долго сушить ее, сортировать, сплавлять, чтобы сделать ее послушной руке ваятеля. Вот почему, Сергей, даже малое неуменье сегодня звучит как преступное косноязычие.

— Ага, душа, значит, отступает перед разумом! Что ж, твори... Только без кипарисов, без позолоты,— одуванчиков и честности побольше!

Они стояли друг против друга на перроне, как много лет назад, но оба уже с седыми висками, старики, и прежняя тема их повторялась почти дословно. Сергей Андреич взглянул на часы; заседание на заводе длилось всего только час, и поезд Федора отходил через две минуты.

— Итак, что же ты будешь делать у Кунаева?

— Не знаю. В договоре стоят — полдень, стройка, баррикада, шествие, весна, то есть все те эпосные слова, которыми класс начинает свою историю. Но внутри себя я вижу только массу пересекающихся линий, из которых одни идут вверх, вырастая за пределы моих картонов, иные бьются на месте, затухая в агонии, иные идут вниз, чтобы уступить место новым, которым дано просечь великие пространства впереди...

Поезд пошел быстрее, Сергей Андреич шагнул вперед:

— За тобой долг: сделай мне воспоминание, о котором я просил тебя!

— Да... — и махнул рукой.

Истратить вечер так, чтобы не осталось вовсе времени для выступленья на заводе, не удавалось. Опоздать туда оказывалось еще труднее, чем убежать от самого себя. Судя по тревожному, все более усиливающемуся ощущенью, заседание там, куда он такими окольными зигзагами направлялся, все еще продолжалось. Но даже давая адрес шоферу, он мысленно приказывал ему не торопиться, и тот понимал его полунамеки. И правда, ломило в затылке после целого дня работы, целительнее кавказских полдней была ему эта фантастическая первомайская ночь. И опять на судорогу походил маршрут его ночной поездки. Он заехал к зданию, куда сотни раз вбегал рыжим, неистовым студентом; он побывал в переулке, в котором, как в тюрьме, высидел значительную часть жизни; он сделал десяток километров по шоссе, по которому, может быть, столетие назад вез Женю, — и снова оказался все на той же уличной магистрали, о которой не забывал ни на мгновенье.

Снова они ехали по переулкам, среди скудных, только вчерашней посадки, скверов. Прохладная тишина, вымытая дождичками накануне, казалась прозрачной, и в ней, как бы потягиваясь, деревья расправляли свои спутанные, уже тяжелеющие сучья. Потоки электрических огней, свитых в гирлянды, гербы и звезды мелькали время от времени в проемах улиц, и опять лиловатая мгла, обступавшая машину, расширяла пределы воображения. Этой короткой ночи, неотличимой от многих таких же, она придавала почти эпическое звучание. Казалось, самая планета ускоряла свое вращенье, и центробежная сила выталкивала из нее цветы, алые знамена, зелень и неугомонную, певчую человеческую породу.

— Езжайте скорей! — сказал Сергей Андреич.

Заводские ворота, наряженные в кумач, светились. И хотя десятки раз Сергей Андреич проходил в них, сегодня труднее обычного было перейти границу заводской территории. Задрапированная тканью, убранная цветами лестница повела его наверх. Зал был полон, и часть рабочих теснилась у дверей.

— Вас ждут,— улыбнулась работница, поставленная на проверку билетов.

— Я от института...

— Да, я знаю, товарищ Скутаревский! — Улыбка ее, от глаз внезапно распространявшаяся по всему лицу, напомнила ему Женю той поры, когда он впервые пришел к ней после болезни.

Его ждали давно и из-за опоздания изменили повестку. Только что закончился доклад заводского комитета. Дав музыке прогреметь свое, председатель собрания, цыганистого обличья человек в снежно-белой косоворотке, привстал и назвал имя директора высокочастотного института. Зал затих; его искали глазами, о нем шептались, пока из толпы, запрудившей все выходы, он пробирался на трибуну.

Это была самая наивная, из фанеры сколоченная мебель; кривобокий графин с питьем ораторов нетрезво покачивался на ней при каждом движении. Завод был детищем пятилетки, и клубный зал, по замыслу строителей — венец архитектурной техники, был еще недостроен. В центре этого монументального полукруга, полного глаз, света и неподвижного ожиданья, стоял теперь Скутаревский, ища глазами Черимова, который непременно должен был затаенно улыбаться в гуще этих людей.

— Товарищи... — полувопросительно начал он, сурово поджимая губы.

И как будто только теперь имя его достигло внимания аудитории, его прервали грохотом рукоплесканий. Было так, точно взорвалось длительное недоумение, разделявшее их до этой минуты. И, может быть, не его самого, а именно эту удивительную частицу времени приветствовал овациями зал. В этом небывалом приеме, значительно превосходившем меру той дипломатической деликатности, которую старательно и незаметно подготовлял Черимов, выразилось многое — и прежде всего приглашение разделить свою временную неудачу на миллионы долей, каждая из которых утратит тогда свою ядовитую, отравную горечь. Сергей Андреич сбился и молчал, и вот уже не знал вовсе, что он сделает сейчас: расскажет ли исто-

рию возникновения своего института, десятилетний юбилей которого приближался, или действительно выбранит завод за качество высоковольтного трансформатора, построенного по его заказу, или, наконец, отвечая на неистовство этой распахнутой дружбы, объявит институт ударным: сейчас он одинаково был готов ко всему. Сердце его колотилось зло, аритмично, точно после крутого спуска с горы, точно перед путешествием в грозную и обширную страну, которая белым глухонемым пока пятном обозначена на картах.

1930—1932

ПРИМЕЧАНИЯ

Первое отдельное издание — «Скутаревский», «Федерация», М., 1932. Роман выдержал ряд переизданий и включался автором во все последующие Собрания сочинений.

Роман был задуман в 1930 году; в феврале 1931 года Леонов приступил к работе над ним. Первые главы «Скутаревского» — «Начало романа» — печатались 22—25 сентября 1931 года в газете «Вечерняя Москва». Роман был завершен в июле 1932 года и опубликован в журнале «Новый мир» (1932, № 5, 6, 7-8, 9). Одновременно отрывки из «Скутаревского» появлялись и в других периодических изданиях: «Возвращение домой» — «Литературная газета», 1932, № 23; «Скутаревский» (глава из романа) — «Известия», 1932, 24 июля; «Поездка Скутаревского» — «Огонек», 1932, № 34 и др.

Роман посвящен судьбам русской интеллигенции — как научно-технической, так и художественной,— ее мучительным исканиям и духовной эволюции в 20-е и начале 30-х годов, в пору «завершения огромных бурь, смещений и катастроф», как сказал его главный герой, крупный ученый-электрофизик Скутаревский.

В «Скутаревском» «вечное» и «временнóе» уравновешены: человеческая жажда познания и конкретная научная проблематика — передача энергии без проводов. В центре произведения не просто человек инженерной, технической мысли, но ученый прометеевского склада, первооткрыватель, «генштабист индустриализации», в его полутемном кабинетике «на протяжении четверти века зарождались движущие идеи прикладной электротехники».

Внешнее действие романа существенным образом связано с драматизмом классовой борьбы, с приобщением старой интеллигенции к творческим задачам молодого Советского государства и непримиримым конфликтом с рабоче-крестьянской властью, в котором оказывается часть старой интеллигенции. Однако внутренний динамизм заключается в единой сквозной теме, прорастающей в иное, особое пространство бытия. В «Скутаревском» Леоновым взят в основу трагизм нераскрытой идеи, на которую потрачена жизнь.

Значение и роль этой проблемы, вечно сопутствующей познанию Вселенной и места человека в ней, огромно. Сам писатель сказал в статье «Похвала жанру»: «Через знание, через радарное свойство мысли мы жаждем продлить себя в веках. Притом не одними только удачами

так бессонно интересуемся мы, но также историей неоправдавшихся поисков, пускай даже без завершительной победы,— трагедиями великих научных ошибок, потому что это наши общие ошибки, и было бы безумным расточительством выкидывать из памяти людской мучительные и, может быть, наиболее ценные уроки заблуждений».

Скутаревский сравнивается в романе с кометой, стремительно восходившей к зениту в космических ветрах научно-технической революции. «Начало века совпало с порою могущественного разворота электротехники. Человек с бешеной быстротой копил свои знанья; он нападал на стихии в открытую, разбивая их поодиночке, и природа не нищала, выдавая свои тайны. Ему уже понравилось летать, но он еще хотел разговаривать через пространства, разглядеть невидимое и взвесить невесомое. Кривая количества механической силы на одного человека двинулась вверх почти по вертикали. Промышленность бурно электрифицировалась; речь заходила уже о высоких напряжениях, о больших расстояниях, о выработке тока в мощных единицах».

Русский капитализм взял на откуп огненосный — в прямом смысле этого слова — талант ученого, чью кандидатуру уже собирались выдвигать на Нобелевскую премию и чье имя ставили рядом с Маркони и Яблочковым. Однако масштабные поиски Скутаревского далеко превосходили насущные запросы промышленной капиталистической практики. Ему, «стремглавому человеку», было тесно; тенета заказчиков, как и тенета тотального мещанства в семье, опутывали его. Тогда и сложилось у этого сына скорняка «непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы»,— от промышленных тузов и до супруги Анны Евграфовны, деловито продававшей «на сторону драгоценные и бесчисленные стружки», в то время как сам Скутаревский «как бы выстругивал одну из самых грозных колонн, на которых покоился космос».

Революция, гигантская ломка всего привычного и устоявшегося, явилась для него избавлением — отдушиной в тот новый мир, который намечался ею. Это не было какой-либо политической программой: Скутаревский просто искал почву, куда бы надежно ступить. Встреча с Лениным, предложившим построить целевой институт специально для его работ, предоставила возможность начать жить по-новому. Это желание смены обиходных вех обстановки, духовной мебели выявляется и в ожидании, а затем как бы и в неизбежной встрече с Женей — рвущейся к знаниям девушкой; в ней для Скутаревского воплощена гармония молодого поколения с его новью во всем, вплоть до новых идеалов женственности, какой теперь свойственны черты спортивной изящности.

В Жене, во всем ее юном существе, свежести, наивности, готовности к самопожертвованию сконцентрировано будущее. И появление девушки в доме Скутаревских означает не просто крушение замшелого

семейного корабля, давно уже разделенного надвое непроницаемыми переборками. Оно зафиксировало некий, быть может, мнимо спасительный, но поворотный, кризисный момент в миросозерцании ученого: «Перерождался в нем тот самый мир, который он воспринимал именно как безличный комплекс электромагнитных явлений... Никогда в мысленных его тайниках не возникало тревоги, что завтра же совсем иную форму — дерева, облака или девушки! — примет это уплотнившееся пространство. Но вот карамелистый и уж вряд ли электронный только ветер подул со стороны из-за хаотических кулис материи, и беспредметный туман, в котором жил до сегодня, заколебался; рваные клочья его оторвались, поплыли, на лету принимая неожиданные вещественные очертания. Как бы заново, но только преуменьшенное до крайней мелкости, происходило зарождение мира». Спектр Вселенной с появлением мощного источника излучения качественно обогатился и обрел новую, земную уже гармонию.

Образ Скутаревского — одна из вершин в леоновском творчестве.

Л. Леонов погружает нас в самый процесс исследовательской работы ученого. Задача, какую поставил перед собой Скутаревский, грандиозна — решение ее произвело бы революцию в системе транспортировки энергии. Однако при всем своем гигантском научном потенциале, дерзости мысли, почти маниакальной сосредоточенности на одной цели, он не успевает в короткий срок, отпущенный природой на отдельную жизнь, привести неизвестное явление природы в соответствие с прежним опытом человечества на пути продвижения к истине.

Прослеживая, «как это из громадной научной проблемы становится личной драмой Скутаревского», Л. Леонов выступает в качестве художника-новатора, прокладывающего дороги, не известные «старой» классической литературе. В одной из бесед писатель обмолвился, что прежде, скажем в XIX веке, биография, опыт художника и его героя во многом принципиально совпадали. Река жизни сама наносила впечатления, которые надо было трансформировать. Как выглядел день Онегина или, предположим, Рафаэля Валантена? Герой Бальзака, проснувшись, с утра ехал в Буа де Булонь или к любовнице, а потом в театр. Сегодня же герой отправляется с утра в лабораторию, где предстоит решающий опыт, вобравший десять лет мучительной и всепоглощающей подготовительной работы. Он берет колбу с жидкостью, которая должна быть розовой, а она лиловая или мутная. Целая жизнь была поставлена на карту — карта бита. Произошло крушение идеи, и герой застрелился.

Подобный конфликт был бы, согласимся, совершенно невозможен и даже непонятен для духовных поисков, какие вела «традиционная» литература прошлого. Научно-техническая революция, возникновение качественно новых связей человека с познаваемой им природой, развитие инженерно-технического мышления — все это достояния уже двадцатого

столетия. Писатель в этом случае должен знать не просто профессию, но и специфическую рефлексологию своего героя.

Можно сказать, размышляет Л. Леонов, что социальная революция в хорошем смысле слова затруднила наше творчество. Писателю необходимо раскрыть совершенно новый характер и показать, как этот человек «видит» мир. А ведь математик даже музыку воспринимает иначе, чем художник или хирург...

Другими словами, Л. Леонова как реалиста и философа привлекает не только принципиально иная привязанность человека к действительности, когда крушение научной идеи делается источником глубоко личной драмы. Он задается целью запечатлеть специфический взгляд, особую причастность математика и физика к окружающему миру, к людям, к искусству, создавая монументальный образ ученого. В частности, это проявляется в отношении героя к музыке. Что Скутаревский любит у Вагнера (которого «воспринимал именно так, математически, как трагическую, полновесную формулу бытия»), Чайковского, Листа, как слушает «Пиковую даму» («из ложи был ему виден курносоватый виолончелист в оркестре, и Сергей Андреич нечаянно сообразил, что курносоватый играет, в сущности, на логарифмах»), наконец какую роль в его интимной жизни, в жизни творческой, научной выполняет регулярно снимаемый со стены кабинетика фагот, заглазно именуемый другими обитателями квартиры драндулетом...

Во всем этом мы видим смелые «промеры» характера Скутаревского, в целеустремленном его сознании, подчиненном стройной гармонии формул, даже музыка звучит качественно иначе, чем в привычном восприятии (скажем, дамы, сидящей в одной с ним ложе и возмущенной неуместным пением соседа, решившим вдруг представить себе, «какая получилась бы музыка, если бы изменить основание логарифма»). И фагот Скутаревского — не просто музыкальное духовое орудие, состоящее из двух между собою параллельно соединенных деревянных пустых цилиндров, образующих непрерывную трубу, с десятью дырами и клапанами. Хотя ученого привлекает в его музыкальных упражнениях чисто физическое сочетание звуков, сам фагот участвует в качестве своеобразного «действующего лица» в сложной символистике романа и, по словам автора, входит в характеристику Скутаревского, добавляя еще один штрих к неуклюжести гения. Он выполняет задачу, как утверждает В. Ковалев, «маленького зеркальца, служащего дополнительным рефлектором» (В. А. Ковалев. Романы Леонида Леонова. М.-Л., 1954, с. 268).

Инструмент висит в кабинете Скутаревского как некий тотем, божество, охраняющее незыблемый, раз и навсегда заведенный механизм бытия. Правда, в повторяющихся и однообразных упражнениях ученого со стороны видится неведомый ему самому второй смысл складыва-

ющихся в музыкальный квадрат звуков: «должно быть, это и была мелодия его судьбы; несложная, как в курантах, она велась вся в среднем регистре, настойчиво и гнусаво повышаясь к концу». В оркестровых партитурах нередко именно фаготу отдают музыкальную характеристику судьбы, рока (вспомним хотя бы тему старой графини в любимой Скутаревским «Пиковой даме»). И в партитуре романа, как обещал фагот, «к концу» повышается линия жизни ученого, последним, напряженнейшим усилием стремящегося, говоря известными словами Гегеля, «ранить Природу познанием», чтобы вырвать ее сокровенную тайну. Это тем более сложно, так как Скутаревский, словно пуля на излете, испытывает перегрузки возраста и слишком большое сопротивление среды.

Последнее решительное наступление обывательской стихии на духовный мир Скутаревского не случайно совпадает с падением и поломкой фагота, на место которого Анна Евграфовна водрузила было поддельный портрет Франциска I, на деле писанный с бывшего богатея, а ныне прячущего свой незаурядный ум под личиной спекулянта, жулика Штруфа. Возвращается из починки инструмент вместе с появлением в доме Жени. И вот уже новое и угрожающее для мира Анны Евграфовны выдувается из него, продвигаясь «в направлении ее комнаты, на разгром и разорение ее бесценных фарфоров и хрусталей». Вслед за этим наступает разрыв с семьей, переезд Скутаревского и Жени во флигель к Черимову. Но на новом месте фагот как бы утрачивает прежние свойства, выходит из повиновения.

После бурного объяснения с девушкой ученый вовсе оставляет музыкальный инструмент и уезжает для проведения решающего опыта главной своей идеи. Линия судьбы доходит до высшей точки и теряется: опыт кончился неудачей, по обвинению во вредительстве арестован его родственник Петрыгин, а сын Арсений покончил жизнь самоубийством, уходит в науку Женя. Вернувшись, Скутаревский по привычке берется за покрывшийся пылью фагот и трагически чувствует, что все прошлое безвозвратно ушло: «Звук был мерзкий, и даже простенький Джемми не удавался пальцам, недвижным, как мертвецы. Клапаны немотно и немощно жевали воздух, точно умер маленький злой человечек, населявший волшебную эту трубу».

В образе Скутаревского, несущего в себе большую культуру и неиссякаемую творческую одержимость, воплотились напряженные искания Леонова-художника на пути к грядущей человеческой гармонии. Этого героя сопровождает, дополняет и в значительной степени ему противостоит молодой ученый Черимов, вышедший из глубинных пролетарских низов с предназначением сменить Скутаревского, чтобы пойти дальше. Нацеленный на получение быстрых и осязаемых результатов, продиктованных насущными потребностями молодой советской промыш-

лепности, человек деловой, практической хватки, Черимов и в социальном, и в психологическом плане является антиподом своего учителя, оставаясь фигурой меньшего калибра.

В полемических спорах, развязавшихся вокруг романа, многие полагали, будто Л. Леонов отдает предпочтение «примату насущного над грядущим», то есть выступает защитником черимовского практицизма. Прошедшее время позволяет легко различить ошибочность таких утверждений и историческую правоту писателя, который, как отмечается в современной критике, «изображая «прометейство» Скутаревского, увлеченного большими теоретическими проблемами, и практицизм Черимова... видел будущее советской науки в сочетании высокого полета отвлеченной научной мысли и ее неразрывной связи со злобой дня» (Е. Старикова. Примечания в кн.: Леонид Леонов. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М., 1961, с. 354). Более того, историческая дистанция позволяет нам еще яснее представить себе масштабность личности Скутаревского и его творческой мысли.

Именно последние десятилетия явили нам разительные примеры, когда самые отвлеченные научные искания внезапным преломлением открытий возвращались к человечеству с запасом чудовищных практических сил, вызванных из недр природы. Известно, что Ферми, установивший эффект бомбардировки урана нейтронами, в свое время сказал: «А какой практический результат? Никакого»,— не подозревая о том, что за его опытами вскоре последует открытие цепной реакции и — как следствие — создание атомной бомбы. В «непрактичности» масштабных исканий Скутаревского, поставившего настолько грандиозную задачу, что она не решена и по сию пору, много внешне бесполезного. Но в этой мнимой бесполезности и открываются новые горизонты познания.

В отличие от учителя Черимов приносит своей научной работой самую реальную, насущную пользу. Такие, как он, внесли вклад в техническое перевооружение экономики. И все-таки при всех своих достоинствах практика Черимов никогда не достигнет высот Скутаревского. Недаром последний (завидуя его цельности и страшась ее) по обыкновению жестко определяет ограниченность этого «хваткого, молодого, почти звереныша; в его сердце, как в кожаной кобуре, наглухо запрятан партбилет; он знает, зачем дано ему присутствовать в мире; он имеет идею, и если даже самый счастливый шаг не направлен к ней хотя бы по кривой, он не делает его вовсе...». В своем диагнозе Скутаревский лишает Черимова возможности творческого полета, дерзновенного разрыва с проторенными путями и даже человечески простого права на ошибку.

В свою очередь Черимов принимает учителя и ему подобных с большими, принципиальными оговорками и утилитарно видит свою задачу в том, чтобы «вырезать у целой прослойки застарелые опухоли некоторых

отживших эмоций», которые «связаны со всем инвентарем культуры». В духе «злобы дня» Черимов готов прибегнуть к радикальнейшему из вмешательств — хирургической операции на человеческой душе, да еще такой тонкой и хрупкой, как душа Скутаревского. Но что подлежит отсечению из духовного «инвентаря»— любовь к Вагнеру и Чайковскому или нечто более существенное, об этом знает лишь черимовский скальпель.

На историческую ограниченность Черимова сам Л. Леонов указал, беседуя с В. Ковалевым, когда вывел генеалогию этого героя от Митьки Векшина из «Вора» (см. том 3 данного Собрания сочинений, стр. 605). Иными словами, роль просветителя, которую, кажется, взял на себя Черимов, ему пока еще явно не по «росту». Можно сказать, что Черимов весь, без остатка, принадлежит своему времени, в то время как Скутаревский в чем-то очень существенном опережает это время, обращаясь — через головы черимовых — в будущее.

Всегда и в любом обществе существуют люди как вырвавшиеся вперед, так и оставшиеся позади: «бывшие». Их судьба в 20-е и начале 30-х годов решалась особенно остро и драматично. Бывшие в романе — это обломки социальных пластов, разрушенных в ходе небывалых исторических катаклизмов: зять Скутаревского Петрыгин, спекулянт Штруф (кого горничная в своей многозначительной обмолвке именует «Трупом»), это Геродов, это Скутаревский-младший — Арсений, вкупе с другими, которые чередуются в романе, словно обреченные на вымирание в силу перемен геологического климата.

Всегда были и будут «бывшие», как были и будут «будущие» — в этом, конечно, заключается неизбежная диалектика жизни. А в пору исторических шквалов и непредугадываемых катастроф отдельная человеческая личность, теряя свое самодовлеющее значение, испытывала перегрузки, на сопротивление которым ее запас органической прочности рассчитан не был. Люди умственного труда, науки, искусства, литературы испытали их особенно болезненно. В этом смысле показателен образ художника Федора Андреича, брата Скутаревского, прошедшего длительную эволюцию еще в мирное время — от чисто живописных исканий к общественному протесту и затем к подчинению своего таланта денежному мешку, олицетворением чего в романе выступает тесть Петрыгина, меценат и делец Жистарев.

Писатель выводит на страницах произведения героя, обобщающего свой опыт в художественных образах, размышляющего об искусстве старом и новом, о его изменившихся задачах, о его служении обществу. На исканиях и раздумьях Федора Андреича лежит отсвет огромного личного опыта Л. Леонова, всегда интересовавшегося живописью, проступают контуры многих его убеждений, сомнений и надежд, звучат отголоски его спора с вульгаризаторами искусства.

В своем мучительном творческом пути Федор Андреич прошел, кажется, все возможные искусы: был дерзок и вынужденно робок, был бунтарем и служил капиталу, добился шумной известности и оказался в забытьи (в пору нэпа он готовит ходовые подделки под старину, сбываемые Штруфом). Но пожалуй, самым страшным препятствием к полнокровному творчеству становится для героя драма всезнания при отсутствии генерализующей идеи, о чем он с такой страстью исповедуется брату.

Правда, погрузив Федора Андреича глубоко в пучину духовного кризиса, писатель убеждает нас, что его герой преодолеет и эту полосу выжженной мысли, обретя новые горизонты в работе над гигантской заводской фреской с изображением красочной нови. Однако весь философский контекст «Скутаревского» позволяет предположить, что эта, еще одна стадия самодвижения художника, видимо, сменится иной, последующей, но уже за пределами данного романа. Неоспоримыми лишь как для Федора Андреича, так и для самого автора остаются слова Скутаревского-старшего: «...кровь революции смыла со слов и понятий их истрескавшуюся пошлую лакировку».

В «Скутаревском», если говорить о произведении как о целостном организме, мы наблюдаем новую фазу кристаллизации философского романа. О сложности работы над книгой Л. Леонов сказал в одной из бесед, отметив, что надо было идти сквозь громадное сопротивление среды, как сквозь воду. Открывается и широкая перспектива дальнейших исканий художника в философско-футурологическом векторе. Есть некая родословная леоновских героев, и она просматривается через все творчество писателя. Одно здесь служит подготовкой к другому, параллельно идет к запасу. Эта сквозная родословная ведет нас от «Вора» к «Соти» и «Скутаревскому», а «Скутаревский» подготавливает рождение романа «Дорога на Океан». Оба последних произведения (уже в обратной, видимой для нас сегодня перспективе) создают дальние предпосылки для возможного появления образов и открытий, угадываемых уже во фрагментах из нового романа «Мироздание по Дымкову» и «Последняя прогулка».

1—5 октября 1932 года Л. Леонов создает на основе романа пьесу «Скутаревский», поставленную Малым театром в 1933 году.

Роман «Скутаревский» сразу же после выхода вызвал специальную дискуссию и многочисленные отклики в печати. К сожалению, как и в ряде других случаев, в своем большинстве критика была вульгаризаторской и предвзятой. Говоря о субъективизме и крайностях критики тех лет, Леонид Максимович заметил: «Книги мои прошли сквозь шпицрутены». Объективную оценку роман получил в последние десятилетия в трудах В. Ковалева, Е. Суркова, Е. Стариковой и др.

Стр. 7. *Эдисон* Томас Алва (1847—1931) — американский изобретатель в различных областях электротехники.

Стр. 18. *Сотерн* (фр.) — сорт сухого вина.

Стр. 19—20. *...серые от пыли гипсы — грек... поэт... французская старуха... музыкант... чудесный флорентиец... рядом с тем мантуанцем... одному из них... творцу богов... бородач из Пизы... драматург в елизаветинском жабо...* — Имеются в виду гипсовые изображения Гомера, Пушкина, Вольтера, Бетховена, Данте, Вергилия, Микеланджело, Галилея, Шекспира. *Сивиллы* — легендарные прорицательницы. *Артемида* — в греческой мифологии дочь Зевса, богиня охоты, плодородия, покровительница рожениц. У римлян ей соответствует Диана. *Коплит* (гоплит; греч.) — тяжеловооруженный пехотинец в Древней Греции.

Стр. 23. *Милликен* Роберт Эндрус (1868—1953) — американский физик.

Стр. 24. *Франциск Первый* (1494—1547) — французский король.

Клюни — музей в Париже, славящийся коллекцией античного, западноевропейского средневекового и ренессансного искусства.

...новеллы его веселой сестры... — Упоминается Маргарита Наваррская (1492—1549), французская писательница, королева Наварры, сестра Франциска I.

Стр. 33. *...из следствий Максвеллова закона...* — Речь идет об уравнении электродинамики, описывающем электромагнитные явления, сформулированном английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом (1831—1879).

Стр. 34. *Гюбер* Робер (1733—1808) — французский живописец.

Стр. 35. *Гераклит* Эфесский (ок. 530—470 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, один из главных представителей античной диалектики.

Григорий Богослов (Григорий Назианзи́н; ок. 330 — ок. 390 гг.) — греческий поэт и прозаик, церковный деятель и мыслитель.

Стр. 38. *Яблочков* Павел Николаевич (1847—1894) — русский изобретатель и предприниматель; изобрел лампу без регулятора — электрическую свечу. *Габер* Фриц (1868—1934) — немецкий химик, исследователь электрохимии и термодинамики. *Маркони* Гульельмо (1874—1937) — итальянский радиотехник и предприниматель, способствовал развитию радио как средства связи. *Лангмюр* Ирвинг (1881—1957) — американский физик и химик. *Дэви* Гемфри (1778—1829) — английский физик и химик, один из основателей электрохимии. *Фарадей* Майкл (1791—1867) — английский физик, создатель учения об электромагнитном поле. *Гаусс* Карл Фридрих (1777—1855) — немецкий математик.

Стр. 40. *...письмо Энгельса к Бернштейну... по поводу опытов Марселя Депре...* — К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35. М., 1964, с. 374. Бернштейн Эдуард (1850—1932) — один из лидеров II Интернационала,

идеолог ревизионизма. Марсель Депре (1843—1918) — французский физик, обосновавший возможность передачи электроэнергии по проводам.

Стр. 42. *Франклин* Бенджамин (1706—1790) — американский просветитель, государственный деятель, ученый. *Вольта* Алессандро (1745—1827) — итальянский физик и физиолог; один из основателей учения об электричестве.

Стр. 44. *Джордано Бруно* (1548—1600) — итальянский философ. *Клаузиус* Рудольф Юлиус Эмануэль (1822—1888) — немецкий физик, высказавший мысль о «тепловой смерти Вселенной».

Стр. 48. *Рабле* Франсуа (1494—1553) — французский писатель-гуманист, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 49. *Геркуланум* — город в Кампании (Италия), погибший вместе с Помпеей при извержении Везувия в 79 г.

Стр. 51. *Омар Хайям* (ок. 1048—1123?) — персидский и таджикский поэт, математик и философ. Его всемирно известные философские четверостишия — рубаи — проникнуты пафосом свободы личности.

Стр. 54. *Тьеполо* Джованни Баттиста (1696—1770) — итальянский живописец. *...мечтателей в стиле Чингисов и Торквемад...* — Чингисхан (собств. имя Тэмуджин, Темучин; ок. 1155—1227) — полководец, основатель единой Монгольской империи, сокрушивший ряд государств Азии. Торквемада Томас (ок. 1420—1498) — глава инквизиции в Испании, отличавшийся исключительной жестокостью в искоренении «ереси».

Стр. 55. *Лапласовы координаты* — понятие неизменяемой плоскости, проходящей через центр масс солнечной системы перпендикулярно вектору момента количества движения. Введено в 1789 г. Пьером Симоном Лапласом (1749—1827), французским астрономом, математиком и физиком.

Гей-Люссак Жозеф Луи (1778—1850) — французский химик и физик, открывший закон теплового расширения газов.

Стр. 69. *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, родоначальник английского материализма, автор утопии «Новая Атлантида». *Попов* Александр Степанович (1859—1906) — русский физик, изобретатель электрической связи без проводов. *Зинин* Николай Николаевич (1812—1880) — русский химик-органик. *Бессемер* Генри (1813—1898) — английский изобретатель, в частности создавший конвертор для передела жидкого чугуна в сталь продувкой воздуха без расхода горючего (бессемеровский процесс). *Менделеев* Дмитрий Иванович (1834—1907) — русский химик. *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей и руководителей германской социал-демократии и II Интернационала.

Стр. 70. *Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815—1898) — государственный деятель Германии, завершивший ее объединение «железом и кровью» на милитаристской основе. *Уатт* Джеймс (1736—1819) — английский изобретатель, создатель универсальной паровой машины.

Стр. 90. *...в летописях Рашида-Эддина...* — Рашид Эддин (1247—1318) — иранский ученый, историк и государственный деятель.

Стр. 93. *Гайдн* Франц Йозеф (1732—1809) — австрийский композитор, один из основоположников венской классической школы. *Керенский* Александр Федорович (1881—1970) — глава буржуазного Временного правительства России в 1917 г., белоэмигрант. *Прокофьев* Сергей Сергеевич (1891—1953) — советский композитор, пианист и дирижер.

Стр. 94. *Вагнер* Рихард (1813—1883) — немецкий композитор, дирижер, драматург и теоретик искусства.

Стр. 95. *...со вторым актом «Золотого петушка», когда Додон поет чижика...* —«Золотой петушок»— сатирическая опера Н. А. Римского-Корсакова, во втором действии которой царь поет Шамаханской царице любовную песенку на мотив «Чижика». *Германн* — персонаж пушкинской повести «Пиковая дама» и одноименной оперы П. И. Чайковского.

Стр. 97. *...каждый призван когда-нибудь сыграть смешную роль Сальери, Дэви или Саула.* — Речь идет о зависти: Сальери к Моцарту, Дэви к своему ученику Розерфорду и первого царя Иудеи Саула, завидовавшего и яростно преследовавшего Давида, который был тайно помазан на царство как более достойный, чем Саул, претендент.

Стр. 109. *...пробовал свое изобретение, фаготного предка, тот самый феррарский каноник...* — Фагот изобретен в 1539 г. каноником Афрано в Ферраре, значительно усовершенствован позднее Швейцером.

Стр. 142. *Пигмалион* — легендарный царь Кипра и скульптор, воплотивший свой идеал женщины в статуе, названной им Галатеей. Влюбившись в свое творение, он просил богиню Афродиту ниспослать ему возлюбленную, столь же прекрасную. Афродита вняла его мольбам и оживила статую.

Стр. 156. *Аввакум* Петрович (1620 или 1621—1682) — протопоп, основатель русского старообрядчества, возглавивший церковный раскол.

Стр. 157. *Никон* (светское имя Никита Минов; 1605—1681) — патриарх русской церкви, боровшийся с расколом.

Стр. 162. *Тинторетто* Якопо (1518—1594) — итальянский живописец эпохи Позднего Возрождения.

Стр. 164. *Брейгель* Питер Старший (ок. 1525 или 1530—1569) по прозвищу «Мужицкий» — нидерландский живописец.

Стр. 166. *К тому же и я не Филипп, и вы не Веласкес!* — Речь идет об испанском художнике Веласкесе (1599—1660), придворном живописце короля Филиппа IV.

Стр. 168. *Тициан* Вечеллио (ок. 1476/77 или 1478/79 — 1576) — итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения.

Стр. 169. *Корреджо* Антонио (ок. 1489—1534) — итальянский живописец, представитель Высокого Возрождения.

Стр. 172. *И он угас, умолк навеки, как Абеляр.* — Абеляр Пьер (1078—1142) — французский философ, богослов, поэт. Стала легендой его пламенная любовь к прелестной умной Элоизе. Из мести они были разлучены, и Абеляр удалился в монастырь простым монахом.

Стр. 176. *Терборх* Герард (1617—1681) — голландский живописец; основные мотивы его картин — жанровые композиции из жизни состоятельных горожан. *Рейсдал* Якоб ван (1628 или 1629—1682) — голландский живописец, офортист, мастер национального реалистического пейзажа. *Снейдерс* Франс (1579—1657) — фламандский живописец, работавший в основном в жанре монументальных, декоративно-красочных натюрмортов и анималистических картин. *Йорданс* Якоб (1593—1678) — фламандский живописец. Жанровые и мифические композиции его картин с изображением полнокровных типов крестьян и бюргеров отличаются чувственным восприятием мира. *Питер* Артсен (1508 или 1509—1575) — нидерландский живописец, сыгравший важную роль в развитии бытового жанра и натюрморта в европейском искусстве. *Серапеум* — в древности название храмов египетского бога Сераписа. Самый знаменитый из них находился в Александрии и отличался богатейшей библиотекой, содержавшей сокровища и шедевры древней учености и искусства. Все это было разрушено патриархом александрийским *Феофилом* (IV—V вв.). *...с эпохой Абу-Бекра и Омара, на десятки тысяч верст опустошающих окрестности Мекки...* — Абу-Бекр (572—634) — первый халиф или наместник Магомета в Арабском халифате, вел войны с Римской империей и Персией, покорил большую часть Сирии, начав те завоевания, которые вскоре мусульманские владыки распространили в Азии, Африке и Европе. Омар (ок. 591 или 581—644) — второй халиф (с 634 г.) в Арабском халифате; при нем арабские войска одержали значительные победы над византийцами и Сасанидами и завоевали большие территории в Азии и Африке. Мекка — с VII в. священный город мусульман.

Стр. 176. *Аларих I* (ок. 370 — конец 410-х гг.) — король вестготов, захвативший Афины, опустошивший Коринф, Аргос, Спарту. В 410 г. при содействии рабов взял Рим и подверг его трехдневному разгрому. Это было началом окончательного захвата варварами Западной Римской империи.

Стр. 177. *Пачоли* Лука (ок. 1445— позже 1509 гг.) — итальянский математик и богослов. *Альберти* Леон Баттиста (1452—1519) — итальянский архитектор, писатель, музыкант, теоретик искусства эпохи раннего Возрождения. Леонардо *да Винчи* (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер. *Чемберлен* Невилл (1869—1940) — государственный деятель Великобритании, один из лидеров консервативной партии.

Стр. 178. *Остроухов* Илья Семенович (1858—1929) — выдающийся русский художник, собиратель русской живописи, коллекция которой передана им в Третьяковскую галерею.

Стр. 179. *...Творение Адама из Сикстинской капеллы...* — Говорится о подделке одного из картонов к серии шпалер для украшения стен Сикстинской капеллы, созданных итальянским живописцем и архитектором Рафаэлем Санти (1483—1520). *Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец, рисовальщик, офортист.

Стр. 187. *Галифе* Гастон Маркус де (1830—1909) — французский генерал, отличившийся жестокостью при подавлении Парижской коммуны 1871 г., позднее военный министр.

Стр. 188. *Мак-Магон* Патрис (1808—1893) — французский реакционный военный и политический деятель; командовал контрреволюционной армией версальцев и со свирепой жестокостью расправился с защитниками Парижской коммуны.

Стр. 189. *Минин* (Сухорук) Кузьма (?—1616) — организатор национально-освободительной борьбы русского народа в период польской и шведской интервенций в России в XVII в. *Питт* Уильям Младший (1759—1806) — английский государственный деятель, один из лидеров тори, премьер-министр (1783—1801 и 1804—1806). *...и Катон не уставал так после словесных погромов Карфагена...* — Катон Старший Марк Порций (234—149 гг. до н. э.) — римский писатель и государственный деятель. Непримиримый враг Карфагена, Катон каждую речь в сенате кончал вошедшей в поговорку фразой: «Впрочем, я полагаю, Карфаген должен быть разрушен».

Стр. 197. *Лагранж* Жозеф Луи (1736—1813) — французский математик и механик. *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ, физик, математик, физиолог.

Стр. 226. *...как и в Олеариевы времена.* — Олеарий Адам (1603—1671) — немецкий путешественник, автор «Описаний путешествия в Московию...».

Стр. 297. *...элементы Лекланше...* — наиболее распространенный гальванический элемент, используемый в электронных часах, радиоаппаратуре, игрушках и т. п.

Олег Михайлов

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ
ЛЕОНОВ

Собрание сочинений
в десяти томах
ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор О. Афанасьева
Художественный редактор Е. Ененко
Технический редактор Л. Ковнацкая
Корректор Г. Ганапольская

ИБ № 2429

Сдано в набор 09.04.82. Подписано в печать 29.11.82. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,66. Усл. кр.-отт. 19,13. Уч.-изд. л. 18,98. Тираж 200 000 экз. Изд. № III-544. Заказ № 389. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

